

Об авторе

Петр Николаевич Краснов родился в 1950 году в оренбургском селе Ратчино. После окончания сельскохозяйственного института работал агрономом, писал стихи, прозу.

В 1978 году вышла его книга рассказов «Сашикино поле», удостоенная Всесоюзной премии им. М. Горького за лучшую первую книгу автора. Был принят в Союз писателей и окончил Высшие литературные курсы. Его рассказы и повести публиковались в журналах «Наш современник», «Дружба народов», «Молодая гвардия», «Литературная учеба», «Новый мир», «Москва», в еженедельнике «Литературная Россия» и выпусках «Роман-газеты», во многих других периодических изданиях, сборниках и альманахах. Вышло более десяти книг автора, в том числе три за рубежом, в ГДР и ЧССР. Лауреат премии им. И.А. Бунина, Всероссийской Пушкинской премии «Капитанская дочка», премий журналов «Москва», «Наш современник» и еженедельника «Литературная Россия». Является одним из авторов первого тома «Шедевров русской литературы XX века» (рассказ «Мост»), удостоен Диплома ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую культуру». Переводил романы и повести А. Нурпеисова, Н. Лугинова, А. Тагана и других авторов. Секретарь Правления СП России.

ТК

Петр Краснов

Собрание сочинений
в четырех томах



ТК
Петр Краснов

Собрание сочинений

Том I

Повести
Рассказы

Печатный дом «ДИМУР»
Оренбург 2005

ББК 84(2)7

К 78

*Издание осуществлено при поддержке
администрации Оренбургской области.*

Краснов П.Н.
К 78 Собрание сочинений: В 4 т. /П.Н. Краснов. – Оренбург:
Печатный дом «Димур», 2005.

ISBN 5-7689-0120-5

Т.1: Повести, рассказы. – 2005. – 376 с.: ил.

ISBN 5-7689-0130-2

*Это первое собрание сочинений оренбургского писателя
Петра Краснова, лауреата премий имени И.А. Бунина и «Капи-
танская дочка». Его художественные произведения хорошо зна-
комы читателю. Рассказ «Мост» П. Краснова вошел в первый
том антологии «Шедевры русской литературы XX века».*

*В первый том данного собрания сочинений вошли две по-
вести и ранние рассказы писателя.*

ISBN 5-7689-0120-5

ISBN 5-7689-0130-2

©Краснов П.Н., 2005

©ООО «Печатный дом «Димур», 2005

СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ...

Обманчиво оглавление русской литературы. Прочитаешь имена повестей и рассказов Петра Краснова («Сашкино поле», «Высокие жаворонки», «Колокольцы», «Звезда моя, вечерница», «Пой, скворушка, пой!»), и услужливое воображение живо нарисует покойную деревенскую жизнь, долгий вечер и забытое счастье доверчивого мира. А войдешь в книги, и не то что у чужого покоя погреешься, но и свой потеряешь. Впрочем, пора бы уж привыкнуть. Много ли тишины в «Тихом Доне» и пасторали в «Пастухе и пастушке», много ли света в «Вишневом саде» и так ли легко и привычно душе «Привычное дело»? Целомудрие русского сердца не кричит о беде с порога, а от красоты имени только больнее, как от горькой красоты русской песни. Да ведь и не думается об этом специально. Больно это было бы хитро. Это народное сердце само таким образом выговаривается.

А уж Петр Краснов подлинно плоть от плоти народной. И не потому, что родился в селе (многие из русских писателей последнего времени деревенского рода), и не потому, что даже образование получил сельскохозяйственное и работал агрономом (что уже реже), но, прежде всего, по глубинной народной основе миропонимания. В пору нашего знакомства в начале восьмидесятых, после Высших литературных курсов, он пробовал, как многие из тогдашних выпускников этих курсов, прилепиться в Подмосковьё, откуда обычно начинали «завоевание Москвы» молодые провинциалы. А только просторная, степью и полем вскормленная душа не пустила, и он вернулся в Оренбург. А товарищи – кто пооставался, – внешне, может, и удачливее, и книг у них побольше, и «москвичи» они (как того хотели), а так повывтерлись друг о друга и давно переставшую быть «матушкой» Москву, что стали похожи, как дома спальных районов, и, верно, сами друг друга не различают.

Он вернулся, потому что не мог переменить Господня замысла о себе, судьбы своей, того, что подлинно было написано на роду. Надо было кому-то досмотреть судьбу русской деревни и ее сыновей до того зыбкого предела, перед которым поставит их своевольная история последнего времени.

Он пришел, когда «деревенская школа» свое дивное, лучшее, святое, необходимое народной душе слово уже сказала. Уже были написаны «Последний поклон», «Привычное дело», «Последний срок». Уже отболело сказанное Е. Носовым, Б. Можаявым, Ф. Абрамовым. Уже пережито было неумение найти себя меж городом и селом, так зло, смешно, беспощадно и горько написанное и сыгранное В. Шукшиным и нежно и печально выговоренное Н. Рубцовым.

Краснов был крепким и сильным, настоящим родным сыном материнской степи и живой работающей земли. Мне даже кажется, что он был этой земле роднее своих старших товарищей именно потому, что уже в зрелую пору много работал на ней и она еще не стала для него воспоминанием, «пейзажем», преданием. Он любил своих предшественников, но прощался со своей землей по-другому. Ему надо было договорить еще теплящуюся жизнь, успеть коснуться глубины, которая еще из последних сил дотягивалась до сердца. И в его «Сашкином поле» и «На Алешкином хуторе» она пока была почти та, давняя. И хоть уже задета распадом и гроза уже копилась в воздухе, но еще у себя, еще дома, на своей земле. Быт еще силен, разбег долгов – не вдруг остановишься. А только русская литература не зря торопилась насмотреться и надумать, описать, что помнила и что еще видела. Она уже слышала странный гул подступающего беспамятства. Словно болезнь долго таилась (прятали мы ее от себя), меняла формы, «маяла», говоря старинным словом, чтобы однажды потрясти нас отчаянным кризисом, вразумить, как слепых, раз иначе не понимаем...

И он написал повесть «Высокие жаворонки», вставшую в деревенской литературе вровень с лучшими образцами, так что его тотчас обняли Астафьев и Распутин. Не пропустил его тогда и зоркий, остро совестливый Игорь Дедков – критик великой русской школы, оставшейся после него без продолжения, сразу отметивший «неделимость мира» Краснова, где человек, его дом и земля «соединены в долгой, не вечной ли работе?».

Это будет его «Последний поклон», его «Последний срок». Отсюда потом он выйдет весь. И стиль его, и его мысль с их громоздкой толстовской и прустовской (если бы Пруст вместо призрачно тонкого парижского света оказался в тесноте распадающейся русской дерев-

ни) подробностью, с изнуряющей пристальностью психологического рисунка. Петр легко нарушит здесь все законы устоявшихся жанров, чтобы только побольше уберечь из уходящего мира. Он будет здесь мальчиком и стариком, далью и степью, нищетой и свободой, холодной травой и горячей пылью. Он будет воевать и замерзать, вязать калину и резать борова, делать кизяк и драться деревня на деревню, праздновать «октябрьские» и тут же ждать Рождества. Смирение и жестокость, православие и язычество смешаются в его деревне, как и в нем самом. Будет в этой уже уходящей жизни что-то первоначальное, древнее, мудрое, дикое, земляное, небесное, родное, любящее (будто разом и Радищев и Тургенев, Некрасов и Шолохов). Как будут идти подряд радость Пасхи и горе половодья, редкое счастье и долгие беды, принимаемые как сама жизнь, и над всем – вечная наша бедность, которая знает, что это еще не край: «беден только черт, у него и креста нет. А мы еще ничего».

Тут все заодно с человеком и человек заодно со всем живым порядком мира – не разорвешь и не поймешь, нам ли жаль уходящего или самому уходящему жаль оставлять нас: «Все будет, повторенное несчетно... И не нам это жаль – нет, не нам только. Всему, мы лишь от имени всего сказать что-то пытаемся, бессильные, в слово лишь облечь – но что слово? Опавшая листва, жизнь, на ветру сгоревшая. Всему жаль невозвратного, и есть на свете высокая, щемящей какой-то грусти нотка, не многим и не всегда внятная. Просто есть в свете, как и радость, печаль, со своим правом на время и место есть, на дом свой, прибежище, как оно и положено всему; и вот дома она, а мы в гостях».

Так и кажется, что ему не хватает знаков препинания для передачи этой текучей, действительно не одному человеку, а всему Божьему миру принадлежащей жалости по невозвратному. Как не хватало их совсем недавно Виктору Петровичу Астафьеву, который тоже задышался от любви и невозвратности. Помните, помните? «...Когда последний свет станет уходить из моих глаз, верую: и тогда томящим видением будет так и не открытая мною страна, и не умрет, а замрет ее образ во мне, чтобы через годы, может быть, через столетия ожить в другом человеке, и увидит он ее моими глазами и заплачет... не сознавая, что плачет он от какого-то озарения, встревожен чьей-то... любовью, пронзившей толщу времен и доставшей ту плоть, ту душу, в которой суждено повториться и моей печали и моей радости...»

В самой этой ненасытной подробности, в задыхающейся обсолютности уже слышна печаль окончательного расставания, трещина неизбежной разлуки. Недавнее еще счастливое единство уходит на

глазах, и Краснов за всех прощается со всем этим родным миром, которому уж теперь жить только в памяти, только в тоске невозвратности, как шмелевскому православному московскому детству. Можно еще сыграть, но уже нельзя быть. И горше, и больнее всего угадывает Краснов крестьянским своим сердцем, что и земля сознает, что ее оставляют, что и ей быть сиротой и рваться к человеку. Она первая, первая материнским сердцем поняла, что ее оставляют, и закричала, затосковала, будто на чужбину отправляла человека и не знала, вернется ли он. И вот напоминает, напоминает свою прекрасную цельность и ждет возвращения: «Далеко простерлось родное, всего не навестишь, да, может, и не нужно вовсе. Главное, знать, что оно ждет тебя, всегда к тебе готово, сколь долго ни пришлось бы ждать и надеяться, теряться в догадках о сыне. И уже предчувствуя эту будущую, не такую и далекую теперь разлуку и смиряясь заранее с нею, уже пережив их много и многих не дождавшись, по чужим холодным землям разбросанных и зарытых, оно, родное, не тебя одного только, но всех жалеет и ждет».

Оно ждало недавно Ф. Абрамова, В. Белова, В. Астафьева, В. Потанина, В. Лихоносова и сколь многих еще, и вот ждет новых. Наверно, потому, что жизнь и земля сами ищут сохранности, осуществления в человеке, пробуждения в нем, таком малом и загнанном сбесившейся историей, спасительного чувства единства со всем на свете: «Надо расширять родное. Признавать, принимать, ведь это ты не сумел, ты не смог все это, чужое тебе такое вокруг, своим родным тоже сделать, и никто, кроме тебя самого, в одиночестве твоём не виноват... Всех оно ждет нас, возвращение...»

Оно-то ждет, да мы что-то не торопимся...

х х х

В «археологическом» усилии сохранить, «высмотреть» минувшее до точки (откуда пошло рваться?) он не чурается и тяжелой, мучающей работы, предвидя, что она и самому будет не в радость, и читателю не в опору. Но, видно, и это нужно. Как маяется у него злой старик в повести «Колокольцы», не умея срастить свою изорванную, как будто выеденную историей жизнь. Как срывает зло на каждом встречном, уже не умея ни понять, ни принять чужого добра, потому что провалилась, пропала жизнь в коллективизации, в финской войне, в лагерной случайности. История все будто силой тащила его, как-то поперек жизни. И вот уже смерть на пороге, а зачем были эти страдания, этот труд, из которого ничего в его жизни не выросло: «он вот теперь глядит. Зачем? Все равно забудется, как сроки пройдут, новых спроси, скажут – не было... А раз не было, к чему все тогда?».

И ведь подлинно уже вроде не было – ни коллективизации, ни тем более финской войны – уже не только новых, а и пожилых спроси. Так зачем тогда писатель рвет себе сердце (ведь чтобы болезнь писать, надо самому поболеть, поносить чужую саднящую душу), нас-то зачем заставлять задыхаться, читая этот срывный текст? А вот для того и пишет, чтобы никто не посмел сказать, что не было. Дай волю этому «не было», так не только прошлого, а и будущего никакого не будет. Одна небыль. Нет! (такое чудное далевское слово находит другой старик в другой повести Краснова. Эта далевская земляческая закваска вообще у Краснова крепка, и ему легко выговаривать родное и давнее, как навсегда нынешнее – все эти «внечайку», «свет неятный», «ерики потайные»).

Поздно старик понимает, что «...жизнь сама себе Бог, и с какой стороны ни ярись, ни воюй, а все против нее. Как был перед жизнью сопляк, так и есть». Когда бы все да сразу видели, что «жизнь сама себе Бог», может, и ярились бы поменьше. Против жизни жили, и теперь, как это прошлое ни вычеркивай, а донная память не даст. Сама жизнь напомнит, потому что обмани себя, скажи «не было», и опять то же станет. И, может, еще и хуже, как теперь это стало. Выходит, и свет надо помнить, и тьму не забывать. Не знаю, как в иных краях, а у нас земля наша, небеса, природа вседневная с ветрами и зноем, снегами и стужей обступает не одного человека, а как будто и саму историю, помогая человеку и миру в один час и губя в другой. Краснов это отлично знает – по земле видит и по слову русскому, по Платонову хоть, который земную пуповину человека слышал в каждом слове.

Может, после Платонова Краснов уже один так слышит нутро жизни, чрево ее, кровную связь, почему и начинает всегда с пейзажа и часто и заканчивает им. Все он делает перед лицом жизни. Вот умер злой старик, отмаялся, других отмаял, унес с собой непосильное время, которого «не было». «А в ночь началась первая в году настоящая гроза – очистительная, свежая». Успеешь с досадой подумать про поверхностный символизм таких гроз в финалах русских повестей, но автор твою досаду подхватит: «Но утром ничего не переменялось, лишь по-особенному как-то горчило на подворьях черемухой и не давал нигде забыть о себе... запах сирени – еле ощутимый, несуетный, всегда будто поодаль стоящий».

Как это замечательно про «несуетный» запах и это «поодаль стоящий». Вся-то наша природа так у нас – рядом и поодаль, в глаза не бросается, но подними на нее глаза, и она придет с удивлением и любовью, да нам-то не до нее. Улетели наши «высокие жаворонки», и грозы наши ушли в литературу и перестали очищать душу.

х х х

Мрачны были наши 90-е годы. Вот уж когда точно «поперек жизни» шли. Вначале еще храбрились. Письма писали, публицистикой себя калили, нет-нет да и разные пленумы и конференции собирали. Все еще по-советски широко, пароходами по Волге и по Днепру катили, праздники сочиняли, возгревали в себе чувство правды и любви. А те, против кого мы ярились, оставленные без присмотра, в это время торопливо делили что могли, тащили, прихватывали газеты с телевидением, рассовывали по чужим банкам народные деньги, застраивали страну барахольными палатками от моря до моря, сыпали словами соблазнов и постепенно, но проворно отменяли мешающие понятия: честь, совесть, традиция, милосердие, долг. Так что уж можно было расстреливать парламент, предавать Приднестровье, разваливать страну – все можно было делать. Ничья была страна. Ни высокого характера, ни жертвы. Русский писатель обессилел и смолк, потрясенный. Да и кому он был нужен, когда в том же 93-м злые старухи с обезумевшими лицами носили на Манежной площади портреты Ельцина и набрасывались на злых старух с портретами Ленина. И ельцинские были злее.словно в школе хотя бы не читывали ни Пушкина, ни Толстого.

Астафьев честил тогда большевиков, Белов – демократов в одинаковой горячности, словно так недавно не жили они в одной Вологде и не радовались одному и не могли наслушаться друг друга. Будто одно сердце надвое рвалось.

Скоро приедет Солженицын и выступит в Думе. И что это будет за всесветный позор! Старый художник начнет напоминать о справедливости, народной ответственности, долге перед историей, остерегать от ошибок прошлого. А ему только что не будут смеяться в лицо. Они так талантливо извели эти понятия и так счастливо освободились от них, а он опять за старое. Поневоле засмеешься.

Впрочем, это уже чуть позже, а в 93-м, в октябре, мы с Петромплыли по Волге на теплоходе «Юрий Андропов» в составе конгресса «Культура и будущее России». Отплыли как раз 2 октября. А уж наутро – какая культура? Какое будущее? Только ловили сводки – что там, на берегу? Убитые, убитые кто? И бежали с каждой пристани то один, то другой. Язык не поворачивался выговаривать слова «культура», «возрождение». Да и само слово «Россия». Поневоле вспоминалось, что в похожей ситуации писал М.М. Пришвин: «Говорили раньше: «У нас, в России». Теперь так не скажешь: где это у нас, какое это такое наше пространство и кто эти мы, русские, пожирающие друг друга чудовища?».

Вероятно, тогда пароход возвращался домой пустым...

Проза после этого писалась трудно. Кажется, само слово не находило себе места и металось в публицистике, как в жару, пиши, выговаривайся – только бы не болела душа. Тем более, что совестливую прозу ее уже подталкивало, теснило на обочину развязное племя молодцов, обрадовавшихся возможности осмеять так долго сдерживающий их мир и снять наконец штаны прилюдно. Как распространившийся со скоростью заразного заболевания Вик. Ерофеев, как иронические, брезгающие родиной и русским человеком, холодно умные и на все глядящие именно из плоскости равнодушного ума В. Пелевин и В. Сорокин, И. Кабаков и А. Шаров. Дамы старались не отстать и выразались решительнее мужского сословия, заставляя краснеть солдатские подразделения, как В. Нарбикова или Л. Петрушевская. А тут еще М. Жванецкий и С. Альтов, Р. Карцев и М. Задорнов, Е. Винокур и Е. Петросян – имя им легион. Тут подошли букеры, неотличимые от антибукеров, триумфы и маски, концептуалисты и постмодернисты, фэнтези и фикшны. Все засмеялось, зашпешило на презентации, сделалось легким и вечно праздничным, завывигрывало миллион и загадывало мелодию. Просто минуты уже не оставалось на жизнь, а тем более на какую-то память о покинутой земле и на глазах затонувшей стране.

Каждый побежал от ночной тоски сломя голову, а тоска за ним. Краснов и раньше своих резких чувств не удерживал. А теперь и во все: «Это как в доме покойник. И не могла обмануть ни спешка эта, снованье, толкотня лихорадочная – дергало в лихорадке толпу, на глазах корежило, – ни угорелые, как с цепи сорвались, стада машин. Даже гремевшая на всех углах полублатная, хамская какая-то музыка не умела, как ни старалась, заглушить, скрыть эту тоску существования, что ли, и того, что крутится все тут как-то вхолостую, на месте...».

Это из рассказа «Последний октябрь», где все взвинчено и может мигом разлететься в куски. И хоть про «тот» октябрь ни слова, но это он, он доводил героев до того, что хоть за оружие берись. А уж позднее в рассказе «Свет ниоткуда» мысль не то что успокоилась – она обдумалась, и уже можно было как-то осмотреться в ней и вроде от имени героя, а на деле почти позабыв его за своей тоской, выговорить эту неотступную мысль: «Воплощенное безвременье, державные часы остановившее, оно же и временем немислимой, жуткой правды стало – о нас самих. Стоило родиться, чтобы посмотреть на это дрянное из всех, от века не бывавшее диво человеческой лжи; но в невольной той, его-то натуре вроде никак не свойственной отрешенности в себя

уходя, в безмыслие иногда совершенное, казалось, безволие, он временами чувствовал вдруг себя словно бы на подступах к чему-то иному, нежели бедствующая человеческая мысль, гораздо более существенному для розной, больной жизни этой... К чему-то не то что объяснявшему все происходящее, нет, что тут объяснишь, – но дающему некую уверенность безотчетную, детскую почти, что все это – пройдет, истина свершится... Она ничего никому не стоила, эта уверенность, была безосновательной, в сущности, и бездельной. Оглядываясь, он видел порой на некоторых вокруг себя лицах ответы некие, самодовольно жалкие оттенки, если не сказать – гримасы ее, безмысленной, праздной, по-бабьи уверовавшей в себя, и его передергивало отвращением к ним и к себе среди них... это народ? Или то, что совсем еще недавно вроде бы этим самым народом казалось... неужто это лишь казалось? Неужто нам лишь казалось, что мы есть?».

Впрочем, если начать цитировать, то не остановишься, – эта история болезни написана хорошим врачом. И уж кто-кто, а Краснов глядел на низость, не отводя глаз, как в детстве, когда еще было солнце, он смотрел на солнце. Разборчивый читатель скажет: но ведь это тоже все публицистика! Так, да не так. Краснов действительно много писал ее в 90-е годы – прямой и честной, но и сам понимал, что ею не скажешь главного, что в ней человек вынут из живого порядка мира и переведен в социальную лабораторию, где, в сущности, уравнивается в качестве «материала» с участниками других, иногда прямо противоположных по задачам опытов. В том-то и тонкость, что этого в цитировании не передашь. Надо слышать контекст, в котором произносится внешне публицистическая сентенция, надо увидеть, что за нее заплачено автором и героем. Вот в этой последней цитате – чего проще: кто же не видит безвременья и не сетует, что народ распался. А только скоро герою предстоит погибать и выбираться, на себе проверить: все ли уже, или все-таки «безотчетная уверенность» в торжестве истины не вовсе безосновательна.

Встанут вокруг героя в безумной каляной морозной ночи враждебные, но и родные снега, чужие, но и свои звезды, злая, но и любящая степь. И окажется, что вроде обессиленному герою замерзнуть легче, а вот нельзя, что смерть не освобождает от какой-то не дающейся сознанию обязанности, и он, вопреки всему, выберется и додумается еще до одного открытия, которое тоже на формулу мало похоже: «не укореняться слишком». Не «давить» на жизнь, требуя воплощения своего, а дать ей свободу в себе. Она умная, она и из ниоткуда извлечет промельк света, только ухватись, не дай ускользнуть, не задохнись в гнев и печали.

В публицистике таких дорог не найдешь, там ни степи, ни звезд, ни прямой гибели, которые одни русскому человеку действительные советчики и помощники. Дед в «Колокольцах» со злостью сознавал, что жизнь сама себе Бог, а герой «Света ниоткуда» уже догадался, что и Бог – это вся жизнь и в ней никуда не денешься от данной тебе свободы воли. Не роняй ее в себе, вглядывайся, не вилай, и Бог, и жизнь выведут.

х х х

А как они выводят – с медленностью, почти неразличимой, – он напишет в лучших повестях последних лет – «Звезда моя, вечерница» и «Пой, скворушка, пой!». Опять, как всегда, как всюду, не опасаясь укора в однообразии приема, первой он выведет к читателю степь, ее долгие ритмы, ее страшный простор, где слово тоже будто останавливается в смятении и долго ощупывает земную и небесную даль, чтобы не заблудиться в нечаянном и случайном.

Попробуйте переведите первые страницы «Вечерницы» обратно в компьютер, и он задохнется в подчеркивании и раздраженно потребует разрядить этот томительный, словно предгрозового воздуха. Многие из нас уже пасуют перед этим педантичным редактором и уступают ему, стыдясь, что и издательство покривится, увидев английское, компьютерное недоумение. Глядишь, так скоро и сделаемся в своих сочинениях неразличимы.

Слава Богу, Краснов не боится ни компьютера, ни читателя, который такое же дитя компьютера и который тоже страшится неподъемных периодов и долгих пейзажей. У читателя тоже одышка начинается и, когда он доходит до собственно завязки сюжета – такой точной, легкой, умной, упругой, стремительной, – то украдкой вздыхает: ну, чего он, сразу не мог с этого начать – без этих своих стариков и степи? Не мог, значит. Старик-то на завалинке в прологе не просто глядит вокруг. Он думает о немыслимом, невыговариваемом – о сумерках жизни, общей беготне, конце света, до которого словно и дела никому нет: «Старик видел эту безнадежную, опрокинувшую все смыслы нехватку света, тщету немотствующую». Видите, и слова-то не стариковские. Не старик же в самом деле так думает. Не старик, соглашается, – писатель: – «Он не думал, мыслей таких не было; он просто видел все это, как видят, скажем, что лошадь гнедая, не сознавая этого, и если только спросит кто потом, говорят: да, вроде гнедая была».

И даже не писатель это думает, а сама земля, немая ее середина, то в ней, что зовется смыслом и судьбой. Оставляемая нами земля просит слова, и писатель не может отказать ей. Оттого и слова часто

земные, неповоротливые, тоже по-платоновски косноязычные, так что временами кажется, что ему и не словами хочется писать – тесны они ему, – а самой стелью, небом, ночью, молчанием, смертью. И нужны эти долгие слова и томительное вглядывание в дым ковыля, в немой полет коршуна, в утреннюю сутемь, в ночное косматое пылание звезд, чтобы не дать человеку увернуться. Не дать забыть сродство, из которого и растет тревога и которое и держит все его сюжеты, где мало прямого действия и много печали и горьких мыслей о человеке на изломе народной судьбы.

Во всех его книгах, как в «Вечернице», стоят на дворе «нелепые, страшные неизвестностью времена, готовые... вломиться в малую и самую что ни на есть личную жизнь и ничего не пощадить в ней, раздавить и надругаться над всем». Нет в России этой «личной жизни». Все зыбко и тонко, но намертво связано, и он с изумляющей художественной пронизательностью пишет эти ускользающие и вместе жесткие соприкосновения человека и судьбы, малой жизни и хищной истории. Это наш перестроечный «экзистенциализм», наши «Чума» и «Тошнота», если вспомнить беззащитность перед злым временем героев другой литературы.

Как была счастлива еще вчера героиня «Вечерницы», встретив любимого человека – надежного, сильного, земного, – когда она только-только открыла для себя древнее, дающееся не умом и не книжным научением знание, что «в ней одной никакой, ни ближней, плотской какой-то, ни дальней тайны неразгадываемой нет – без него. Одна она пуста... И он тоже пустой... Ну, что он без нее?» Уже одно это знание сулило согласие, способное спасти не только этих двоих, но и многих вокруг – во всяком случае их детей уж точно. И деревня у них одна, и земля родная вокруг. Живи себе. Только закрой глаза! Только не замечай в своей лаборатории при мелькомбинате, что американское зерно приходит скверное и его потихоньку сталкивают военным, словно это военные чужой армии, что турецкая пшеница чиста только снаружи, ловко просушенная, а она и перележала, и чуть не дважды померла, и хлеб из нее выйдет несъедобный. Помалкивай только! Что тебе, больше всех надо? Что, там меньше понимают, закупая это зерно?

Это таинственное «там» входит в жизнь каждого из нас, как вошло в жизнь героини «Вечерницы». Не договорить, промолчать, обмануть, покрыть воровство – ведь «там» знают, что делают. И все день ото дня злее, хитрее, ловчее. И уже не хватает сердца залагать эти прорехи души. Уже и твое счастье вот-вот отравится, и она, вчера такая радостная, уже думает, как старик, как земля из пролога, и чуть не

теми же словами: «...обессмыслилось и потеряло суть свою все: страх, самое понятие времени, сама надобность человеческого вопрошания вообще, и без того бессильного и безответного. Все мертво и незачем стало». И опять писателя не смущает, что это молодая женщина думает такими вековечными словами, потому что и в ней это земля и народ говорят, правда, превыше и убедительнее правды возраста и мгновения. Тяжело так думать старому человеку на пороге прощания. Сколько мы корили Виктора Петровича Астафьева за вырвавшееся в его завещании горькое слово о мире «злом и продажном», с этим невыносимым, небывалым в русской старости восклицанием в конце: «Мне нечего сказать вам на прощанье!». Еще тяжелее додумываться до отчаянного: «все мертво и незачем стало» молодой женщине, которая и матерью-то еще не была. Такие «открытия» могут дорого обойтись русской генетике.

А только, слава Богу, тут, кажется, герои устоят, потому что тоже общими усилиями, как учатся делать все в жизни, открывают, что все обретает смысл или хоть не теряет его, когда человек своим делом, любовью, сопротивлением неправде «приращивает живое». Не сохраняет только, хотя и это задача не последняя, а прилепляет жизнь к жизни и тем умножает ее, взращивает, двигает. Ведь и жизнь, очевидно, не крутится на одном месте в однообразном хороводе смертей и рождений, а растет, как все живое. Только куда? – к смерти, к потере сути, к закату, начерченному в Апокалипсисе? Или, пользуясь свободой воли, – к источнику жизни, к Богу, прибавляя опыт к опыту, душу к душе, знание к знанию, чтобы дорасти до соработничества с небом, до благодарного осознания себя детьми Божьими, для которых нет смерти, а есть только умножение живого до того, когда все станет жизнью.

Краснов оставляет своих героев на обнадеживающем пороге, но, как всегда, не торопится с окончательным утверждением победившего света. Человек, увы, живет в мире, и от этого мира в свою отдельную мудрость не спрячешься. Но их уже просто так не сшибешь. У них есть любовь и земля – это много. И писатель замечательно то ли их, то ли нас, то ли самого себя утешает: «Сомнения, страхи – они не уйдут, нет, им быть и быть; но есть свет, ищущий нас, только свет». Ведь это о Боге, как в обратной перспективе: мы в малой точке своих бед, а Он – свет бесконечный, ищущий нас в этой малой точке. Как восклицал когда-то в неподъемную минуту жизни один из героев Распутина: «Господи, поверь в нас, мы одиноки!» А тут уже не призыв, тут знание – верит! И ищет! И значит, не всё обессмыслилось и вопрошание не напрасно.

А что сомнениям еще быть и быть долго, мы увидим в повести

«Пой, скворушка, пой!» – опять горькой, замкнутой, как тяжелое раздумье, как дергающая боль перед поправкой. Посветлело в нас после «Вечерницы», но ненадолго. День-то в окно глядит всё пасмурный.

...Вернулся в родную, чуть живую уже деревню набежавший по земле сорокалетний человек, привыкает теперь к дождавшейся его материнской избе, оглядывается, как чужой, и всё никак не ухватится, не поверит, что – дома! Корить себя вроде особенно не за что. Не за легким счастьем бегал, жил честно, в Приднестровье воевал, и воевал хорошо, так что и перед своей совестью чист, и перед погибшими товарищами, жену там потерял, сына. Мог бы к этой земле родными могилами прикипеть, но уже и там потянуло предательством, и душа в одиночестве запросила родного. А нащупай-ка это родное, когда и другие, как ты, по чужим городам и не на кого опереться земле и тебе.

Много он тревожного передумает и ни от какой мысли в себе не спрячется. Надо ли было длить советские дни и дать вырасти лучшему, что было в той жизни, или вместе с этим лучшим мы окончательно потеряли бы Бога, и на день-другой позже, а все равно заплатили бы ту же цену?

Кто теперь думает об этом в таком обороте? Старики хотят удержаться прошлое, молодые – смести его, но те и другие мимо главного – мимо небесного урока. Нельзя эти раны бросить «так», как нельзя успокоиться в злом, мстительном (кому мстить-то?) сознании, что «скверней этого мира может быть только правда об этом мире». Вот до какой мысли его допекло! И он возится, прибирает двор и дом, и всё думает, всё ворошит прошлое и прицеливается к нынешнему: «... целиком и бесповоротно протухли, или это раны выгнивают, ненужное всё и непотребное, всякая дрянь наша отжившая... выгнивают раны, да тем и очищаются, а под ними, глядишь, кожица молодая с иммунитетом, которую никакая гниль нынешняя не возьмет».

Хочется верить в это герою, как хотелось верить героям «Вечерницы», хочется и автору, и нам. Только душа заболевает скоро, а лечится долго, и узлы завязаны так туго, что не враз развяжешь и не враз поймешь, где же всё копилось, откуда шло в русском характере. Откуда эти наши нынешние, разнообразные правды, которые никак ни во что крепкое и общее не соберешь и в единой справедливости не утвердишь: «... нету ее, справедливости, и не было никогда, похоже, а есть... что есть? Самовольщина есть, у каждого своя, и каждый готов свою за правду счесть... И даже тщеславится он ею, правотой своей».

Вот уж подлинно: как ночами журналы и газеты по киоскам не изорвут друг друга – такая в них взаимная ненависть и провокация

на зло против другого. И герой уж видит, что этими тщеславящимися правдами, хоть сотнями их плоды и хоть в какие стаи с ними сбивайся, ничего ни в себе, ни в жизни не управишь, что только за землю, за землю можно ухватиться. А то уж вон на весну герой смотрит, как она меняет все вокруг, но его словно стороной обходит – «будто отказано ему в ней».

Иногда кажется, что нам всем в ней отказано. Как и в осени, зиме, лете – вообще в красе Божьего мира. Стороной они мимо нас идут. В городе само собой. А вот уж и в деревне. Какие времена года, если сломался вековой порядок работ – поля заросли чернолесьем, луга одичали, не поют для нас «высокие жаворонки», никто не вяжет калину и не поднимает глаза к небу навстречу грозе.

И вот живет герой в родном доме, а все «как в стороне от всего – лишь как свидетель какой, и в этом зазоре, прогале меж ним и всем остальным, словно бы ледяной какой сквознячок отчуждения потягивает (я говорил – «экзистенциалист» – вот и «отчуждение». – В.К.)». Распутин в этом случае говорил: «хлябает» что-то в душе, не сходится. И, может, герой и догадывается, что не в одной общей беде дело, что не зря ему мысли о «самовольщине» приходили, что вот и он вроде за делом уходил из родного дома, места искал, а это, может, тоже только «самовольщина» была. Оттого и мается так, и изба все никак не обнимет его по-матерински, и весна – мимо.

Но не зря летает над двором, глядит на старый, позабывший себя и обжитый воробьями скворечник тоже вот из дальней дали воротившийся скворец, и не зря герой, смущаясь, ладит ему новый дом и беспокоится: поселится ли, найдет ли пару. Родня они стали друг другу, и уже неизвестно, кто кого приваживает к дому. Пожалуй, что – скворец, не изменявший порядку вещей и этой неизменностью спасающий выпавшего из жизни на самом верху здоровых сил человека.

И снова осмотрительный, ученый нашей реальностью автор не спешит окончательно ободряться и не дает нам обмануть себя «жизнеутверждающим финалом». Скорее даже к концу устает. Словно он героев своих по одному из круговерти лжи вытаскивает на себе. В каждой повести, в каждом рассказе одного-двух. И работе этой не видно конца. И даже кажется, что они ему самому помогают мало. Не успевают его самого ободрить. Отчего пока все последние повести не подхватывают друг друга, чтобы от одной к другой душа светлела и в каждой последующей «приращение жизни» шло дальше.

Как человек живет посреди мира, так и литература. Ей тоже в оди-

ночку счастливой быть не выйдет и одной своей сад не возделать. Это только в родной советской литературе отдельные молодцы пытались построить героя из слов и поставить его жизни в образец: делай, как он, и все будут счастливы. А чего вышло? Нет, время не обгонишь. Политики могут дружно говорить о «стабилизации», обманывать себя новыми успехами «гражданского общества» и плодами свобод, но они ведь и живут в своем кастовом мире, в котором свои законы и представления о человеческом счастье. А жизнь пока идет как шла. И не торопится возвращаться к земному народному корню, без которого мы действительно только «гражданское общество», где всяк сам себе государство.

Герои Краснова возвращаются домой трудно. Уж очень мы далеко ушли от самих себя, почти из виду потеряли. А дом-то все там же. Это у нас зрение исказилось в чужих очках. Все кажется, что надо как-то по-другому, не по-прежнему. Слишком близко подошел другой искушающий, агрессивный, насмешливый мир, утверждающий свою «тщеславящуюся» правду и зовущий на свои пути, чтобы не мучиться с нашей отдельностью и всемирностью, а подогнать под себя, да уж так и гнать без передышки по торной дороге неутолимого потребления, которой подлинно нет конца, ибо человек ненасытен. А только лучшая, коренная русская литература, рожденная землей и в ее простом вечном порядке находящая себе закон и Бога (а Петр Краснов сознательно и твердо продолжает эту золотую традицию), знает, что наш путь в другой стороне, и пока мы зовемся русскими, он таким и пребудет.

В одной из его дневниковых записей есть эпизод, вернее простая сценка, где гонит корову баба, рядом шмыгает носом мальчишка да вертится под ногами у них собачонка. И вот чем он заканчивает эту сценку: «Много мы где побывали – «в небесах, на суше и на море», под водой и за небом; во многом, слишком даже во многом переменялись, вроде сами себя не узнаем... Но есть и будут еще мальчишка в великоватой ему отцовской фуражке, мать его, наработавшаяся за день, белый с ними щенок, бестолково восторженный, и корова, их кормилица. Будут, Русь еще остается Русью, и не на чудеса все, оказавшиеся бесполезными нам теперь, не на огромную силу нашу накопленную, дебелую и безвольную, пальцем не шевельнувшую в защиту свою, а только на это лишь надежда. На дух русский, какой сохранится, даст Бог, в том парнишке».

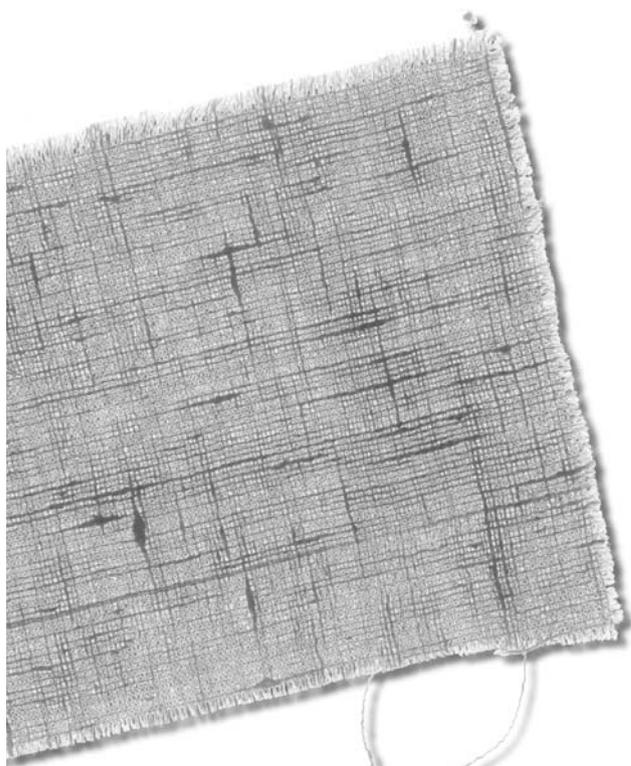
Да еще, добавлю от себя, на того русского писателя, который этого парнишку удержит в слове своем. Сделать это будет трудно – слишком

серьезно взялись за «парнишку» расчетливые, злые, неотступные, желающие своего гибельного «добра» силы – свои, а больше того чужие. Но и русский писатель, слава Богу, не бессилен, и голос его все ровен и крепок и просто так не даст заглушить себя. Петр Краснов не жалеет своего сердца, до рези и слез глядя на русского человека в очередной испытательный его час, и не дает ему успокоиться и обмануться. И все приращивает наше знание о человеке, все подвигает жизнь к Богу.

Его открытия просты: «жить, чтобы жить», «собирать родное собой», «не укореняться слишком», но они напоены живой кровью русского сердца, знающего, как спрашивают за слово на небесах. И как-то уж стыдно и неблагодарно повторять общие места об усталости литературы – пустое это. По отдельности, конечно, порой устают русские писатели – люди же, но литература, литература не клонится. Слава Богу, жизнь и история – не одно и то же. Пусть история выветривается до злой забавы, жизнь по-прежнему оканчивается смертью, и значит, дело хорошей литературе всегда есть.

И она его делает...

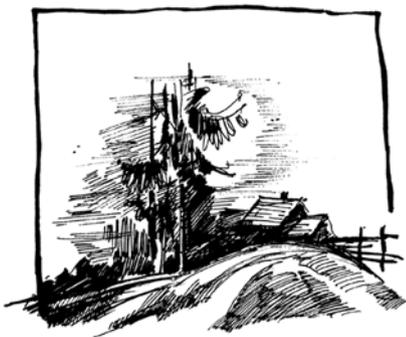




ассказы

Наше пастушье дело
Шатохи
На грани
Теплынь
На Алешином хуторе
День тревоги





Наше пастушье дело

*Родителям моим, Анне Ивановне
и Николаю Семеновичу, посвящаю.*

Всю дорогу от станции до своего села Николай одолел быстрым деловым шагом, каким привык уже ходить по стройке в прорабских своих хлопотах, а на последнем километре пошел медленнее, будто приустанов, в который раз и долго оглядывая родные места. Жил он сравнительно недалеко отсюда, в областном городе, и навещался часто, как мог, – жениться еще не успел, да и отцу с матерью надо было помогать. В последнее время прибаловали они оба, а с домашним большим хозяйством все не решались расстаться – привыкли и жалко было. Он и приезжал: то дровец с сеном на зиму запасти, то огород убрать осенью или помочь отцу поросенка заколоть, птицу забить. А чаще всего, несколько лет уже, ездил пасти скотину, корову с телкой и овец, что до сих пор держали родители его.

С некоторых пор в селе так повелось, что свое, единоличное, стадо землякам Николая приходилось пасти самим. Раньше, бывало, собирались самой ранней весной, подряжали за «общественную», со двора, плату какого-нибудь бобыля либо другого кого, кому нужда велела в пастухи идти, и стерег он круглый сезон коров, у хозяев только и заботы было – встрень бурену да проводи. А теперь охотников на целое лето в степь уходить совсем не стало; нужду, слава Богу, из каждого двора за ворота повыселили, и на пастуший целодневный труд уже никто не соглашался – нынче и в колхозе можно заработать, только не ленись... Так вот, хочешь не хочешь, и началась пастьба по очередности дворов: сколько голов рогатого – столько дней и паси в свой черед... Николай уже был один раз весной, отстерег свои два дня, а вот на днях опять пришла телеграмма: «Приезжай дорогой сынок шестого очередь отец болеет...» Такие приходили и раньше; и первую из них начальник строительного управления, человек неплохой, разглядывал долго и с недоумением, а потом поднял на него глаза и сказал: «Ну и что?..» Николай, покраснев слегка, досадуя на себя, что не сказал ему сразу сути дела, объяснил, что отец у него вот уже много лет как страдает от ревматизма и мать никуда не годится; и так вот вышло, что дома совершенно некому отпасти подошедшую очередь, два дня. Он все пять лет из института отпрашивался на это дело, отпускали.

– Ну, хорошо, – сказал начальник. – Ну, могли бы они и продать эту скотину, если уж не справляются. Или нанять кого пасти, что ли.

– Кто сейчас пойдет, – устало произнес Николай, ему почему-то показалось, что начальник уже не намерен от-

пускать его по такой пустячной для него причине. – А в деревне без скотины не проживешь, там продукты в магазин не завозят... Только поймите, Александр Степанович: для родителей моих и для меня все это очень важно.

– Нет-нет, я понимаю, – сказал начальник и потер лоб, взглянул на него снова. – А... не стыдно вам будет, вот так вот... инженеру – и вдруг с кнутом, нет?

– Работа как работа, – даже усмехнулся Николай, – привык давно. Да и не я один приезжаю скотину стеречь или помочь в чем... Времена такие.

– Да, – вздохнул начальник, – времена... А мои вот пока сами управляют, не зовут...

– Тоже сельские?

– Оттуда. Чудно, а?.. Ну, езжай, попасись, только чтоб к понедельнику как штык, ясна задача?

Он шел так, потише, оглядывал все и, собственно, взволнован не был, как после первых долгих разлук с родным; в сердце его за время этих частых приездов сюда крепко и надолго вселилась печаль. Он видел старый, улезший колеями в землю большак, чахлую мураву по обочинам, лощинки, поросшие по скатам жестким сухим чилижником и таким же сухим, но с сильным и нежным запахом чабрецом, а на горизонте призрачные, синеватые с зелеными, меловые плоскогорья. Знакомые раньше до мелочей березовые колки за полями словно бы еще отделились, стали мельче и глаже, и все вокруг было просторным, пустым и тихим. Он заметил в который раз эту отдаленность от себя и печаль всего, и что-то большее; так взрослый человек после многих лет разлуки с матерью, которую он вспоминает все больше молодой да шумливой, вдруг застаёт ее тихой морщинистой старухой и понимает,

что не виделись они на самом деле очень давно и что время их не щадит – обоих...

И когда галечный ковыльный взгорок оборвался и большак круто скользнул вниз, к затихшему под солнцем и высокими жаворонками селу, он остановился, закурил, а потом отошел и сел поодаль на ископанный редкий ковылек. Попытался найти отсюда крышу отцовского дома, но все закрывали другие крыши, постройки, величественно-сонные летние сады...

Когда, с чего начиналась его жизнь среди родины, он помнил слабо и смутно. Память с тех очень далеких, ему казалось, времен оставила и иногда показывает ему самые немногие, первые картинки – большей частью неясные и совсем пустяковые, незначительные для его будущей жизни, но которые любимы и милы будут до последнего срока. И были это даже не картинки, а так, одни ощущения мира, разделенного тогда для него на свои первородные составляющие – на краски, формы и запахи, на тепло и свет разделенного мира. Мать ему рассказывала, как однажды, годика в два, утонул он со двора на зады их сельской улицы, а там перешел через дорогу, через гумно и залез в поспевающие колхозные хлеба. Не вот его хватились; переполошились, все дворы обшарили, колодцы проверили... А нашли мирно сидящим среди густой августовской пшеницы, на теплой земле. И он всегда знал о той пшенице, не по рассказу, а сам; но только мало, помня лишь что-то ослепительно желтое, жаркое, дремотно шуршащее и еще голубое – это было его первым небом... Что было раньше, он не знал и не чувствовал и теперь никогда не узнает.

Позже ощущения и картинки эти стали понемногу складываться, оформляться уже в более четкое, связанное,

даже сюжетное – там начиналось детство... Там, позади, за туманной дальностью лет, росли необыкновенные какие-то деревья, была необыкновенно мягка и близка трава, тепла и ласкова речная вода, яркие краски и сладки плоды земли... Все было внове, новым было и молодым; и ему подумалось, что ведь природа рождается с рождением каждого нового человека – каждый раз молодой и полной тепла и света, всяких своих таинств и страха... Да, так оно и есть, наверное. Но как грубеет человек от времени, думал он, как скоро грубеет все со временем. Может, мы и становимся с возрастом умнее, но чтобы тоньше, понятливее к голосам отовсюду – нет, вряд ли... Наоборот, толстокожими стали; та зеленая кожица ветки стала корьем...

Все начиналось на берегу Бог знает какой степной речушки, неширокой, но с такими высокими развалистыми берегами – будто сделанными на вырост. Омуты ее тоже были здоровенными – или это казалось ему тогда, маленькому? – галечные перекаты просторными и настолько мелкими, что переходили они речку вброд, лишь самую малость подсучив штаны. За рекой пологие дуга с извилистой, в тине и камыше, старицей, белесое меловое нагорье, крутое от многовершинных высоких облаков небо. И когда забирались они на гору – не переводя духа, цепляясь руками за размытую давнишними дождями глину и гравий, за редкие пучки ковыля, и наконец оглядывались, то видели все, всю округу. Отсюда, с высоты, луговая зелень казалась ярче, а у берегов она была совсем изумрудной, сочной; на противоположной стороне играла бликами тополиная роща, городились один к одному огурешники, ровно кудрявились картошкой огороды. Улица их, оказывается, была не совсем

прямой, загибалась куда-то влево и терялась сама в себе среди палисадников, домов и высоченных, крытых соломой сараев. И посреди этой зелени, крыш и плетней валялась, сверкала перекатами неровная цепочка реки, светилась местами полудью омутов и заводей. За селом к горизонту тянулись неровные, разных оттенков поля, еле заметные балки, степь.

Тогда он был улыбчив, несмыслен и добр. И дни его катились один за другим – с сухими полуднями, солнцем, с короткими степными ливнями, все вроде бы одинаковые, но каждый – иной. А вернее, был это один день, длинный, как лето, – от первых огурцов до праздно пустых, прохладных под солнцем огородов, откуда уже увезли все в закрома, с копешками сена на их дальних концах и чистым земляным запахом в облетевших сквозных садах. Велик он был, этот день.

Мать будила его рано, когда еще только светать начинало. Она уже и корову успела подоить, и сумку его ряднишную собрать; и, приговаривая жалеючи: «Давай, сынок, вставай... вставай, родимый, разгуливайся, овец сейчас начнут выгонять», – потеряла за одеяло, за плечо качнула. Как не хотелось ему сейчас выбираться из теплой постели, идти куда-то, бегать день-деньской за этими телятами – хоть плачь; а тут еще и мать жалела, все говорила, вздыхая: «Господи, и когда мы этой скотиной детей своих перестанем мучить?.. Сами не спим и детям не даем». Совсем настроение испортила. Он нехотя, кое-как умылся, кружку парного молока выпил и вышел ко двору, зевая, поеживаясь от сыроватой утренней свежести.

Восток еще только начинал светлеть, обозначая темно-синий огромный купол неба с двумя-тремя неяркими желтыми звездочками, приречные тополя и строения;

а над ним залегли, застыли молчаливо, как рыбыны в стоячей воде, вытянутые тучи. Ни красок, ни птиц – ничего еще не было, один только запах степи, тонкий и острый запах полыни, который входит в селение с окрестных полей лишь с темнотой, как ночная тень, и с нею же уходит... В предутренней сутеми виднелись редкие огоньки, слышался иногда негромкий говор, скрип калитки, звенькали ведра – хозяйки, поднявшись затемно, готовились выпустить скотину. Но это не могло нарушить глухой замкнутой тишины спящего мира, все звуки вязли, глохли в ней.

Колька ощупью нашел, достал из-под застрехи сарая самодельный, сплетенный из сыромятной кожи кнут и тонкий и длинный пучок конского волоса, отстриженного тайком из хвоста отцова Голубка, – сегодня он наконец сплетет на стойле настоящий охвостник к кнуту. С загонного конца улицы приближался шорох, топоток сотен копытец, одиноко проблеял барашек. Мать тоже выпустила овец; они пугливо вынеслись, выбежали на середину улицы, смешались с остальными. И не успела еще осесть пыль, поднятая ими, как пошли коровы, степенно переставляя разведенные понизу задние ноги, потрусили телки. Опять поднялась уличная горьковатая, в наплывах коровьей мочи пыль, в горле запершило, но воздух даже сквозь нее был чист, свеж и покоен.

Поторапливая стадо, щелкнул нечетко кнут дяди Трофима, бессменного общественного пастуха; вот и треух его показался среди отставших коров, он шел вроде бы не спеша, но быстро. Колька стоял, смотрел, как прогоняют коров, видел у соседского двора неясные силуэты, говорок слышал. Потом оттуда выдвинулся человек, направился к нему, и он узнал деда Ивана, с которым они стерегли всегда.

– Што, уже готов, солдат, с утра-то пораньше?

– Готов, – сказал Колька, стараясь, чтобы это у него степенно вышло. – Здоров был.

– Здоровы ль, не здоровы, а бороться не будем – ты млад, я стар, – весело переиначил на свое дед Иван, шумно высморкался, огляделся, в рассветное небо по-птичьи глянул. Был он подвижный, ладный еще, все ему не стоялось; и даже сейчас видел Колька его сощуренные, хитрющие и почти всегда веселые глаза, как они блестели – видно, с хорошей думой встал. – Што, не пора ль и нам заходить? Нет, – тут же сказал он, – рано еще, темь... Вот, замечай себе, – сказал он еще своим мягким орловским говорком, обращаясь с ним на равных, как, впрочем, и ко всем обращался, – какие у нас люди до всего жадные, завистнющие, что даже-ть утром не хотят ни часу терять, в пастьбе-то... А коровы, понимаешь, не вылеживаются дома, не успевают отдохнуть; выгонишь их, а они скорее прилечь норовят. Нигде, сколько ни ежу, такой корысти не видел, везде часов в шесть только выгоняют, в самый раз, ей-бо. А у нас...

Он весело махнул рукой, и непонятно было, осуждает ли он за то односельчан или, наоборот, гордится, что они хозяйственные, «ставоранние» такие, как нигде...

– Вон тучи какие, – сказал Колька, чтобы поддержать разговор. – Как бы под дождь нам не попасть, без плащей-то.

– Какие, энти? Не-ет. На энти не гляди, солнышко станет, они и уйдут. Хуже, когда с лесов, с западу потянет; оттуда всегда – облачок с кулачок, а весь-то день льеть... Ну, пошли; так и быть, выгоним ныне пораньше, бабам душу потешим. Заходи с Богом, а я тут поддержу.

Колька зашел в конец улицы, требовательно посту-

чал кнутовищем в воротца крайнего двора. Из сенец выглянула хозяйка: «Что, телят уже? Ох, как вы рано-то ноне», – и выпустила телка. Колька не больно, для порядка, подстегнул его, тот взмыкнул и ударился вдоль по улице. Пастьба началась.

Они быстрым шагом – «спи мне, ворога!» – чтобы телята не разбрелись, не тыкались в проулки и между-дворья, прогнали стадо на выход в гору, к пажити, оставив улицу в низовом туманце, а там пошли неторопко, вольнее. Первая багровая муть уже сошла с востока, он светился ясным ровным светом подступающего солнца, был чист и тонок в голубеющих небесах. Тучи посинели и уже не казались такими мрачными; а вот и края их зажглись багровым, опаловым, и оказалось, что это не тучи вовсе, а облака, они просвечивались насквозь, легчали с каждой минутой и уже обещали радость теплого степного дня, не отягощенного непогодой.

На просторном тихом выпасе телята мало-помалу останавливались, несколько их даже легло. Кеды у Кольки промокли от росы, обзеленились в лебеде окраинного пустыря, было зябко. Но он-то знал, что солнышко мигом стонит росу, дай взойти, станет тепло, и тогда не придется заботиться о ногах, хранить в телогрейке тепло, потому что его будет везде хватать. А сейчас он ходил от одного конца стада к другому и не подгонял, а потихоньку собирал его, чтобы оно все под рукой было. На другой его стороне дед Иван стоял одиноко, опершись на батог и словно задумавшись, а за ним пронзительными чистыми огнями цвела заря, просторнело небо, и уже слышен стал ликующий немолчный хор утренних птиц в речных рощах. Отсюда, как и с плоскогорий за рекой, он видел широченный

пруд, блеклые от тумана заводи, темный еще дол – все в ожидании светила.

Телята с достоинством, по-взрослому укладывались отдыхать, в них уже видна была повадка их матерей. Сошлись наконец и пастухи. Колька снял перекинутую через плечо сумку, повалился на бок.

– Как, не дремется? Небось и в кино вчера ходил, а то и хороводился с ребятами? – Дед Иван достал прожелтевший от махорки кисет, аккуратно свернутую и разрезанную там, где нужно, газету и тоже улегся напротив. Свернул сигарку, провел языком по краешку бумаги. – Я, старый, и то вчера до часу глаза не сомкнул, все слушал... Больно уж Федька ваш мастер на гармошке – так бы, едрит твою, и выскочил на лужок, матаню водить! Так бы и ударился, в подштанниках-то! От бес!.. Ну, а леску – не забыл?

– Не-е, с вечера намотал. Вот, – показал он ниточную шпульку с леской, – ноль-четвертая. А крючки здесь. – И снял фуражку, где за дерматиновой окантовкой были зацеплены они.

– В самый раз, – одобрил дед, когда они вместе рассмотрели их. – Все голавчики наши будут. Там у меня на стойле, под крутью, котелок припрятан; смастрячим, брат ты мой, такую щербу, какой и на свадьбе не увидишь. Помнишь, как в этот раз?

– Помню, – сказал Колька, и сердце его залилось радостью. Хорошая у них в тот раз щерба вышла, и все ребята с их уличного конца завидовали, что он стережет с дедом.

– Вот так, – сказал дед Иван, он и сам был рад, что днем им есть чем заняться. – Прогоним к балке, дак и начинай кузнечика набирать. Они сейчас тяжелые, с росы-то, вот ты их и крой. Чтобы два коробка спичечных набрал.

Показалось солнце, блестящее, свежее, от него даже и тени еще не было, один свет. В высоте над ними робко цвелькнул, точно примеряясь, жаворонок, и было видно, как трепещет он крылышками, дожидается чего-то. Солнце поднималось на глазах, увеличивалось, добрело, облака празднично сияли и весь восток тоже... Блеснула вдали река, стройные тополя окатились розовым, светлеющим; и жаворонок, вознесшийся в самую синь, вдруг пролил на степь первую свою трель и пошел, уже не оставиваясь, все выше забираясь, поднимаясь на свою, недосягаемую для людей высоту... Жаворонок радовался жизни, славил жизнь и трепетал перед нею; и трепет маленького его сердца доходил до старого и малого, что были внизу, но только частью, ослабленный их разумом и человеческими заботами.

– Едрит твою! – сказал старик и прикрыл глаза. – Как запольскиваеть!.. Умирать неохота, вот как запольскиваеть...

«Неохота, ясное дело», – подумал Колька и ничего не сказал. И когда засыпал, и потом, во сне, все слышал жаворонка и чувствовал запахи растревоженной копытами полыни и разнотравья, прибитой росой степной пыли и сыромятного ремня кнута в изголовье, под сумкой... Сон, легкий и желанный, сморил его. Был он на воле свеж и чист, будто дыхание первого утреннего ветерка, и сквозь него он ощущал, как лежит его рука на теплющем ковыле, как матерински ласково пригревает, баюкает его солнышко и слабо колется в щеку былинка, и как хрустит где-то рядом трава, убираемая теленком, который все торопится запасть ей и побыстрее вырасти, стать большим и важным... Все нехитрые Колькины заботы отлетели, был только сон, золотой от проникаю-

щих сквозь веки света и тепла, и он сам, и все, что жило и только-только еще зарождалось в нем.

Он очнулся, когда кто-то потеребил сумку под его головой. Теленок жевал лямку; при пробуждении пастиуха замер и теперь глядел на него глупыми и красивыми, с нежной поволокой глазами, не бросая лямку, пуская длинную тянкую слюну. Колька медленно, насколько можно, вытянул кнут и успел лишь замахнуть. Бычок суматошно прынул, дурашливо вскинул задние ноги и пустился в сторону.

Стадо уже поднялось, разбрелось по всему выпасу, а те, что пошкодливее, подбирались к лесопосадке, за которой начиналось кукурузное поле. Дед Иван шел туда; завидев поднявшегося помощника, махнул рукой – погнали. Солнце напекло Кольке правую щеку, телогрейку – старую, истончавшую от долгой носки, и даже кеды, и после зоревой прохлады это было приятным. Он собрал ближних телят и погнал их, сбивая в кучу, к другим.

Вскоре дед Иван с Колькой перешли небольшой болотистый ручеек, заросший осокой и серебристым лозняком, и, перевалив взлобок, быстро, с криком прогнав телят большаком между клетками выколосившейся ржи, попали в Надежкину лощину.

Прошумели здесь весной полые воды, овражками вымыли землю понизу, обнажив пласты зернистого чернозема и светлой глинистой породы, а сейчас все это заплыло травой, степным ягоdnиком, по скатам среди проторенных скотом сухих тропинок цеплялся, неизвестно откуда добывая себе влагу на пропитание, чилижник, поднял пахучие головки-соцветия шалфей, прозванный «казачками». Телята рассыпались по лощи-

не, жадно хватая посвежевшую за ночь травку, а Колька пошел по теновому, росному еще склону, вороша ногами и кнутовищем спутанную зелень. Вот зашевелился один кузнечик, чуть подпрыгнул и тяжело упал другой. Коробок наполнялся быстро, кузнечики, если послушать, шуршали и скреблись там.

Они потихоньку, идя поверху с обеих сторон лощины, продвигались к верховью ее, следя только, чтобы телята не лезли в рожь. Кое-какой корм здесь еще был, но рожь все равно манила телят, приходилось то и дело гоняться за ними, и Колька даже устал немного.

– Хорошо росы хватанули, – говорил дед Иван, когда стадо еще раз улеглось передохнуть. Они сидели на бережку промоины, дед курил и пощуривался на тихие солнечные окрестности, на дальнюю лесополосу, дугой уходившую за горизонт. Уже несколько жаворонков в разных концах степи переливали свои песни, они слышались далеко, и им вторили монотонно, заунывным от подступающей жары свистом суслики.

– Росная трава, она сладкая, едовая. Давай-кось и мы теперь перекусим, а то молоко скиснет. Чай, молоко-то ныне мы уже заработали, а? – сказал он хитро. – А на обед – ушицы. Чем не жизнь!.. Вот ведь тем, понимаешь, и отличается человек, что он все, что ни есть для него, зарабатывает, а не за так берет. Потому, может, и живет сам себе хозяином.

Молоко («утрешником» называла его мать)стряслось, спяхталось, в нем плавали комочки рыхлого масла. Колька расколупнул яйцо, вынул из сумочки спичечный коробок, где в газетной бумажке лежала соль, хвост зеленого лука. Ели не торопясь, отдыхая от гоньбы.

– Мы на Орловщине, бывало, тоже так вот... – расска-

зывает неспешно дед, поглаживая ладонью жесткую, прогретую траву низовой степи, глядя перед собой, и лицо его, обычно жестковатое и веселое, сейчас распустилось, подобрело и каким-то рассеянным сделалось. – Вдвоем либо втроем уйдем со скотиной в поле – и весь-то день наш!.. Правда-ть, беспокойная была пастьба, дюже объездчики помещиковы смотрели, но ведь оно и сейчас неладно – то и гляди, чтоб в хлеба колхозные не порскнули... Бывало, кнутами мерились, как ямщики, – у кого длиннее, тому и ездить на других. Мало того, длиннее, так надо и щелкнуть суметь. Размахнешь им, а он тебя же и огреет по спине либо по заду – сам себя то исть... А как подрасти мне, отец и говорить: кнут, мол, длинный, на ноги востер, иди-ка, брат ты мой, в подпаски, все дому подмога... Ну и пошел к дедку одному, Дмитрей Митрофану. А тот привереда был, да-а... Загонить в угол общественного уголья, куда другие пастухи не рискуют, где погуще растеть, сядеть и наказ мне: следи, мол, а упустишь – спрос с тебя. Вот я и бегаю, вот бегаю-то, а он сидит. А чуть корова за столб межевой заглянет, он и зовет: что, мол, ноги не отрасли?.. И по ногам, по ногам – кнутом-то... Но уж на стойле давал волю, прямо ложил. «Ложись, – говорить, – передыхай – до вечера еще, слава Богу, натаскаешься... Спи, такую-то мать, я за тебя бегать не буду!..» Да-а...

– Да чего ж он... таким-то был?

– А вот такой был. А то залезть в талы и корзинки плететь – он все корзинки плел и только на эти деньги и пил, заработок свой не трогал. Разумный был мужик. Бывало, выпьет на это – ан мало ему покажется; вот и ходить повечеру и все себе соболезнуеть, хлопать руками: «Што бы мне еще парочку не сплесть, а?! Да

как же-ть я оплошал-то, Господь Боже мой, а! А все лень да ломота... вперед, видно, ты, лень, родилась». Куда как умен был; а когда расстаться нам было – сапоги купил и отдал мне: на хорошие ноги, мол, и сапог не жалко. Ввек их не забуду, прохоря-то те...

Потом дед прикорнул, а Колька пошел в ту сторону, где недавно столбиком стоял суслик. Нора оказалась летошней, глубокой, рукой тут не достанешь, и он побрел дальше, играясь кнутом, срывая по дороге казачки. Поле уже обкосили, окраины, не захваченные косилкой, заселил жилистый татарник, обороняясь от всего живого множеством настороженных колючек, вызывающе подняв яркие, лохматые, точно кавказские шапки, головы. И все вокруг жило своей отдельной, если присмотреться, а на самом деле общей слитной жизнью, только всяк по-своему, покоряясь единому повелению каких-то властвующих сил, – живи! Цвети!.. Колька не слышал этого, сейчас, к середине лета, ослабшего призыва жизни, он только замечал, как все суетится, живет: шустро бегали среди буреломного царства травы маленькие степные муравьи, волокли, сами плохо понимая куда, всякую всячину; плотными живучими пучками рос ковыль, развалился неприглядной мясистой розеткой коровник под пригорком. Рожь стояла особняком, в этом тесном и вместе с тем безбрежном государстве проглядывала некая искусственность, заданность, хотя и рожь тоже зависела от этих сил, боялась их и жалась к ногам человека... Так ему показалось, и он стал хлестать татарник кнутом, стараясь его кончиком сшибить нахальные головы. И сшибал, и они катились, покорные, и долго умирали травяной неслышной смертью, выдыхая влагу, а с ней и жизнь. Колька понарошку сердился и стегал,

а его все не убывало; даже у погубленных, казалось, уже с одними только жесткими остовами татарников выглядывали снизу, из розетки, молодые, будто в плечи вжавшиеся нерасцветшие головки: получив вдобавок долю сока, предназначенную срубленным, они уже через день-другой будут так же непокорно раскачиваться над мелкой травой, зазывно, тревожно сигналиа прилетающим с далеких отсюда пасек пчелам...

К полудню из-за еле видневшихся прохладно-синих плоскогорий стали прибывать облака, поднялся из негустых трав, зашуршал во ржи легкий ветерок. Свежести он почти не приносил, неоткуда было, кругом, куда ни глянь, тянулась знойная равнина, перемежаемая кое-где балками, приподнятая хлебами. Заструился, потек горизонт. Маревом размывало там голубизну неба, блекли его краски, лишь над головой оно синело нетронуто и сочно, умеряя пыл разошедшегося летнего дня. И стихли, будто завяли, голоса жаворонков, только суслики все еще уныло посвистывали друг другу: «Жара, брат?» – «Да, жарко...» – да ожесточенно, до одури, пиликали ошалевшие кузнечики – немного стало голосов у степи... Разморило и Кольку, он лениво шел за телятами, таща по траве ставшую обузой телогрейку.

Стадо не было нужды подгонять, оно само торопилось к устью лощины, к реке. По дальней дороге туда же спешно прогнали колхозное стадо верховые пастухи – пора, пора... Дед шел впереди, сдерживая рвущуюся к воде скотину. Сейчас как раз рожь зацвела, самое время «бзыка», когда особенно донимает всякая кровососущая тварь – слепни, мухи, оводье. Дремать нельзя: взбрыкнет одна, закрутит хвост и пойдет чесать на прямую, за ней другие прынут – а у них ведь их четыре,

ноги-то... Нет позора для пастуха хуже, когда скотина убежит, заявится ко двору посреди дня. И Колька заспешил на помощь деду, к голове стада.

Они прогнали его обочь кленовой лесопосадки, и открылась река со всеми ее косами, отмелями, дробящимся блеском воды. Телята с торопливой неловкой рыси перешли в галоп и посыпались, посыпались вниз... Колька тоже побежал, закричал, махая кнутом, выпугивая заскочивших в лесопосадку подопечных. Оводов здесь, в затишке, было особенно много, они даже к нему, бегущему, липли, возжелав крови, вопия о ней; и телята совсем сошли с круга. Сначала два, потом еще несколько с дурным взмыкиванием вынеслись на поле и, заломив хвосты, кинулись куда глаза глядят, топча молодую пшеницу и взбрыкивая. Колька попытался запередить этих, отставших, и четырех отбил, направил к воде, а одного, палевого, так и не догнал. Тот остановился далеко в поле, оглянулся и замычал; но стоило только пастуху двинуться к нему, попробовать зайти наперерез, как телок, дурачина такой, с видимым удовольствием поскакал с ним наперегонки...

Колька, вымотанный беготней, по-взрослому ругался и чуть не плакал... Ну, я тебя замечу, дурак ногастый, кричал он ему и тряс кнутом; вот погоним домой, гуртом, уж я т-те найду, достану... так хлестану, что взовьешься! А сейчас он не мог ничего сделать, и это было хуже всего. Стадо внизу собралось на стойле, по брюхо, по горло залезло в воду, и вон дед Иван уже прилег для перекура, а он стоял посреди пшеницы и ничего не мог поделывать с этим телком. Не упущу, упрямо, с отчаяньем думал он. До села дойду, а не упущу. Иначе как деду в глаза смотреть... а особенно хозяйке, которая вечером скажет с не-

прикрытой досадой, с издевкой: «Что же это вы, пастухи... животы небось грели на солнышке, газеты читали? Мы так рано не пригоняем...» И он сел в хлеба, выжидая, что станет делать эта скотина.

Телок остановился, оглянулся на него, севшего, словно недовольный, что игра кончена. Потянул туповатую морду к виднеющемуся стаду, повынюхивал воздух, будто раздумывая, как поступить, и легкой трусцой направился вниз, к воде.

Ну, слава Богу, подумал Колька и пошел вслед за ним, дурачком. Кинул рядом со стариком сумку с телогрейкой, мигом растелешился до трусов. Дед Иван с усмешкой наблюдал за ним, а потом сказал:

– Што, не запередил?.. Черта ль его запередишь, когда он своей головой не думаеть. Верно сделал, что обождал, одуматься дал. А и упрел ты с ним... У родничка перекусим?..

– А щербу?

– Щерба, брат ты мой, сама собой, это не еда – удовольствию. Рабочему человеку она ништо... Так у родничка?

– Ага, – кивнул головой Колька. – Я только искупнусь сейчас, ты подожди.

Он нырнул, перемахнул омуток, разом смыв пот и усталость. Берег был крутой, матерый, и он, став на подводную осыпь и сосредоточенно сопя, начал ощупывать под водой его скользкую, жирную глину, искать рачьи норы. Ага, вот одна, глубокая. Он обломал ее края, расширяя, кусочки глины неслышно выскользывали из руки и скатывались плавно к ногам; сунул туда руку, нащупывая что-то острое. Рак больно уцепил его за палец, но Колька привычно, не обращая на это внимания, захватил крупное тулово и жестко, не церемо-

нясь, потащил его наружу. Ему повезло, рак оказался с «кашкой» – крупнозерной икрой под шепталом. Он зажал ему клешни, чтоб тот не цапался, выел, выбрал всю икру до зернышка и, размахнувшись, пульнул рака на середину реки – плыви, попутешествуй, сидень... Опять нырнул, ухватился на дне за большой дернистый кусок осыпи, попытался раскачать, оторвать его ради забавы, но не справился и выскочил на воздух, пуча глаза, дурачась. Ладно, успею накупаться, сказал он себе, надо еще поесть да порыбачить. А потом костер заведем, шербу, и дед охвостник мне сплетет, постаринному. Телята часов до шести пролежат, успею...

Они сели у маленького шустро́го родничка под каменной крутью. Рядом пробивало еще несколько его собратьев, но уже были полузатоптаны, загажены скотиной. Родничок будто кипел потихоньку, его замшелое округлое донце было покрыто жемчужными бусинками воздуха, а из середины серенькой от мелкого песочка струйкой выбивалась вода, разводя поверху игрушечные буруны. Чистой, студеной воды родничок.

– Ему берега бы какие следуеть, – ворчал дед, разбирая наложенную бабкой снедь, – вот был бы родник! До скольких разов говорил бригадиру, чтоб подвезли сюда колесо от прицепного конбайна, врыли – куда там!.. Они, вишь ли, образованные все, им некогда такой мелочишкой заниматься. А дойдетъ ведь до того, что из-под скотины, с реки начнем воду пить – пра-слово, дойдетъ... Конечно, наше дело пастушьё, а все-таки внимание надо оборотить, не зазнаваться. Мы, чай, тоже хлебушек едим, а значит, и думать можем... не так, конечно, как сверху, но ведь думаем? А?... – сказал он, подняв глаза на Кольку. – Думаем мы или нет?

– А как же, – подтвердил тот, ему лестно было, что с ним так серьезно говорят. Он крупно солил ломоть белого, немного заветревшего хлеба, макал его прямо в родник и ел – страх как хорошо было... Крошки утягивало в ручеек, и опять родник был чист, и весел, и даровит на радость.

– Я вот подумал-подумал, а теперь решил: соберу-ка на днях инструментишко, досок прихвачу, да и сделаю сруб. Не дождешься от них, кто думает; а меня хоть спомнють при случае, скажут – Иван Шутов делал, не пожалел досок... Как ты думаешь – спомнють?

– Вспомнят, вспомнят, – сказал Колька, поднимаясь. Его уже глодала мысль об удилищах.

– Дед, – позвал он, – деда-а...

– Што?

– Я вот тебе волосянки дам – сплетишь мне охвостник? Только чтоб по-старинному. А я пока в посадку сбегаю, удилищ нарежу.

– Чай, сплету, спомню. Подлиньше выбирай удилища, крутя вон какие высокие.

На поплавки пошел сухой камыш, занесенный сюда и оставленный водой на топком мысу. Они получше завернули свои сумки и отнесли их подальше, чтобы телята не изжевали, а сами направились по неглубокому перекату на тот берег. Колька так и оставался в одних трусах, при нем была удочка, коробок да сделанный из лозины кукан для рыбы. Старик снял пиджачок, а уже около самого переката разулся, освободился от выцветших брезентовых сапог, и ноги у него тоже были старые и немощные на вид, и странно было, как они могли исходить столько. На другом берегу он опять аккуратно, основательно обулся, и они пошли к обрыву, который

был как раз напротив их стойла, – широкой песчаной отмели с редкими пучками зелени и лопушистой мать-и-мачехой под черноземным берегом, всей в сухих коровьих лепешках. Стадо улеглось, лишь немногие телята еще бродили между лежащими, выбирали себе места. А один забрался в воду по самую шею, только холка виднелась, и все тянул голову к недалекому обрыву, тосковал отчего-то глазами, будто не было у него в жизни желания, кроме одного – добраться, дотянуться до другого берега... И что они всегда тоскуют так, думал Колька, что им, жизнь плоха? Да ведь о них заботятся пуще, чем о себе, вспомнил он слова матери. Тварь какая, а тоскует.

Рыбалка сначала не заладилась у него: то ли место не то выбрал, то ли голавчики еще не расчихали наживки. Старик уже снял одного, крупного, и положил во взятый специально мешочек, который был у него подвешен у бедра, к пуговке штанов; потом еще выкинул, но это была уже медянка, серебряная вся, с желтоватым отливом. Ключуло наконец и у Кольки, он отчаянно, сильнее, чем надо, дернул, и голавчик стремительно вылетел по крутой дуге из воды, взвился высоко и где-то уже над ним сорвался и тяжело упал за спиной в траву. Ты это что ж, укорил он себя, что рвешь-то так... не впервой ведь рыбачишь.

За каких-то часа полтора они, переходя с места на место, нацепляли их штук тридцать, не менее. Дед Иван вымыл котелок, вычистил рыбу, а Колька взялся разводять костер: натаскал сухих коровьих блинов и всякий плавник с берега, пристроил на рогатках перекладину. Блины, сложенные шалашиком, занялись быстро, знакомый Бог знает с каких пор кизячный дымок потянулся от реки, давая неведомо кому знак еще об одном человеческом стойбище.

Они, обжигаясь, поели ухи – хоть и бедной, без картошки, но густой и едовой. Жара не спадала: наоборот, в небе набиралась облачная муть, солнце жестко парило сквозь нее, а ближе к горизонту облака потемнели, набухли парной влагой и шли уже поперек ветру. Из-за лесопосадки медленно, неотвратно всходила темная, опущенная по краям ослепительно белым туча: вершилась, росла, и скоро стали видны ее космы, подметавшие изжаждавшуюся пыльную землю.

– Вот и дождь, – сказал дед Иван обыденно, но как-то с тоской всматриваясь в разворачивающееся с ходу великолепное грозное небо с синими полынками между разреженных в пар и других, сгустившихся в тучи, облаков, сдвинутое в едином, чем-то угрожающем движении к ним, двоим людям. – То-то заждались тебя, любезного... Полей, родимый, покропи, а то уж вся душа усохла. Вот ведь и живу долго, видал всяко, а как отвыкнуть, бросить все?.. Прямо и не знаю.

– Что бросить?

– Ничего, милай, ничего... Ты давай готовься, подкруть полезем. Телят он нам потревожить, а так дак ничего. Гроза, говорю, будеть.

Над степью, над рекой совсем стало тихо, ветерок упал; и в тишине этой быстро шла туча, заполняя собой небосклон, гася просини и светлы дня. Вот уже и солнце заскользило в первых, подобных туману, посланниках ее и скрылось, и сразу померкла, воздушной и призрачной стала даль, и дождевые столбы и хвосты там, под свинцово-сизой ратью, приобрели объемность, легкость и мели, мели хлебные увалы и распадки земли, освобождая ее от маеты зноя и безводья... Отнесенные назад, к востоку, бесплодные облака еще светились вы-

соко поднятыми башенками, но прохлада тучи уже чувствовалась, перебивала жару, и от этого легко, тревожно было душе и телу, всему кругом. Сильнее, настойчивее запахла трава, задышали тиной, истрескавшимся суглинком и дерниной берега. Это знаком было, и они пошли искать себе укрытие.

Но что может быть в степи укрытием от грозы? До лесополосы далеко, за телятами не уследишь, а лозняк – он лозняк и есть. Устроились под крутым, подмытым пологом берегом, где хоть от ветра защита, – так, чтобы стойло на виду было. Глухо, далеко громыхнул первый гром, затих, а туча продолжала свое поступательное движение теперь уже над их головами. Воздух сперся, дышать непривычно было, точно на полке в бане, и сумеречная тишина сгустилась. Дед перепрятал кисет и спички за пазуху, потом не утерпел, вынул кисет и скрутил сигарку, закурил. Пустил дымок, оживленно глянул в небо:

– Вон она какая, страшила, пришла... Однако немного воды несеть, больно уж скорая. Надо бы окладной, а наутро чтоб солнышко.

– А сенá?

– От такого им ничего не делается, сенáм. Зато хлеба оживить, всему смысл дать. Это тебе самые лучшие удобрения, самый навоз.

Они увидели, как поник на дальнем берегу тальник, как лесопосадка заволновалась; блеснула молния, и потом донесся шум ветра. А вот и сам он прилетел, принес первые, мелкие и холодные брызги дождя, захозяйничал на реке. Парнишка и старик накрыли себе головы и плечи телогрейками, прижались к обрыву, у деда из-под фуфайки все вился по затишку махорочный дымок. Стремительно разомкнулось и сомкнулось в молнии темное

небо, на миг, на мгновенье показав свои огненные за-
предельные сады, и пушечно грохнул, угрожая увидев-
шему, гром, покатился по всему шаткому небесному
строению, рассыпаясь на десятки гремящих обломков.
Словно по знаку, стал спускаться на них буревой шум
ливня – и застал, и накрыл их...

– Попё-о-ор!..

Опять молния разодрала небо, осветив кипящую реку
и стеклянно-ломкие стены ливня, обрушился жесткий
трескучий грохот. Пучила землю яростная вода, колоти-
ла по телогрейкам и голым Колькиным ногам. Потекла
с обрыва черноземная жижа, подбираясь под них, жалкая
защита их уже промокла насквозь, по плечам и спине по-
лились холодные струйки; и Колька не выдержал этого
принужденного терпеливого сидения. Он не очень-то бо-
ялся грозы, из всех был такой, и сейчас раскрылся, сунул
телогрейку с одежей и сумкой деду под бок и выскочил
на волю... Его захлестнуло, забило тугой холодной водой,
уши заложило шумом, и он побежал к реке, бухнулся
плашмя в ее теплое, парное, зарылся и поплыл у самого
дна, чувствуя, как царапает колени и грудь его галька, как
мигом согрелся он весь... Выбрался на берег и запрыгал,
заплясал под будто бы враз потеплевшим ливнем. Ему
труссы сбило, он бегал и плясал, а дед смеялся и кашлял
под берегом и кричал:

– От бес!.. От бе-ес!..

Потом ливень поредел, превратился в дождь и ско-
ро совсем стих. Туча передвинулась дальше на восток,
утожа плоскогорья, а следовавшие за ней уже ничего не
несли с собой, от них только чуть за вечерело по всему
пространству проясневшей, влажно потемневшей степи.

Раз-другой выглянуло солнце и пошло сиять, теплять окрестности, далекие тополя и ветлы скрытого за увалами села; там, видно, еще лил дождь, но и он должен был скоро уйти. Телята, поднявшиеся и простоявшие все время непогоды, зашевелились, потянулись к свежей луговой зелени. Они сами выходили и разбредались по берегу, оводья и в помине не было, самое время попастьись. Старик с Колькой не держали их, они развешивали свое промокшее на рогутылках, и им обоим весело было, что дождь прошел и до вечера его больше не будет, что кругом свежо и хорошо и вон какое небо ясное и голубое поднимается и все дальше оттесняет сизую грядку, сваливает ее за плоскогорья. Еще стояла в ложбинках вода, дожурчивала по прибрежным овражкам, лесопосадка поблескивала мокрой листвой, от всего шел невидимый теплый парок.

Они пропасли здесь до конца дня, в ложину не погнались. Передвигались вдоль реки. Один раз чуть не смешали своих с колхозными, но помогла собака пастухов: носилась за телятами, чуть не цапая их за морды, безошибочно отличая своих и отбивая их в сторону. Раз пробежала она совсем рядом с забоявшимся Колькой, но только взглянула озабоченно; наверное, понимала, что они делают одно и то же дело, и даже не подумала гавкнуть. Потом встретила им отара овец, тех, что провожал он утром. Он попытался найти, узнать в ней своих овец, хотя бы одну старую, белолобую, но не нашел, столько их было много; и они, топоча и бляя, направились за овечником вдоль лесополосы в ложину и долго виднелись там, на склоне, мелкой черной россыпью. Прогнали на дойку к огороженному колхозному стойлу коров, на той стороне реки спускался с плоско-

горий по распадку, прозванному Дудкой, откормочный гурт. Тесно здесь, в лугу, особенно к вечеру...

Еще совсем маленьким брал его отец на сенокос в ту же Надежкину лощину; и вся она, и склоны ее были полны травой, такой, что велосипед трудно было провести... Произрастал там дикий вишенник, цепкий ежевичник вился, по дну росли мощные купыри, одним-двумя наешься. Водились куропатки, ящерок и змей кишело, по всей окрестности шерудили лисы; и было обычным, встав зимним хорошим утром, увидеть у стожка на задах петлестые следы косоглазого – сенцом приходил полакомиться. Ничего этого не осталось, и река тоже опустела. Вот она – с голыми, большей частью плоскими берегами, залезшим под крути жидким камышком и бледно-серыми неживыми водами выше плотины. В знойные полудни спускаются с ближних взлобков, вытянув пыльные хвосты, один за другим гурты скота, идут саранчой, до корней выщипывая оставшуюся на берегах травку, с хрустом и треском вламываются в редкую старую поросль тальника, объедают и его, затаптывают тысячами бестолковых слепых копыт последние родники – и они задыхаются, глохнут в тине и навозе, и река слабеет и тоже глохнет...

День подходил к вечеру. Еще шло, тянулось с запада тепло, и на всем оно лежало, это закатное тепло, а тени сгустились, от прошедшего недавно дождя креп летний холодок. Присмирела к ночи река, притихли ее перекаты, в покойных, светлых от неба заводях заиграла сигушка: поодиночке, с легким и отчетливым в тишине плеском, а то вдруг порскнет стайкой, заблестит по всему плесу, и сладко станет на сердце от покоя.

Колька не то чтобы устал – насмотрелся на все. Такой большой был день, что он даже по дому соскучился. Что

там сейчас, нового что? Поди, ребята по казачки в гору, за реку ходили; давно собирались, хоть и постарел уже шалфей, жестким стал. Правда, казачков он и здесь наелся и щербы нахлебался за милую душу... А может, и сусликов выливали, кто их знает. По реке сусликов еще много водится, и ребятам это было, как выразился Анисим Александрыч, бухгалтер-счетовод колхозный, статьей дохода: за каждого сданного на птичник суслика платили шесть копеек. Таким способом Колька этим летом себе уже и на ботинки с портфелем заработал, на дню, бывало, штук по тридцать выливал.

На птичнике тушки сусликов вываливали прямо в огромный котел и варили курам, ну а с оплатой... тут дело было посложнее. Сначала птичница велела отрывать сусликам хвосты и сносить их Анисиму Александрычу, седенькому и такому близорукому, что он даже в очках постоянно лапал по столу, отыскивая стеклянную свою ручку. Бухгалтер считал трофеи и выписывал им бумажку, по ней и получали у кассирши. Хвосты же он выкидывал в дыру правленческого сортира, стоящего на верху склона глубокого суходонного овражка, на задах. Ну, выкидывал; а потом кто-то из ребят уследил... С неделю сдавали ему одни и те же хвосты, Анисим Александрыч очень их хвалил за усердие в истреблении грызунов, а потом все же прознал, унюхал... Куда он их девал после этого – неизвестно, только хвосты снова валом повалили к старику. Опять он их принимал несколько дней, а потом с помощью сторожа правления была разгадана и новая каверза. Бухгалтер даже бутылку сторожу поставил, но разве утаишь в селе что-нибудь?.. Хитрость ребятни была злая: с суслика сдирали шкуру, резали на полоски и выставляли их на солнце.

День спустя они сворачивались от жары, ни дать, ни взять – хвостик, и не Анисиму Александрычу было это разглядеть... Старик у сделали нелегкое для его честной жизни внушение, а выписывать справки поручили птичнице. С тем и кончились для мальчишек слишком легкие их заработки.

Могли, однако ж, пойти и на рыбалку или за раками в старицу, тоже хорошее дело: накладешь этих раков в ямку, в копытный след на бережку, положим, а сверху костер разведешь, они там и испекутся... А еще он вспомнил, что нашел вчера в одном месте огуречной грядки большой уже опупышек, и за день он, должно быть, ого как подрос. Есть Колька его, конечно, не будет, отдаст матери, чтобы натерла его в квас, на крошку. А может, и съест, там видно будет.

– Ну, меряй, – сказал ему подошедший дед Иван, – сколько нам еще пастьбы осталось. Часами не разжились, ну так меряй, как я тебя учил.

– А чего мерить? И так видно, что пора.

– А ты помене разговаривай, ты смеряй лутше.

Колька вытянул вперед руку, старательно раздвинув большой и указательный пальцы, замеряя этим расстояние между горизонтом и красноватым остывающим солнцем.

– Ну?

– Четверть есть, пора бы собирать, – сказал Колька, выжидающе глядя на деда.

– Ну вот это другой коленкор, а то – «так видно»... Не дорос еще до «так видно», – несердито сказал старик. – Собирай помалу, а там и с Богом... Нечего зря траву толочь.

Вгоняли телят с того же конца улицы. Сзади их подпирала уже отара, и они не стали держать свое стадо. Те-

лята, поднимая пыль с высокого, не захваченного тучей выгона, обгоняя друг друга, пустились вскачь, вбегали в улицу. Спустились туда и пастухи, шли по уличному порядку, усталые и степенные, почерневшие за день – со степи. «Тпрусьеньки, тпрусьенюшки», – зазывали хозяйки телят, заходили в стадо, отбивая своих, и пастухов будто не видели: отстерегли – ну и ладно, что отстерегли, невидаль какая... Но Колька сейчас чувствовал и понимал, что он в деле, наравне со всеми, что на него поглядывают с одобрением, и радовался этому.

– Что, пастухи, свалили, стало быть, стережбу? – приветили их с завалинки мужики, собравшиеся покурить вот так, на склоне дня. – Небось пришпарил вас дождь-то?.. Куда силен был, бродяга, все грядки в огурешнике поразмыл.

– Да нет, чего ж, – сказал дед Иван, подходя к ним. – Промочил, конечно, а так скорый был. Под крутью и спасались.

– А молонья, молонья-то какая! У Ракутинах тополь так и распустило донизу, раскорезило... С дровами они теперь. А што, не поваляло хлеб?

– Стоить, крепконогий... Так он и затронул-то у вас (старик так и сказал – «у вас») всего полпорядка, охальный какой дожжишка. А все за грехи: молодежь греховодить, а старики не отмаливают...

– Да некогда молиться-то, – поддержал кто-то полушутя. – Днем в работе, ночью бабу шевелишь – все времена заняты... Ну, как у тебя подпасок-то?

– А хорош. Телята у него по струнке ходють, нам с ним не впервой.

– Вот и лады. А то надясь зареченские пораспустили, стыд-позор один. Отдыхать, значитца?

– Ну да.

И они пошли дальше, заторопились, потому что загонный конец улицы затопила овечья отара; там висела тяжелая в вечернем свете пыль, а здесь земля была влажной и теплой после ливня, все ребятишки босиком бегали.

– Отстерегли? – сказал отец, увидев его дома. – Ну и ладно.

А мать, встречая его, заулыбалась радостно и участливо, словно неделю не видела:

– Небось угодился за день-то, сынок... Ну, ничего, отдохнешь, какие ваши годы. – И засокрушалась, вспомнив: – А ить гусей скоро стеречь, три дни – вот с кем мороки! Видно, и не избавимся от каторги этой... Как же грозу-то переживали, я все думала, промокли наскрозь?

– Дождь помочит – солнце высушит, – сказал отец и подмигнул Кольке. – Ничего. Ему еще на завтра работа.

– Какая такая? – вскинулась было мать.

– А валки на огороде поворошить, вот какая. Дождь-то был? Был. Вот пусть и посушит, невелик труд. И верши в обед проведать надо. Чай, не девка – помощник растет.

Федька, старший брат, все лето работавший на стройке нового коровника, уже ушел в клуб. Они ужинали втроем жареной картошкой и молоком, и Колька почти клевал носом – так вдруг ни с того ни с сего захотелось спать и устали ноги. Мать и отец переглянулись, усмехнулись друг другу.

– Что ж, опять на лапас спать пойдешь?

– Ага, – сказал Колька и кивнул отяжелевшей головой. – А мне дед какой охвостник сплел...

Отец помог ему закинуть на плоскую соломенную крышу лапаса тулуп с подушкой и одеялом. Колька по лестнице залез туда, расстелил тулуп под боком у копешки нового сенца, накошенного отцом по логам. После дождя оно пахло духмяно, свежо; и воздух был тонок и свеж, и пока он раздевался, ему стало зябко, отчего вдвое приятнее было залезть под одеяло на пахучую овчину, положить голову на подушку и прикрыть глаза... Пошли у него перед глазами телята, помахивая хвостами и неловко, деревянно переступая задними ногами, виделась прогретая солнцем, светлая в желтеющих травах Надежкина лощина, дед Иван разувался и гладил, растирал свои старые ноги и щурился на светило, спрашивал: «Как ты думаешь, спомнють?» – а кузнечики шевелились и бились в Колькиной руке длинными царапками ножками, пуская коричневый деготок... Кузнечик-кузнечик, дай деготок! Кузнечик дал и, отпущенный, летел в степные злаки и цветы, трепеща ярко-красными сухими крыльями, сам как цветок...

Он проснулся где-то за полночь и увидел над собой чудесное ночное небо, все в крупных и мелких спокойных звездах. Они горели голубоватым пламенем так далеко и ярко, что он вдруг почувствовал это расстояние и весь, до дрожи, пронзился им, сладко ужаснулся открывшемуся и опять заснул; и никогда потом он не мог так понять и так ужаснуться, желал он этого или не желал...

На заре сквозь сны он слышал звяканье подоюника в материнских руках, кагаканье гусиных короогодов, провожаемых в речные луга, раза два над самым ухом, казалось, орал петух, но это не только не пробудило, а еще сильнее усыпило его, счастливого, что никуда ему торопиться не надо, что он может вволю спать и только

иногда, сквозь негу и сладость зоревого сна, слышать отголоски чужих хлопот...

Я люблю тебя, детство, потому что твой дар самый нежный, самый бесценный и памятный из всех, что может получить человек за свою беспокойную жизнь на земле.

Ужинать сели, когда скотина была уже управлена и улеглась отдыхать. Мать, тяжело ступая, собирала на стол: намаля с маслом сливной каши, принесла лучку, малосольных огурцов, поставила, обтерев фартуком, запотевший бидончик с молоком из погреба – берегла утрешник, знала, что он больше любит холодное, не парное. Николай с отцом выпили по стаканчику «стречной», не торопясь закусывали.

– Садись, мать, хватит таскаться-то, – сказал отец. – И этого достанет. Выпей вот с нами – чай, не каждый день сыновья приезжают.

– Нет уж, – отмахнулась мать. Ей и так было хорошо – сын приехал, навестил. – Видно, отпила я свое, ноги не ходят.

– А то бы выпила, все равно отдыхать-то.

Мать осторожно взяла стаканчик, пригубила, улыбнувшись сыну радостно и благодарно, и у Николая сжалось сердце. Что еще мог он сделать для них?

– Садись, мама, что стоя-то... Весь день ведь на ногах.

– Вы ешьте, а я сяду... Сяду, только вот сметаны принесу.

– Ну, стеречь вам с соседом только в Надежкиной лощине да у реки, больше негде, – говорил отец, немножко захмелев. – Все распахали, последние солончаки под плуг пустили, умники... Скоро вот уборку начнут, на ржище можно будет гонять; ну а пока там. Да выше по лощине-то поднимитесь, там все трава посвежее...

– Что ж, на Богатые покосы коров не гоняют теперь?

– Были богатые, – усмехнулся отец. – Да ты сам весной был, видел – взять там нечего, на Богатых-то... А стойло все на том же месте, у родничков.

– Знаю, – сказал Николай. – Рядом с телячьим.

– Вот-вот. А из стойла выгоните – так можно и в лугу, у реки потеряешь скотину до вечера. В восемь и гоните домой. Мать вон уже и сумку тебе собрала.

– Палка-то есть какая-нибудь, батожок? А то в прошлый раз ни кнута, ни палки; со штакетиной пришлось, пока в лесопосадке не вырезал...

– Кнутишко нашелся, – засмеялся отец. – Твой еще, старый. Полез надьсь под насест, к курям за яйцами, а он под стропилой заткнут, дожидается. Кожа высохла, а так ничего, годится. Ну, думаю, сделаю им стречу – дружок по малолетству как-никак. Вон он в сенцах висит, в углу.

Николай вышел ко двору, покурить перед сном, захватил и кнут. Сел на скамейку и стал разглядывать его в свете, падающем из окон дома. Сыромятная кожа плетенки и правда высохла, потрескалась даже и еле гнулась, на кнутовище, отполированном его и братниной, Федькиной, руками, увидел он давно вырезанные их имена... Далеко сейчас Федька отсюда, аж на Дону, в Се-рафимовиче. И там степь есть, хоть и не наша, не уральская. Ну а кожа отойдет завтра в росе, смягчает. Цел и охвостник, сплетенный когда-то дедом Иваном. Сам старик умер года два назад, осталась одна бабка, и соседское подворье запустело, высокая соломенная крыша сарая, сложенного из белого плитняка, местами прогнила, провалилась, покосились ставни дома, и палисадник сплошь зарос голенатым будылистым топинамбуром, похожим на подсолнечник на скудной сухой земле...

Ночь уже наступила, хотя в стороне заката небо еще слабо светилось, синело; на его фоне очень четко, каждым листком видны были тополя и высокая береза соседского сада, сухо шелестящие на легком ночном ветерке с заречных долин. Шелестели и не видные отсюда осинки, неведомо как попавшие и прижившиеся в отцовском саду, лепетали что-то свое, торопливое и бредовое. Во тьме, покрывающей село, жили звуки: вот заскрипело крылечко, стукнула дверь; залиvisto затявкала и враз смолкла собачонка, ей на другом конце ответила, забухала басом другая, а потом на луговине перед начальной школой запиликала невнятно гармонь, кто-то праздновал там свою молодость... Поплыл, завилял поперек улицы красноватый светлячок чьей-то поздней сигарки, а за рекой над плоскогорьями понемногу разгоралось тяжелое багровое зарево, освещая долину и неровные берега, – там всходила луна. И от этого неумолимого зарева, от ропщущей несмело и тревожно тишины, залегшей в темноту округи, легкая тоска схватила его за сердце и не отпускала.

Здесь родина моя, родина всего, что есть во мне. Что-то потеряно, чего-то не наверстать теперь, но еще живо. Что-то доживает еще здесь мое, оставшееся навсегда. Его встретишь везде – в уголках заброшенных, заросших муравой и лепешками глухих задворок, где играли мы когда-то, в запущенном родительском саду, на излучине реки, в голом печальном овражке степи – встретишь, узнаешь родное и, как можешь, поймешь тоску свою...

И от деда Ивана, который умер, в землю ушел, – от него тоже осталось. Дом, который он поставил, приготовил ко всем на свете непогодам и обжил, – вот он, рядом. Есть еще камень у ворот, отбеленный солнцем

и дождями, на котором так любил сидеть по вечерам, поджидать собеседников, встречать пришедшую с дальних полей скотину. Где-то живут дети его, помнящие иногда об отцовских руках и о своем роде, и люди еще помнят его, с ними он прожил свою жизнь, оставил часть себя.

Жив еще твой родничок, Иван Игнатъич. Помнится, в последнее свое лето ты опять взял подводу, бригадир, скрепя сердце, выделил тебе пару досок-пятидесяток, и ты поехал и сделал новый сруб для родника. Доски обомшели, прогнили, но держат пока; а осыпь понизу затинилась, камни там уже не острые, молодые, а затоптанные, в грязи и коровьих ошметках... А от других родничков ничего не осталось, кроме тины, ледяной от пока еще питающих ее подземных ключей... Жив родничок, сказал он ему в его далекое и неизвестное – и ничего не услышал в ответ, кроме родной тишины.

1976





Шатохи

Уже второй день подряд Гришук сидел дома. Позавчера на него по дороге из школы напали бродячие собаки и покусали, порядком-таки подрали. Укусы заживали медленно, и ему было теперь и досадно, и стыдно, что не с кем-нибудь, а именно с ним случилось такое.

Обычно он ходил в школу пажитью, потому что кто ж пойдет с их конца улицей, когда пажитью вдвое короче; и вчера шел там же, по обыкновению угнув голову, разглядывая от нечего делать дорогу, иногда поддевая чесанком лошадиные «яблоки» и гоня их впереди себя. Это у него ловко получалось, и он совсем не заметил, как собаки оказались поблизости. Когда Гришук поднял голову, то увидел их метрах в пятидесяти от себя, не дальше. Шесть псин самых разных собачьих рас и размеров, они беспорядочно трусили к дороге, наперерез ему, редко и безучастно перелаивались, поскуливали друг другу что-то и Гришука, казалось, не замечали, потому что забот у бездомной собаки куда как больше, чем у какой-нибудь цепной брехалки. Судя по всему, они возвращались с колхозного двора, где мышковани-

ем, воровством и прочим добывали съестное, к своему всегдашнему притону – траншее скотомогильника, вырытой прошлым летом с помощью бульдозера за пажитью вместо старых глиняных выработок.

Гришук разом забоялся, остановился, пережидая, пока вся эта разношерстная компания пересечет дорогу, стал разглядывать их – бежать было никак нельзя, потому что собаки тогда непременно вслед кинутся, хотя бы из-за любопытства; да и разве убежишь от них на чисто заснеженной, только кое-где в кулижках старой полыни пажити, когда до уличных ветел триста с лишним, а то и все четыреста пустынных метров... Он сразу же узнал бежавшую чуть впереди стаи Волну – кокетливо белую, несмотря на бродяжничество, с ладной, по-собачьи умной и внимательной ко всему встречному мордой, хозяйку и праматерь всех обитателей скотомогильника; а рядом – немного позже, уже со страхом и смятением, с гадкой слабостью в ногах – пегого крупноголового кобеля по прозвищу Лютый, завидя которого любая домашняя собака либо зазывно и подданно скулила, егозя спиной и скашивая уши, либо поджимала хвост и опрометью бросалась к подворотне...

Гришук тихо завернул и, млея от ужаса и стараясь не махать руками, пошел, не оборачиваясь, прочь от собак, сам того не замечая, все быстрее и быстрее, лишь об одном думая – только б не побежать...

Он отошел уже, казалось ему, далеко и, томительно замирая сердцем, все ожидал, что вот гавкнет Волна – и тогда вся стая, взъерошившись, взворчав и залаяв вразнобой, кинется к нему и на него...

Он вдруг представил себе это так ясно – яснее некуда! – что судорожно вздохнулось, точно вздернулось

что-то в нем... Оглянулся на миг и припустился бежать, очень быстро, опять показалось ему, а на самом деле детским каким-то галопчиком, осклизаясь в накатанных колеях и не успевая хватать воздуха охрипшими легкими...

За всем этим он не услышал, как прекратился за спиной семейственный мирный перебрех и как встревоженно-игриво твякнула Волна; а когда еще раз оглянулся, то увидел разом, как, растянувшись по дороге, катится к нему, подвывая и взлаивая, вся стая, а впереди нее плавными растянутыми прыжками несется Лютый, пригнув и чуть вобрав лобастую голову, уверенно и стремительно перебирая лапами дорогу... Гришук, задыхаясь в тоске, уже бежал кое-как, боком, не в силах не глядеть на его широкий, мерно качающийся в беге лоб, на деловито-настороженные, готовые на все глаза и чуть ощеренную в азарте погони пасть с блестящими слюной клыками...

Он споткнулся на бегу и с размаху упал; а когда вскочил, не чувствуя ни боли, ничего, то увидел, как околесил его сбоку дороги Лютый и остановился резко метрах в пяти, поводя запавшими от зимней голодухи боками и глядя на него чуть раскосыми, будто ожидающими чего глазами; и тут же на Гришука налетела и с ходу прыгнула, хрипло рыча, другая собака, целясь на приподнятую в защите руку – промахнулась и покатила через голову, а потом набросились остальные.

Что-то крича, задыхаясь и громко плача, он закружился, затоптался на месте, отчаянно замотал, забил руками среди ярого, осатаневшего враз хрипа и оскаленных морд, отворачивая лицо и все еще каким-то чудом держась на ногах под грузом насевших и повисших на

нем собак; его уже хватануло за ногу, небольно, потом за кисть и сразу же опять за ногу, с треском разодрало сзади ватник, и он упал от сильного рывка за шиворот и съезжился, с усилием сжался в комок, укрывая голову от рвущих и катающих его по талому снегу пастей, от липкой, жгущей кожу слюны и грязных дерябающих лап... В мгновения, столь короткие, он уже успел подумать с ужасом, что скажет матери, когда вернется такой вот подранный, и как ему перед ребятами будет стыдно, что он такой неудачник... и тут же понял, что он может ведь и вовсе не вернуться – да, не вернется никак теперь, совсем не вернется! – и от этой нелепой, ясной, страшной мысли он, не веря еще, застыл на миг, а уже в следующий закричал слабо и жалобно, подавая куда-то – куда? – вздрагивающий на пределе голос, чтобы хоть кто-нибудь услышал его в остервенелом хрипе нападающей стаи, чтоб только узнал, что он здесь и что ему помощь нужна – или он не вернется домой, умрет!.. Он вжался лицом и всем телом, как мог, в шершавый влажно-леденящий снег, прося защиты и у него тоже, – и обмяк, почти теряя сознание.

Потом он услышал короткий взвизг, захлебывающееся рычание, опять визг, и собаки вдруг одна за другой отпали, отпрянули от него. Все, показалось ему, сейчас Лютый зачнет – все теперь... И он закричал снова, отрывая голову от снега и оборачиваясь к родным крышам и ветлам далекой улицы, пожаловался обессиленно:

– Мама-а-ань... да маманька же!..

Ему никто не ответил, и никто на него не кидался. Собаки, отскочив, глядели на него безучастно и незнающе, как на что-то успевшее надоеть, и одна из них с деловитым остервенением уже искала блох в свалыв-

шейся своей шкуре; а между собой и всей стаей он увидел Лютого и рядом с ним благожелательно виляющую хвостом, даже чем-то веселую Волну. Пес стоял к стае боком и тихо, содрогая воздух, рычал, а Волна как ни в чем не бывало ластилась к нему, то отбегая, то снова приближаясь, ласково прижимая уши и иногда поводя умной и приятной мордой в сторону Гришука, точно принюхиваясь. Но Лютый все рычал, а потом вдруг куснул подвернувшийся ему бок Волны, та коротко ощерилась, огрызнулась, и они вместе затрусили по дороге, уводя за собой, не оглядываясь, всю стаю.

Гришук с трудом выбрался из истолченного, в сотнях звериных следов снега, сел на дорогу и молча заплакал. Потом он все же поднялся, чувствуя, как быстро немеет нога, подобрал варежку и пошел, хромая, к проулку, к улице, не оборачиваясь теперь на собак и не переставая плакать, слизывая с губ соленое – то ли слезы, то ли кровь, а навстречу ему уже мчались сани, лошадь, отворотив на сторону напряженную голову и кося ошалевшим белым глазом, несла галопом, и кто-то, стоя в санях во весь рост, кричал, матерился высоким злым голосом и махал кнутом...

Лошадь осадили так, что она, прядая ушами и храпя, сорвалась с дороги, увязла в снегу, а с саней неловко и торопливо соскочил и пошел, почти побежал к нему, выругиваясь, конюх дядя Пантелеев, возбужденно и недовольно крича еще от саней:

– Да как же-ть они тебя, а? Куда глядел-то, когда шел?..

И, сбавляя шаг и страдальчески-досадливо морщась, подошел, легонько тряхнул за плечо – словно проверяя, цел ли он. Потом нагнулся к молчаливо глядящим на него Гришукиным в слезах глазам; посмотрел удивлен-

но и сожалеюще, успев заметить подранную детскую телогрейку, излохмаченные зубами чесанки, глубокую царапину на щеке, заплывшую густой от холода, шнурочком, кровью. Крякнул неприязненно, присел на корточки перед ним и опять качнул его за плечо, сказал грубовато и участливо, мягчея глазами:

– Жив, значит? Ну, слава Богу... А я-то летел-спешил... боялся – задавят, шатохи! Как, больно покусали?

Гришук не ответил, вытер лицо рукавом и оглянулся назад. Собаки, прибавив ходу, разрозненной цепочкой уходили в степь, за комоватый гребень скотомогильника, – поджав хвосты, горбясь, с угрюмством бродяг перед всем оседлым, хозяйским и потому никем не гонимым.

Дядя Пантелеев тоже проследил за ними, непонятно щурясь, потом не выдержал и, будто забыв про Гришука, коротко ругнулся, пригрозил кнутовищем:

– Погодите, шатохи... отучим! – И сказал, оборачиваясь, по-родному дохнув на Гришука крепким запахом жареных подсолнушек и табака: – Где укусили-то, а? Больно?..

Он подвез его к медпункту, потому что нога у Гришука совсем одеревенела. Фельдшерица тетя Тамара столкнулась с ними в дверях и, увидев, должно быть, все поняла, только руками всплеснула. Потом она заторопилась, приготовила шприц и, приблизив к Гришуку белое, до единой морщинки промытое лицо и сказав при этом свое «крепитесь, молодой человек», сделала в ногу не очень большой укол; смазала обильно йодной настойкой и стала бинтовать ему неглубокую, крутой скобкой ранку над коленом, а потом еще по одной на руке и ноге. Дядя Пантелеев, несмотря на приглашение сесть, хмуро покосился на белые чехлы стульев и пристроился на корточках у двери, привалясь к косяку и неловко вертя

в пальцах незажженную папиросу. Фельдшерица, обрезаая ножницами края бинта и поглядывая на Гришука ласковыми и жалеющими, в чистых морщинках, глазами, сердито говорила:

– Чудо какой мальчик... такой мальчик хороший – и собаки!.. Не понимаю, как вы, родители таких вот, можете терпеть у себя под боком эту банду! Вы же мужчины, у вас ружья там, свободное время... на худой конец можно участкового попросить, чтобы помог. Вот и у вас тоже есть девочка; прекрасная такая девочка, здоровая, полненькая, а как, чем я могу гарантировать вам, то есть им, помощь, если эти ужасные собаки едят всякую мерзость, падаль, всякие отбросы? (Вы, конечно, понимаете, о чем я говорю?) Достаточно самого незначительного укуса... А вы предпочитаете проходить мимо, и я не знаю, чего вы еще дожидаетесь!

Конюх молча следил за ее проворными руками; потом смял в кулаке папироску, с видимым неудобством сказал:

– Да мы понимаем, Тамар Пална, что нельзя уже... Сделаем что-нибудь.

– Ну, так вы действуйте, действуйте, дети ведь вас ждать не будут. Сколько же можно: я за последние два года уже человек пять перевязывала, неплановую вакцинацию провела... Поймите, это опасно! И дети напуганы, и... это же просто собачий террор какой-то!

– Сделаем, Тамар Пална, что уж тут говорить, когда надо. Мы давно поговариваем, потому что уже не только ребятишкам, а и всем от них покоя нет: ни гусят не выгони, ни...

– Ну так сделайте это вот сейчас, на днях!

– На днях? – сказал дядя Пантелеев озабоченно и будто бы растерянно.

И сделают, злорадно думал Гришук. Вот соберутся завтра, например, и сделают этим собакам... чтоб знали, как на людей кидаться! А то им очень уж легко все сходит – то накинута на кого, то испугают не знаю как. Распоясались – силов нет, думал он пантелеевскими словами. А ему – мало того, что покусали – еще и дома попало из-за этих шатох: мать как увидела его, всего подранного да перевязанного, так вся расстроилась, всплакнула даже малость, а потом подзатыльник дала, сказала, что ежели еще раз увидит его на косовой дороге, на пажити, то, ей-Богу, голову оторвет...

Гришук мрачно усмехнулся: как же, так он и будет улицей ходить, как девчонка. Нет, это уж она слишком. Он возьмет палку и будет ходить в школу пажитью, с Витькой Кузиным, конечно; и пускай тогда собаки сунутся. В конце концов он уже не какой-нибудь там второклассник, он может и сдачи дать кому хочешь...

Но слова матери и особенно лицо ее, одновременно в слезах и злой решимости, никак не выходили из головы; и от всей этой сырости и серости зимнего ростепельного дня, от материнской угрозы, от запрещений отца выходить на улицу и вообще от собак он расстроился и отвернулся от мокрого, слезившегося холодной ломкой влагой стекла.

Передняя изба, где он сидел, была пуста. Родители скоро должны были вернуться со скотных баз на обед. На кухне, за печью, посапывала на кровати бабушка Гришука, изредка глухо покашливала и возилась. Стояла жилия теплая тишина; торопясь, убегая куда-то, спешно тикал на комод будильник, а следом за ним широко такали, будто шагали, ходики. Нарисованный на их циферблате кот с довольной и несколько загадочной коша-

чьей усмешкой на морде попеременно поглядывал то на дверь, то на Гришука: так-так, дверь – Гришук, так-так... Может, на улицу сходить, а? – тоскливо подумал он, глядя на кота. Да нет, ничего не выйдет. Бабка наговорит, потом от мамки хлопот не оберешься: вот, скажет, оставила тебя дома, в школу не пустила, а ты – шаландаться... Вот тоска-то.

Морщась больше от предосторожности, чем от боли, Гришук пощупал повязку на ноге – болит, и припухло малость. Рука уже как будто ничего: пожалуйста, даже стукнуть можно по ней, а вот нога... Нога немножко подводит. Приходил вчера Витька Кузин, прозванный всеми за свою пронырливость Кузькой, с ребятами из четвертого «Б», и они вместе, тайком от матери и бабки размотав пожелтевший от йода бинт, посмотрели: подсыхает, но еще не заживает пока. Ребята одобрительно кивали головами и, видно, завидовали, удивлялись, какой все же, оказывается, молодец Лютый: взял и отогнал собак и сам ни капельки не тронул. Вспоминали, как таскал он весной у Гаврюшиных гусят: выйдет спокойненько из лозняка и, пока там тетка шумит-орет издалека, хватает на выбор гусенка и убирается себе в заросли. Из всей стаи так могли делать только он да Волна, другие то ли боялись, то ли вообще не трогали домашнюю живность.

«А Лютый, он умнящий – страсть! – жмурил от удовольствия свои светлые смелые глазки Кузька. – Только он людей не любит, дикий стал, а так – совсем как Белый Клык... вот! Не веришь?!» – и заранее сжимал костистые веские кулачки, готовый отстоять все что ни скажет. Гришук молчал, только слабо улыбался и думал: как бы ты сказал, если бы увидел его вблизи... Но Кузька ни

много и ни мало, а решил приручить Лютого и летом стеречь с ним колхозных коров.

Вечером Кузька еще раз забежал и сообщил, что мужики облаву затевают; подбил их на это дядя Пантелеев, только его не поймешь: то он только Волну с Лютым, как заводил, прибить хочет, а то, распалившись, орет – под корень их всех, и никаких! Воду мутит, одним словом. А Понырин – тот, что на войне лейтенантом был и в школе про медали и ордена свои рассказывал, – уже и ружье приготовил, двустволку, и рассказал, как они лет семь назад гоняли собак по пажити – загоняли оттуда во дворы и там били. После этого, говорит, сразу дышать легче стало. Облава будет сегодня либо завтра, и он, Кузька, уже и дубинку с гвоздем приспособил, а где она у него спрятана, этого никто не знает... На упоминание о Белом Клыке он с независимым видом, не замывшись даже, сказал, что Лютого он специально спасет, упустит, а уж после того начнет его приручать. Такую собаку они ни за что не зажмут, как ни старайся; зато уж он вволю насмотрится на стрельбу. Понырин сам говорил, что уже давно не стрелял ни в кого, кроме сорок; уже соскучился, мол, и теперь-то ответит душу...

Врет он, думал Гришук. Как он спасет, когда там – ружье... Волну пусть бьют, пожалуйста, так ей и надо, а Лютого жалко. За этого кобеля бывшему хозяину, Анисину, пастухи по пятьдесят рублей давали, так Анисин и слушать не хотел, потому как сам пастушил и без него как без рук. Не жалел, бил чем ни попадя, а вот теперь ни денег, ни пса – сбежал Лютый на скотомогильник. Да и другие не от хорошей жизни оказались там, и в компании им куда лучше.

Гришук не успел додумать, потому что в сеняхбрякну-

ла щеколда, дверь, сыро скрипнув, открылась и в кухню ввалился Кузька. Круглейшее, в плоских конопинах лицо его было бледно от торжества, быстрые глаза зыркнули туда-сюда по занавескам и запечью, и Гришук вдруг все понял – облава.

– Ну, ты что?! – хрипло и сварливо крикнул Кузька с порога, завидев его. – Проспать хочешь, да? Тогда как хочешь, а я побежал. – И сделал обманное движение назад, в сенцы. – Ну?!

– Подожди ты! – возмущенно взмолился Гришук и кинулся к печке, за валенками. – Вот ведь... я же не знал!

– Да-а, конечно, ты не знал, а там уже народу полна пажа. Где фуфайка? – И принялся помогать ему одеваться. Гришук уже не думал, что ему вечером скажет мать, торопливо рылся в груди одежды. За печкой недовольно завозилась бабка, послышалось ее сиплое со сна: «Родимец вас... Гришка, кудой ты?..» Гришук, не отвечая, выскочил следом за Кузькой наружу.

Тот молча сунул ему в руки запасенную палку. Они скорым шагом, хотя Гришук и прихрамывал, прошли до проулка, обогнули навечно врытый на углу старый мельничный жернов, выбрались на дорогу, ведущую через плоскую заснеженную пажить к скотомогильнику.

На задах у ближнего плетневого сарайчика и сваленных бревен стояло человек пятнадцать ребятни и взрослых, почти все с дрекольем; курили, переговаривались, поглядывали на видневшийся в конце дороги, в полукилометре, пятнистый от снега гребень скотомогильника. Низкое, набухшее серой зимней влагой небо крыло степь однообразно ровно, далеко, и сам свет, что шел сверху, тоже был какой-то серый, сумеречный, будто через немытые маленькие оконца доходил сюда.

Ну вот, собрались, с запоздалой обидой на дружка подумал Гришук. Постоят тут и разойдутся, а мне объясняйся тогда с мамкой. Ладно бы облава, а то из-за пустяка.

Посредине толпы стоял с закинутой за плечо малокалиберной винтовкой Васька Котях, высокий тощий парень, горбоносый и суровый. Мелкашка, отсвечивая коричневым густо-прозрачным лаком приклада и вороненым стволом, молчаливо смотрела на чесанки окружающих, а ее владелец строго и с неохотностью говорил:

– Задумка эта ваша задумкой, но чтой-то не верится, что ко дворам побегут. Учуют, стервозы.

– А я тебе говорю, что побегут! – Конюх злился, и лицо его, такое всегда простоватое, даже безалаберное, было сейчас тревожным и сварливым и все время морщилось, будто он никак не мог проглотить что-то и теперь вот мучается. – Тоже мне – не побегут!.. Как миленькие пойдут, ежели с тылов пугнуть как следует. Они и в прошлый раз – Поньрин вот не даст соврать – тоже поперек улицы в лозняк, на Крушиниху пытались уйти, потому как им больше деваться некуда. Во дворах будем ждать, только с одним уговором – не шебуршать! – Он повернулся к Поньрину: – Ты тогда их стрелял, лет семь тому назад, – скольких убили?

– Черт их знает... штук пять, однако, не мене.

– Да тут народу-то, – опять усомнился Котях, пренебрежительно покосился на ребят. – Одни едоки...

– Счас подойдут, не бойсь, – сказал Поньрин, доставая деревянную, захватанную руками табакерку. Придерживая поставленную прикладом на валенок двустволку, захватил щепотку, большим пальцем заправил обмохнатевшие ноздри, потянул носом и, не чихая, но судорожно

позевывая от табаку, досказал: – Набегут – не разгонишь. На дело нет, а на безделье... найдутся охотнички.

– Тьфу ты, черт, – нервно сказал конюх, с неприязнью посматривая на сиволапного неприбранного Понырина, на его занозистое, с неопределенной ухмылкой, обрюзгшее лицо, – опять он начал нюхать. И когда ты нюхать перестанешь дерьмо всякое?!

– А когда помру, – сказал Понырин, примирительно посмеиваясь. – Когда в ноздрю червак залезет, тогда и перестану. – Довольный ответом, независимо подернул пологими бабьими плечами, словно встряхивая затертую стеганку, спрятал табакерку в карман ватных штанов. – Да ты што волнуешься, Ефимк, будто быть роды принимаешь! С меня пример бери, я как штык, всегда наостре.

– А никто и не волнуется, успокойся, – недовольно сказал Пантелеев, но Гришук опять увидел, как он поморщился, шевельнул желваком. – Нам бы дело сделать, а волнуются пусть шатохи эти. Перебьем всех, тогда и поволнуемся.

Понырин перестал улыбаться, пораженно будто бы хекнул и опять полез за табакеркой, кругля удивленные глаза:

– Ну ты даешь, Ефим... то ты Лютого с Волной уничтожать хотел, а теперь... Прямо семь пятниц на неделе. Как тебя опосля этого понимать прикажешь?

– Да так. Стреляй, да не мажь.

– Н-ну, милый. Я прямо угадал, ей-Богу. Мотри, полон карман желтяков набрал, как в воду глядел... – И вдруг обрюзг еще больше, заносчиво оглядел всех, показав, что шутки он пошутил, а теперь хватит, и сказал средь тишины: – А ты что ж думал, что я сюды ради одного

кобелька приплясал, едрена корень?! Не-ет, милай, пока я их, – он похлопал широкой ладонью по карману, патроны приглушенно звякнули, – все не попукаю, с пажи не уйду и от собак не отстану. Тебе это в забаву, нет ли, а я на них давно зубок имею – за цыплаков моих, инкубаторских, и вообще... – Он передохнул. – Я тебя вчерась послушал-послушал, а нынче будя! Мне плевать, какие они там, с каких обид от хозяев поразбежались, я сюды стрелять пришел. Я им устрою кордебалет, они у меня попляшут! – Поньрин опять ухмыльнулся, сдабривая общее впечатление, и с показной силой потряс рухьем. – Повоюем! Правда-ть, Вась?..

Котях промолчал, глядя на скотомогильник, на копешку посередине пажити, где ему предстояло сесть в засаду, спросил шофера Боборыкина:

– Так они точно там, в яме?

– Ну да. Коська-осеменатор только что палого теленка туда свез; грит – вся их компания там, штук десять, а может, и все пятнадцать. Свалил, грит, телка и не успел в сани сесть, как они мигом на дохлину кинулись – аж шорох по степу пошел. Меня, грит, оторопь взяла; и как, мол, мальчонка Перевязовых позавчера терпел... Так и погнал лошаадь галопом. Ну а после обеда этого они оттуда даже-ть и не высывывались, отдохнуть после дохлятинки изволют... – Ладный, подвижный в физиономии Боборыкин шутовски развел руками, словно хотел сказать: «Уж не обессудьте, но после такого разговления отдых непременно нужен...»

Котях только хмыкнул.

Народу прибавлялось, но приходили все больше ребятишки, толкались, хвастались палками. Взрослых было совсем мало, охотников на такое дело, видно, не находилось.

Разбившись на кучки, обсуждали планы, уговаривались, спорили, даже поругивались; и иногда, словно какой-то общий ток возбуждения и тревожной неуверенности пробегал вдруг по ним, прималкивали и оглядывались в раскрытое настезь поле. Конюх не встречал в разговор, будто бы вся затея уже разонравилась ему; только слушал хмуро и щурил изредка свои понимающие людскую суету глаза, а потом отошел в сторону, присел на отмокравшие осинового бревна, закурил. Завидев Гришука, подмигнул ему невесело: «Вот так-то, брат, дела складываются», – кивнул на место рядом. Гришук, польщенно краснея, подошел вместе с Кузькой, они сели.

– Ну как, Гришень, уже и палку подобрал? – Тот кивнул. Конюх усмешливо, со всегдашним добром оглядел его, спросил: – Так, говоришь, поправился уже?

– Да не-е, – от волнения сипло ответил Гришук, опуская глаза и тыча палкой в мокрый снег. – Болит еще, а так ничего.

– Хромает он, – деловито и независимо сказал Кузька, рассматривая подходящих с дрекольем парней из старшекласников. – Не успел ты, вот он и чикиляет.

– Ишь ты, – сказал конюх, не удивляясь, потому что Кузьку таким знали давно. – Как же бы это я успел, коль так получилось...

– А что, – совсем неожиданно для себя вдруг спросил Гришук, и голос его опять сорвался и перешел почти в шепот, отчего стало неудобно вдвойне, – Лютого тоже бить будут, да?

– Не бить, а убивать, – солидно поправил Кузька, даже не глянув на них. – Конечно, а што ж с ним – лук чистить, что ли? Дядя Понырин вон сколь патронов набрал – как даст! Я, когда в восьмой пойду, тоже ружье достану...

– Ты дорастаи сначала, – жестко и удивленно сказал дядя Пантелеев, и Гришук тоже удивился и обиделся на него за такую неверность Лютому. – В восьмой он пойдет... убивец какой! Молоко оботри сначала.

Кузька надулся, но ответить не посмел и, захватив свою дубинку и хмуρο шмыгнув носом, поспешно отошел к толпе. Там гомонили уже разом, даже руками помахивали. Молодой, с мелкими чертами веснушчатого, уже пропитого лица, Филька-счетовод говорил высоким досадующим голосом, стараясь перебить Понырина:

– Э, нет... Э-э, нет! Тебе дай волю, так ты со своей ружьей... Да подожди ты, ей-Богу, дай сказать: ты со своей ружьей не подумавши начертоломишь...

– Когда это я чертоломил?!

– А всегда! За что ты осенью Дамку у Соловьевых убил? Не дал тебе Микита в морду и до сих пор жалеет. А ты и сейчас...

– Ты про морду забудь говорить... тоже мне, деляга, про морду говорить! Не дорос еще до моей морды.

– Как-нибудь дорасту, будь спок. А вот Ефим вам правильно говорит: Волну с Лютым надо прибить – и только, остальные сами поразбегутся... А вы что? Неужели еще и тогда, в первый раз, не настрадались!..

– Он вон передумал уже, твой Ефим. И вообще, что это за разговоры такие – жалеть?! Все люди как люди, только вы тут с Ефимом мозги крутите. Неохота тебе обчее дело делать, ну так дуй к своей Мане, отдыхай и будь здоров. Кто тебя знает: может, ты дома и мух не бьешь оттого, что жалко... Ненормальный какой-то, – Понырин брезгливо и равнодушно отвернулся.

– Дак ведь совесть надо иметь, что ж сволочиться-то, ну!

– Вот и имей. Праведник нашелся!..

Филька выругался грязно и заковыристо, и видно стало, что он уже хорошо выпил. Все молчали и даже ругань его слушали сочувственно, потому что сколь ни был Поньрин человеком веселым и артельным, а жалости не знал.

– Сволочи! – сказал еще раз Филька, оглядываясь в толпе и разводя руками недоуменно и горько. – Ну, не будьте вы, в самом деле, сволочами такими... хрен с ними, пусть бегают, а? Сдались они вам?!

– Ты там не очень сволочи, парень, – подал вдруг голос Пантелеев, и все оглянулись на него. – Ты лучше посмотри, как они парнишку разделали – жуть одна! («И ничего не жуть... так это он», – подумал Гришук, недовольный, что на него стали смотреть.) Решили – стало быть, будем бить, нечего тут митинговать. С умом надо, это другой вопрос.

– Да, – сказал Васька Котях, до этого с замкнутым лицом слушавший спор, – ты бы, знаешь, заткнулся, Фильк, мы тут не рыдать собрались. А ты напился и рад.

– Да как вы не понимаете! – закричал зло Филька, сразу весь встопорщившись и покраснев пьяно так, что конопины исчезли. – Как не понимаете, что нельзя так, а? Дураки! Што ж вы...

– Но-но, дурачить будешь! Иди отседава!

– И уйду! Я таким паскудством век не занимался, и нечего! Поперек горла вам эти собаки стали, да?! Развlechься захотели, да?! Я в газету напишу, гад бы меня взял, если што!

– Ну и дурак ты, – тихо сказал, морщась, конюх и встал. – Люди дело хотят сделать, а он встревает. Иди, ради Бога, отседава, пока не наклали. Не морочь головы. Они без тебя замороченные.

– Я уйду! – Филька распаленно погрозил высоко поднятой рукой и, воинственно пятясь, выбрался из толпы, лицо его от гнева совсем распарило, и глаза покраснели от наворачнувшихся злых слез. – Я уйду, будь спок... а только вы не думайте, гады такие, что если вас много собралось, то вы уже народ! Сообча, говорите?! Мальчонков набрали, приучаете, а они вам потом сами головы поотвернут, гад буду! Уйду я!..

– Иди, иди... уч-читель какой! К Мане в подол сморкайся, огурец зеленый.

– Втык надо бы дать, – мечтательно сказал не потерявший присутствия духа Поньрин, глядя вслед Фильке-счетоводу. – Чтоб не орал. Халява непутевая.

– Ну его к черту, связываться с ним, – с досадой бросил Боборькин. – Он кому угодно мозги запудрит. На трезвую голову парень как парень, а выпьет – все ему кажется, что очень уж люди друг друга забирают. Он и прошлый раз напился и все себя за рукава кусал, прямо мучился. За што, грит, они друг дружку так понапрасну, даже-ть по мелочам обижают, душу себе рвут? Ладно бы, грит, по крупному делу, по нужде: а то ведь – так, от вредности натуры. Разве так, мол, надо?! Ладно, грю, сам не больно неженка, переживешь. Он этого самого... Золю и еще всяких читает, ну и мучается...

Боборькин задумался на миг, поскуцнел и потом удивленно и невесело хохотнул, еще вспоминая:

– Человек, грит, должен быть чистым перед мать-природой, как, например, лошадь или свинья... Так и сказал – свинья!..

– Делать ему боле нечего, сопливцу, – лениво сказал Поньрин и огляделся. – Ну, хватит нас?

– Сейчас еще подойдут, – Пантелеев опять сел на

бревна, ссутулился. – Человек тридцать хотя бы надо, иначе не управимся. Не больно спеши, успеешь.

Гришук с усилившейся вдруг от всего этого тревогой наблюдал за ними, смотрел на примолкших, ставших будто недовольными людей и чувствовал и ждал, как и все вокруг, чего-то нехорошего. В самом деле, и что это они вдруг так разволновались? Конечно, собак жалко; но вот и Тамара Павловна говорит, что больше так нельзя, и дядя Пантелеев – не зря же он мужиков поднял и с Поныриным связался... Филька, конечно, тоже правду говорит, но он ведь ничего не понимает, его собаки не кусали. Но что-то в Фильке, в ругани его было такое, отчего все жальче становилось Гришуку собак, особенно Лютого; и он, преодолевая робость, тихо спросил хмуро смолившего папироску Пантелеева:

– А чего это он так, а?

– Кто, Филька-то? – переспросил конюх недовольно, затянулся в последний раз и сунул окурочок под галошу чесанка, растер его. – А спроси его поди. Дурит он, и боле ничего... Дурь свою выказывает.

– Нет, – сказал почти шепотом Гришук, не поднимая глаз, – как же он дурит, когда вправду жалко... – И, не услышав ничего в ответ, заторопился: – А Лютый хорошая ведь собака, он вон как у Анисина коров стерег. Это Анисин его бил, вот он и сбежал.

Конюх не отвечал, а потом сказал подсевшему Боборыкину:

– Черт-те знает, как мы живем с этими собаками, никак миру не получается. Шабры, видать, не те.

– Шабры фиговские, это надо прямо сказать, – с охотой поддержал шофер. – Зло на человека держат, а это

хуже всего. Да и мы тоже... Взять хоть этого Лютого – как его Анисин порол!.. Знамо дело, синяков или еще чего у пса не увидишь; заместо этого у них в тех местах, где побьют, шерсть этак топырится... как трава вянет, когда дернину подрежешь. И, помню, всегда он в лохмах бегал, а в позапрошлом году Анисин на дойке его так перетянул кнутом при моих глазах... я думал, он его надвое охвостником развалит!.. Нет, отлежался где-то пес, травки покусал и вернулся-таки к хозяину, простил. Пошло у них опять все по-старому: Анисин дрыхнет, а Лютый коров сторожит день-деньской за двоих; а если что не так – Анисин за кнут. Кобель, известное дело, от этого злел, ну и дотерпелся до точки, и теперь вот ни себе, ни людям... Непутево с ним вышло.

– Так от Анисина уже вторая собака сбегает, – веско и значительно подтвердил Котях. – Не вытерпливают. Скучная, должно быть, житуха.

– А вот Волна – та, наверное, лисьей какой-то породы, сроду такой стервы не видал. Через нее и все остальные наглеют дальше некуда; как гавкнет на кого, натравит – на того и кидаются, а она в стороне, сучка. Она нам всех ребят перепортит, если не изничтожим, так что, Василек, гляди: первой ее кончай, а потом уж кого хошь.

– Сам знаю, – буркнул Котях. – Да и хватит трепаться, давай по местам. А то уже надоело.

Ожидание затянулось, все это понимали и потому заторопились. Поньрин не мешкая отобрал в свою группу человек десять загонщиков, мальчишек, и сразу повел их вдоль задов к Казаковой лощине. Ею он рассчитывал выйти в тыл скотомогильнику и оттуда гнать собак к улице, мимо копешки, где засядет Котях. Скоро

они все скрылись в ложине, пажить оставалась пустой, и никто бы не мог сказать, что дело уже началось. Сразу видно, что на войне был, с уважительной завистью подумал о Понырине Гришук; небось никто бы до этого не додумался.

Боборыкин и Пантелеев собрали всех оставшихся, распределили по дворам, и вышло, что на каждый двор приходится по два, а то и три человека.

Гришук не отходил от конюха и попал с ним в один двор. Они разместились возле заднего плетня, на какой-то колоде. Дядя Пантелеев опять покуривал, пощипывал слюной в желтый от коровьей мочи снег, изредка оценивающе и зорко глядел сквозь щели плетня на пажить и молчал. Гришук сидел рядом, сжимая в руках даденную Кузькой палку, и все думал, как, наверное, негоже убивать собак, если Филька еще с того раза помнит и ругается. Сам он много раз видел, как режут овец, колют свиней, и ничего, не страшно вовсе. Вообще-то немножко страшновато, что и говорить, но больше жалость берет; а тут он не знал даже, что и думать. Может, и вправду Филька дурил, потому что выпивши? Он такой, он все может, вон тетя Маня, жена, рассказывала, что не успевает его из всяких историй вытаскивать... Но все, чувствовал он, было сложнее; на собак он уже почти не злился – в самом деле, ну их к черту, этих шатох, – и уже начал втайне надеяться, что из такой затеи взрослых ничего не выйдет.

В соседних дворах после окриков старших говор мало-помалу стихал, переходил в несвязные шорохи, еще тишал, но истинной тишины, казалось Гришуку, не наступало; напротив, по мере того как умолкали бубнящие что-то голоса, возбужденные переделки, кое-где смех – по мере этого в начинавшейся ожидающей, под-

черкнутой редкой неосторожной возней тишине стало наконец проявляться, копиться в самом воздухе то неопределенное, томительно-возбужденное напряжение, исходящее от молчания двух десятков спрятавшихся людей – и еще совсем малоопытных, чей азарт будто бы пока не выходил за пределы условностей игры, и людей поживших, выдавших виды, чья цель была теперь в том, чтобы сделать поскорее это не совсем приятное и хлопотное, но нужное, по общему признанию, всем дело – сделать и пойти домой отдыхать. Все они, наверное, и думали по-разному, и делали разное; но недавно происшедшее с мальчуганом Перевязовых и облетевшая вслед за тем все село весть, что собаки, мол, обнаглели вконец и уже проходу никому не дают и что здесь надо обязательно сделать что-то, иначе потом поздно будет, – все это заставило их сначала собраться вместе, посудачить, покурить, посмотреть, как это все делаться будет, а затем, волей или неволей, от стыда ли, что их считают здесь не у дел, или от вдруг возникшей охоты попробовать, взять, как семь лет назад, в руки вилы, палки потолще, штыковые лопаты, железные, кованные в кузне крючки для дерганья сена и прочее дреколье, встать за разинутыми в нервной зевоте воротами и ждать: а потом бить их, попавшихся, лупить в суетливом азарте, садить, тыкать со сбившимся дыханием, с сопеньем, с ошалевшей злобой и боязнью, что вдруг эта собака с разбитым черепом, с заплывшей жирно-красным месивом слепой мордой вдруг дернется, а то и встанет, шатаясь мертво, – и сделает один-два шага к отшатнувшемуся человеку...

Гришук не знал ничего этого, он только сидел, ждал. Не тишина, а молчание затаилось по всему уличному концу; и он, смутно чувствуя суть этого расплывше-

гося во всем возбуждения, угрозы, неуверенности и злорадства, наконец понял, что все это вместе называется засадой. Он и не знал даже, как можно представить себе картину предстоящего, но от всего уже виденного и слышанного сегодня ему стало неуютно и тоскливо, как у чужих в долгих гостях, потянуло домой, в его теплую тишину, к коту на ходиках, к ветеринарному запаху отцовского рабочего халата... Но дело уже началось, пошло своим чередом, выйти из которого казалось ему теперь невозможным, и он вместе с другими людьми сидел, ждал и все надеялся, что ничего не будет.

Они сидели минут пятнадцать, а может быть и больше, никто не знал, сколько; и тут конюх, заглянув очередной раз в щели плетня, вдруг замер, а в соседнем дворе среди общей тишины кто-то, не выдержав, крикнул: «Вона!.. Собаки во-о-она!..» У Гришука екнуло внутри, он торопливо подобрался к плетню, прижался к влажным прутьям лицом, стараясь поймать в щели серый размытый горизонт и этих, уже появившихся, как крикнули, собак. Он нашел скотомогильник и сразу понял, что там происходит нечто, что будто бы сам воздух, сам оттепелный день пришел там в движение. Он увидел что-то мелькнувшее раз-другой сбоку и сзади гребня и тут же догадался, что ребята уже дошли туда и выпугивают собак; и, словно в подтверждение, оттуда донеслись следом друг за другом два ружейных выстрела, приглушенных сырым воздухом, нечетких, но пугающих. Гришук, суетясь и сердясь на самого себя, выломал прут, щель стала совсем широкая.

Он отчетливо увидел, как из-за глиняного, в белых потеках отвала траншеи выскочили несколько собак и, не останавливаясь, высоко вскидывая лапы, за-

прыгали по глубокому, нетронутому в низине настом снегу в сторону задов, к ним; и тут же в той стороне над отвалом вспухнул белый дымок, донесся уже более ясный, будто там шар лопнул, звук выстрела, и вороны, поднявшиеся из траншеи при появлении людей, с тревожными криками, пикируя к земле и беспорядочно взмахивая крыльями, рассеялись над степью.

Собак было десять-двенадцать, они бежали растянутой стаей – как раз к копешке, где сидел Васька Котях, только чуть правее. Стаю вела Волна, двигалась медленно, словно нехотя, изредка приостанавливалась и поворачивала голову к скотомогильнику. Остальные трусили следом, всяк по-своему, еще не напуганные как следует – лишь бы отвязаться от преследовавших... Гришук облизнул пересохшие губы, подался еще ближе к плетню: сзади, неподалеку от Волны, чуть припадая на свою криво сросшуюся лапу, бежал Лютый, подобрал хвост и согнувшись, словно ожидая удара в спину. И другие собаки тоже поджимали хвосты и пригибали виновато и угрюмо головы; но то, что так делал сильный, умный и так всегда уверенный в себе Лютый, настораживало, придавало всему свою особую значимость и угрозу.

Слева от скотомогильника высыпала на пажить ребятня, и теперь оттуда стали слышны крики, свист и улюлюканье, слабое разноголосье. На верх гребня вылез, оставив от себя ружье, Поньрин, повертел головой и торопливо припал к земле.

Пыхнул дымок, докатившись до дворов звуком, карточек черкнула снег возле черной с желтыми подпалинами собаки. Было странно, но он вроде бы попал. Собака, словно подстегнутая, рванулась было вперед и потом

сразу отстала от товарок, запрыгала тяжелее, неровнее, с каким-то неестественным, больным даже на вид прыскоком, забирая влево. Из-за сарая, справа от Гришука, грянул разрозненный торжествующий крик, и тут же Пантелеев, взбеленившись и ругаясь самыми последними словами, кинулся к той стенке, к крикунам...

Понырин там выстрелил опять – «б-пах!», потом еще раз, но все никак не мог попасть в отставшую; и наконец встал, отряхнулся и двинулся, тяжело переваливаясь в снегу, вслед за собаками.

Эти выстрелы и неожиданная немощь товарки совсем встревожили стаю, но скорости она по-прежнему не прибавляла, будто не зная, куда убежать. Угрюмо насторожился Лютый. Он тоже с натугой поворачивал свою лобастую голову назад, к Понурину, что плелся глубоким снегом и на вид был пока не опасен; и совсем не чуял, что приближается к гибели своей, к копешке, где сидит мнительный и молчаливый, редко промахивающийся Котях со своей малокалиберкой. Гришук застыл, глядя на Лютого и давно уже забыв обиды свои на стаю, – лишь бы Васька промахнулся...

Село совсем притихло, затаилось, оградившись с задов плетнями, сараями, покосившимся горбылем заборов; немели разинутые рты ворот и дверей, ждали равнодушно, и в этом молчанье, в сером дне трусили по полю, проваливаясь в снег, собаки, будто под замахнувшей неумолимой рукой пригнув головы, – бежали ничьи, бесхозные и всем чужие, догоняемые серой мешковатой смертью, с виду неопасной, но такой неотвратимой в упорстве и равнодушии своем, что они, кажется, даже повизгивали в покорном страхе, в предчувствии худшего...

Сначала Гришук подумал, что это ему просто кажется, но затем явственно, несмотря на отдаленность, услышал он, как прерывисто, на бегу, скулит какой-то пес – на одной ноте, по-щенячьи беззащитно, чувствуя, как замыкается круг глухой неизведанной тишины и, кажется, смерти. Вдруг заскулила еще одна собака, потом другая затянула тонко и жалобно, приостановившись и подняв к небу морду – точно принюхиваясь в тоске к опасности, исходящей со всех сторон. Короткий нервный скулеж возник на пажити, потянулся в небо, скорбный; и такая обреченность, такая тоска слышались в этих глухих, будто из самой земли вышедших звуках, такая ребячья боязнь перед окружающей их неизвестностью, творимой судейской жестокостью людей сзади и тех – чуяли и слышали они, – что ждут их впереди, что Гришук задрожал, заволновался, заметался у плетня и вдруг встал и пошел, сам не понимая зачем, к воротам.

– Сядь! – настиг его голос конюха; и он остановился, почувствовал сразу, как отекли, устали его ноги, как сам ослаб, будто прибитый этим голосом к месту. – Ты эта... ты мне брось это! Сиди и не ворохайся, понял мне?!

– Я только...

– Сядь, – прервал конюх, глядя уже зло и настороженно, и по его лицу видно было, что он все понимает и не советует выкидывать всякие штуки. – Тоже мне, нашелся... Ты посмотри, какой щенок, – и слушать не хочет. Сядь!

Он отвернулся к плетню, стал следить, как понемногу приближаются собаки к копешке, входят в зону огня Котяха, а Гришук, красный от волнения и боязни перед старшим, от недовольства собой, неохотно пошел на свое старое место.

Пантелеев уже успел забыть о происшедшем. Он на-

чал волноваться: отрывался от щели, поглядывал, будто по солнцу хотел определиться, на низкое небо и приговаривал осевшим от нетерпения голосом:

– Да что ж это он, а? Что не стреляет-то, мать честная, иль патроны забыл?! – И недоуменно поворачивал к Гришуку побледневшее, с резко проступившей оттого щетиной лицо, словно справлялся у него об этом. – Иль он взаправду забыл? Ну, давай – ну! Бей, дурак!

И почти тотчас плоско и хлестко хлопнул, перетянув все поле, винтовочный выстрел, и тут же Волна прыгнула в сторону, неловко и неверно, потом ткнулась носом в снег и, заваливаясь на бок, быстро-быстро перебирая лапами, поползла в сторону, оставляя за собой темную размазанную полосу. Котях, видно, быстро перезарядил, из-за копны опять, словно кнутом щелкнули в воздухе, протяжно и стремительно полоснула мелкашка. Крайняя к копне собака встрепенулась, приостановившись, и медленно и неохотно осела, легла.

– Ага! – крикнули радостно в сарае. – Ага! Так их, Котях, м-мать иху!.. Бей!

– Да вы што! – принижая голос, страшно закричал конюх. – Вы что ж, гадье... слов не понимать! Молчи!..

Из стаи, вытянувшись в прыжке, вырвался Лютый. Котях (видно было, как он ворочался в копне) поторопился выстрелить, но пес, не сбавляя скорости, мчался прямо к сараям. За ним, влаивая и повизгивая, кинулись было остальные, но сразу отстали, будто разувшись в вожаке, и остались на пустой полукилометровой пажити.

Волна ковырялась в снегу, все пыталась поднять голову, и ее сиплое страшное скуление прорезывало разрозненное и испуганное тьявканье растерявшихся собак,

проникало насквозь, в самую душу. В муке, в недоуменье доживала она свои последние минуты – еще не понимая случившегося, но вся пронизанная ужасом перед своим неизвестно откуда взявшимся бессилием, как раз тогда, когда бы надо бежать, во что бы то ни стало бежать от настигающей сзади напасти. И она пытается поднять голову, посмотреть, а сильное тело не слушается ее и уже подрагивает, дергается в первых мускульных разрядах агонии и слабеет с каждым новым мгновением боли и муки...

Понырин после нескольких холостых вскидков решил наконец выстрелить: присел и, поведя стволом, вытолкнул тугой пучок огня и звука. Искусанная картечью, бешено завертелась на месте молодая собака, изгибаясь и цапая пастью воздух сзади, словно назойливых мух ловила; и потом будто успокоилась, прилегла, положив морду на лапы, уже не глядя никуда, ничего не желая и не боясь, высунув язык и часто дыша. И ее точно сковывали лень, снег, неодолимая внутренняя сонливость, она тоже подымала голову, беззащитно и тяжело, и голова падала на лапы в сильнейшем из всех снов.

Лютый большими прыжками приближался к задам. Он вышел на соседний, кулугура Харина, двор: и Пантелеев, не отрывая глаз, удобнее перехватил вилы, потряхнул ими, примеряясь, потихоньку кашлянул, изготовился, чтобы вовремя выскочить и отрезать ему дорогу назад. Лютый замедлил бег, оглядываясь на ходу и приволакивая задние лапы (пуля, похоже, все же попала ему в ляжку), и скользнул в открытые ворота. Конюх выскочил за плетень, кинулся туда.

Из ближних дворов выбегала и спешила к попавшему в ловушку Лютому ребятня, за ними мужики, и дви-

гавшиеся за вожаком собаки отвернули в степь. Гришук остался один. Он не знал, что делать и куда ему идти теперь, бежать куда, и растерялся. Смотреть, как будут бить Лютого, он не хотел, но и домой сейчас уйти не мог...

Он неуверенно вышел через ворота на зады, и ему стала видна вся пажить – теперь уже взбудораженная, полная суеты, кликов, неестественно-торопливой деловитости... Еще несколько человек пробежало на поле, крикнул что-то на бегу Кузька, махнул призывно и возбужденно, и Гришук пошел в ту сторону.

Над пажитью тяжело провисали, давили окрестности сплошные, синюшные в предсумерках облака, сыро чернели постройки, с улицы от выброшенной золы несло оттепельной гарью. Котях с Поныриным палили наперебой, еще одна собака вскидывалась, выгибалась мучительно, растопыря лапы и пятная снег темной кровью. Их умирало уже несколько, умирали всяк по-своему. Одни затихали, другие что-то пытались еще делать, ползти, прятаться... Совсем молодой кобелек, ближний к Гришуку и людям (он забежал сюда, раненый, а сейчас обессилел), с поврежденным позвоночником полз куда глаза глядят и был прерывисто, на одной ноте, уже утомленный ужасом – лишь бы подальше от этой пажити с последним смертным воем товаров, острым цепенящим запахом крови и развороченных собачьих внутренностей, от мельтешащих в беге за бугром и все увеличивающихся черных фигур людей...

Поджав хвосты, уходили в сторону, к ближнему овражку, остальные собаки, а вслед им с видимой торопливостью пускал, привстав, пулю за пулей Котях, и так же торопливо вспухали клубки плотного дыма и нечеткое, как сквозь вату, – «б-пах! – бах-х!» – дуплета вместе

с пугающим свистящим шорохом крупной дроби, но за отдаленностью все мимо. А вот Поньрин дошел до Волны, переломил ружье, перезарядил и вдарил по собаке метров с двух-трех – так, что шерсть на ней вздыбилось...

Гришук подошел к ставшей крúгом толпе, пролез вперед. Кобелек лежал посередине, редко и тяжело подымая дыханьем свалывшуюся грязную шерсть на тощих боках, – молодой, не утративший еще щенячьей голенастости, – и затравленно и непонимающе озирался, оголяя молодые клыки и поджимая уши. Стоящий неподалеку Кузька сунул ему к морде палку, и пес рванулся, пытаясь подняться, зарычал, завозил передними лапами. Но перебитый картечью позвоночник только дергался от усилий и боли, и пес залиvisto рычал и влаивал, пытаясь ухватить белыми в розовой слюне зубами палку.

– Сыночек у Волны! – присвистнул кто-то. – Ты гля – сам еще и кости не разгрызет, а туда же, кидаться.

– Он самый, ейный. Ишь, морда-то – точь-в-точь Волна, тока масть... Ну, давай кончать.

Псина с рычанья перешел на скулеж, от усталости и страха прикрыв глаза и все так же прижимая уши, заскулил виновато и боязно, как провинившийся, – и было это многим страшнее, что он просил просто не бить, а его уже решили убить.

– Да што там – давай! – крикнули сзади, и здоровенный и туповатый парень Витяня, словно его подтолкнули, шагнул вперед и с мужичьим хаканьем всадил в оскалившуюся морду навозные зубья вил. Еще Гришук успел увидеть, как и Кузька замахнулся своей палкой, а потом его затолкали, затерли в отхлынувшей толпе, освобождая место; только слышны были удары по мягкому и чье-то хриплое, распаленное дыханье.

Гришук, разом озлевет и яростно толкаясь, выбрался из толпы, отер сухие глаза. В разных местах пажити добивали собак, качались и сновали фигуры людей, бегали, таскали что-то мальчишки, перекликались. К скотомогильнику осторожно, окольно слетались вороны. Гришук неизвестно почему пошел к грязному бугорку вдалеке, к тому, что всего полчаса назад был игривой хитро-жестоккой Волной.

Люди быстро оставляли пажить; и, в очередной раз оглянувшись и еще не дойдя до Волны, Гришук увидел, что поле уже почти пусто, если не считать трупов собак, валявшихся на вытоптаных круговинах тяжелого снега; и только от ближнего, с мокро свалывшейся, вымаранной в крови шкурой уходили торопливо двое мальчишек, поминутно оглядываясь, словно замороженные, один из них тащил непомерно большую дубинку, волок ее еще немного и потом бросил. И Гришук тоже повернул, пошел назад, ко дворам, чувствуя все сильнее за спиной большую умолкнувшую пажить, заторопился, залез по колена в какую-то заплывшую снегом лощинку и стал выбираться, оставляя позади себя зимние колонки следов. И оттого, что выбирался он медленно, а все ушли с пажити и даже мальчишки успели отойти далеко, и еще оттого, что невдалеке лежали мертвые собаки с вытянутыми закосневшими лапами и вдавленными в бурый снег головами, он тоскливо пугался и все в нем немело от какого-то недетского одиночества, такого же пустого, как и тогда, когда эти собаки катали и рвали его на косовой дороге...

Он выбрался наконец на дорогу и направился было к проулку, поскорее домой. Но что-то ему мешало сделать так, потому что он видел, как у двора Харина собра-

лась толпа и не расходилась. Там что-то неладно было, и он понял – Лютый еще жив, наверное. Он не то чтобы обрадовался этому, а просто ему показалось, что там может по-иному все быть, и пошел туда.

Харин только что пришел с работы. Он стоял обочь всех, засунув руки в карманы кургузых ватных штанов, и его красное, как у многих белобрысых, лицо и маленькие пронзительные глазки медленно и неотвратно наливались неприязнью, и он уже не давал себе труда скрывать это.

– Слышь, да брось ты ломаться – што тебе, не один черт, как мы его оттуда выковырнем, – говорил Поньрин, сообщнически обводя всех насмешливыми и дерзкими после недавнего азарта глазами. Он будто торговался. – Ну, пульну я разок, крыша, чай, не обвалится. В целости, говорю тебе...

– Не велю я тебе стрелять в катухе, не проси, – Харин отчужденно отвернулся, зябко повел плечами. – Вас только допусти – вы и в избу попрете, шленды непутевые. Ни страху Божьего, ничего... делом бы лучше занялись.

От покровительственных, будто походя, поньринских спросов (ты, мол, хоть и хозяин тут, а ради общего дела подвинься) он все больше злился, прямо-таки волком глядел.

– Ладно-ть, Петрович, что уж... Дай нам этого, седьмого, добить, мы и уйдем, – примирительно, с малой долей заискивания сказал Боборыкин. Он удовлетворенно отдувался, торжествовал. – Зачин хорош был – дело за кончинами. Позволь, это самое...

– Седьмого? – Харин даже побледнел. Он и не предполагал того, что было на пажити. – Да вы что это... Н-ну! – сказал он, помолчав и не зная, что еще крикнуть или сделать. – Да-к вы что ж это, душегубы, – тихо,

совсем тихо сказал он, и растерянность никак не могла сойти с его отекавшего враз, бесформенного сейчас лица, – Бога забыли, да?

– Да будет тебе! – неожиданно крикнул Понырин, и губы его плаксиво дернулись. – Мы ж не кого-нибудь – детишек это... оберегаем! У самого трое, а туда же... Разум надо иметь!

Харин растерялся еще больше, даже глазами сморгнул и потом, словно за соломинку хватаясь, выговорил:

– Не велю стрелять... катух вам не пажа. – Он старался, чтобы это вышло у него по-хозяйски твердо, но голос сорвался, подвел: и он почти выкрикнул Понырину в лицо, уже изображая твердость: – Тольки стрельни у меня, подлюка, – испробуй!..

Топорщась от гнева, Харин повернулся, кольнул людей злыми, недоверчивыми глазами и зашагал, не вынимая рук из карманов, к дому. Подошел к невысокому заднему крыльцу, обернулся и высвободил руку, пригрозил пальцем.

– Только стрельни, кровопроливец! Грех этот вам... он не отмолится!

И, помедлив и пообеда всех зажегшимся откровенной ненавистью взглядом, плюнул и скрылся в снях.

– Ну вот, – сказал Понырин насмешливо, с еще не остывшей сварливостью, – вот и свяжись с такими хмырями. Они рехнулись, а ты их слушай. Не надо бы его ждать, и хозяйки не спрашивать. Не стреляли, а теперь вымани его, туды иху...

Конюх стоял тут же, все глядел вслед Харину, а при последних словах Понырина взял из послушных рук соседа вилы, давнул их на излом, проверяя прочность, и молча пошел к двери сарая, где в дальнем углу за деревянной

перегородкой засел Лютый. Первая попытка с налету взять матерого пса на вилы обошлась одному мужику не очень-то хорошо: Лютый чудом миновал выставленные вперед вилы, в темноте сбил его с ног, прокусил руку чуть не до кости и снова убрался в свой угол.

И теперь вся толпа стояла вокрут, с суеверием и любопытством поглядывая на темный дверной проем сарая, ждала чего-то, а может, и растягивала зрелище, находя удовольствие в приподнятой суете этой, в разговорах, предположениях и ожидании, – тем более, что пес теперь никуда от нее не денется...

Пантелеев, щуря глаза, заглянул в сарай, постоял, привыкая к темноте, невнятно выругался. Стоявшие во дворе сгрудились у входа, кое-кто тоже пытался заглянуть туда. Разговоры как-то сами собой стихали, наступала выжидающая тишина, и Гришука опять стала схватывать за сердце та давешняя тоска, ожидание боли – такое, что захолонуло все внутри; будто бы его били, мучили, а вот теперь, передохнув, вознамерились снова... Он заработал локтями, головой, проталкиваясь боком в плотной толпе к середине. Кто-то ругнул его, а один из взрослых приподнял его суконный малахай и, проговорив с жесткой веселостью: «Эт-то те в науку», – дал щелбана, не больно, но в другое бы время обидно. Гришук уже не обращал внимания на такие мелочи, а все лез и лез, ему надо было обязательно пролезть.

Когда он очутился вблизи двери, Пантелеев как раз шагнул туда, приглядываясь в темноту и выставив вилы; и Гришук отчетливо услышал, даже почувствовал всем собой, как медленно, низко, с тихой угрозой зарычал Лютый в глухом своем углу. Конюх вызывающе тряхнул вилами, перехватываясь удобнее, на мгновение

оглянулся назад, показав бледное, с резко зачерневшими странными глазами лицо, и в них, в лице и в глазах этих, еще жила какая-то последняя усмешка страдания и подневольности и неожиданная затравленная злоба на оставшихся снаружи, будто бы выбравших и пославших его...

И Гришук все понял. Он вспомнил вдруг, как позапрошлым летом он и Кузька играли на поросшем яркой плотной муравой широком подворье. Играли с тремя вислоухими пузатыми щенками, что принесла Кузькина Косматка. Щенята (недели три от роду, с недавно прорезавшимися глазами) смешно, боком трусили по двору, путаясь неуклюжими толстыми лапами в траве и тыкаясь мягкими мордашками во что ни попало, тонко, по-детски твякали от восторга и шевелили из стороны в сторону бархатистыми, еще вялыми хвостами. Кузька, когда сердился, легонько постегивал их прутиком, и тогда они обиженно и недоуменно повизгивали, неловко вертелись на месте, не боясь замахнувшейся руки, потому что не знали, что с ними делают и кто это делает. Злея от их бестолковости, Кузька стегал их сильнее, иногда просто жестоко – а они лезли к нему и под него, спасаясь от чего-то быстрого и болезненного, чего даже не успевали рассмотреть, и ему приходилось, сидя на корточках, отодвигаться, а они все бежали, лезли под него... Потом одного щенка отец Кузьки оставил, а тех утопил (просто побросал их за ненадобностью с крути на середину реки, и они, возясь, неясно шевелясь в воде, всплыли раза два мокрыми шкурками наверх и пропали в веселом, сверкающем бликами перекате). Отец держал за шиворот взбесившегося Кузьку, растерянно говорил: «Да ты што... ты што, рехнулся никак, змееныш?! Ты ж

мужик, елки зеленые, а?..» – даже испугался, а Кузька рвался, дико, по-взрослому ругался и искусал и раздербал ему всю руку... Кузька через неделю ожил от побоев и бегал как ни в чем не бывало; Гришук, сразу кинувшийся тогда к перекату, ничего не нашел там. А вот теперь дядя Пантелеев идет, не хочет, но идет убивать Лютого – зачем, за что? – а Лютый рычит, уже не сдерживая рвущейся к двери угрозы, готовый оборвать этот клокочущий в горле хрип последним прыжком.

Гришуку кажется уже, что это хриплое, исходящее невыносимой злобой рычание чем-то схоже со взглядом конюха; в нем и прощальное, до предела натянутое отчаяние, и ненависть ко всему безысходная – такая, что от нее немеет все внутри у Гришука, отмирает, отваливается накипными пластами и остается одна голая, стынувшая от бесприютности и беды душа, и уже и она не терпит... И он, Гришук, на все согласен, и что бы он только ни сделал, лишь бы освободиться, вылезти, как из ямы провальной, из этой ненависти...

Он поднимает глаза, даже слез не стыдясь, на людей. Все они, подавшись телами, головами, глазами подавшись к сараю, смотрят и ждут с каким-то язычески темным и жадным интересом – ждут, слушают чью-то последнюю песню ненависти и боли, как слушают невидимое: уставившись в черноту дверного проема, в старую слезящуюся солому крыши, в ростепельное, прогорклое дымами последнее для Лютого пространство над нею; и в глазах их нету даже и тени той злобы, отчаяния того и ненависти, чем исполнен сейчас весь свет и вся Гришукина жизнь, – только темное непреходящее любопытство к чужой смерти. «Да они ж ничего, ну ничего не понимают, – медленно, обливаясь страхом

уже за людей, ужасается Гришук и идет к зевающей черноте двери, где горбится настороженная спина конюха и оцепенели глазами и позами два мужика у косяков, тоже с вилами. – Они ж не знают, что делают, совсем не понимают – как же так?! Я знаю, а они вдруг нет, не знают... Как же так?»

– Ты эт что? – спросил кто-то недоуменно, даже не пытаясь остановить его, спросил участливо и одновременно равнодушно, как вообще привыкли обращаться к малым. Гришук остановился, застигнутый врасплох, неловко и замедленно, будто во сне, поворачивая к нему голову, не узнавая Боборыкина. На него смотрело равнодушное, так и не сбросившее маску голодного любопытства, потерявшее былую подвижность лицо человека, глаза его пустые, ничем – и Гришуком тоже – не занятые. Только мгновение смотрел Гришук в эти глаза, узнавая уже в них и Понырина, и Кузькиного отца, и ненависть Лютого и свою; и кинулся в сарай – туда, где Лютый, где мука и ненависть свили свое ужасное земное гнездо...

Никто не то чтобы остановить – не успели даже слова вымолвить, только запоздалое «ах ты!..» повисло над толпой; а Гришук, сипло не то выдохнув, не то всхлипнув, кинулся мимо конюха. Мелькнуло рыхло-белое в темноте лицо Пантелеева, его ничего не понимающие глаза – и Гришук полетел через подставленную ногу, головой вперед, куда-то в кучу навоза и дальше. Конюх, коротко выдохнув ругань, бросил вилы, метнулся к нему, поймал за полу телогрейки и с усилием рванул назад. Гришука ударило о косяк, и только потому он устоял на ногах, и опять что-то бросило его туда, где Лютый... Хрипя «я т-те!..» и растопырив руки, конюх снова поймал его. Гришук рвался и отбивался, а Пантелеев, отстраняя

лицо от кулаков, тряхнул его в запале так, что стеганка затрещала, и поволок к выходу. И тут от загородки на них, копошащихся, метнулось и обрушилось тяжелое хрипящее тело собаки. Последним движением Пантелеев толкнул мальчонку в дверь, а сам свалился под тяжестью пса на землю, закрываясь локтями от жаркой слюнявой пасти, подставляя спину. Лютый отпрянул, дав ему упасть, и тут же насел, расползаясь лапами, вцепился в плечо, а потом выше, добираясь до шеи, – уже молчаливо, вздыбив шерсть и упираясь так, что под когтями его с треском поползла, раздираясь, ткань телогрейки. Конюх замычал, выгибаясь из последних сил и вжимая голову в плечи, не давая горло, и как-то надорванно, отрывисто вскрикнул.

В этот момент опомнившийся Боборыкин, изловчившись наконец, несильно, будто дразня, пырнул неистово заочневшую на Пантелееве собаку. Лютый вспрынул, оторвался от конюха и, вытянув оскаленную морду и прижав к черепу уши, рванулся на него. Подоспел Витяня, и двое вил, задевая друг за друга и звеня от этого, влезли в грудь и живот собаки – податливо, с мягким толчком, словно в тюк соломы. Лютый, рыча и визжа от боли, задергался, а они, пошатнувшись, покраснев от натуги, сделали два-три торопливых качающихся шага вперед через завозившегося конюха и с распаленным злобным кряхтеньем притиснули собаку к навозу. Зубья вил вошли уже по очереночье, Лютый хрипел сквозь розовую пену, выступавшую из пасти, шатая с трудом удерживаемые черенки и судорожно вытягивая задние лапы, и глаз его остекленело-гневно, неподвижно был устремлен не на своих губителей, а в серый, скатывающийся в тягучие сумерки день над их головами...

Его так и вынесли на вилах, еще подрагивающего пегой, в крови, линияющей шкурой, с волочившейся по утоптанному сырому снегу крупной головой, за ней тянулся розовый пузыристый след; вынесли бестолково и торопливо, как муравьи таскают свою добычу, на зады и бросили там на дорогу. Во дворе остались трое. На нижней ступеньке крыльца стоял Харин, глядел сквозь открытые ворота на людей, столпившихся у дороги. Видно было, как там раз, потом другой взлетел над головами конец толстой дубинки, а потом толпа расступилась и оттуда выбежали, пригибаясь от усилия, Кузька и еще какой-то парнишка, таща на проволоке то, что было недавно Лютым, – на пажить, к тем собакам... Гришук сидел на колоде, с расцарапанным лицом. Он не плакал, молчал, только изредка поднимал пустые и усталые, озабоченные чем-то своим глаза на Пантелеева. Конюх курил, затягиваясь часто и глубоко, и все пожимал неловко правым, разодранным до ваты плечом и оглядывал двор, будто что потерял на нем. Гришук знал, что ему надо бы уйти сейчас подальше от людей, но теперь было все равно. И он сидел, потому что устал очень, и еще у него болел бок – так болел после толчка конюха, что даже дышать больно было. Пусть они сами все уходят, ему будет в сто раз лучше, думал он, в тысячу раз легче ему будет.

1975





На грани



Октября начало. От взрыхленной, в кучках высохших картофельных плетей земли до самого неба с поблекшим нежарким солнцем стоит, блестит паутиной большая предзимняя тишь. Давно ушли с опустевших огородов люди, сделав свое дело; только на одном из дальних копается еще фигурка, срезает и сносит дозревшие, темные и уже скрюченные заморозком шляпки подсолнухов. Ближе к улице, в огурешниках, в застывших полуоблетевших калинниках людей видишь чаще. Там рубят капусту, скатывают тугие, хрустящие, измазанные черноземом кочаны или обирают посветлевшие калиновые кусты; но то ли они это тихо делают, то ли сам воздух, студено-прохладный и одновременно плотный, как стоячая вода, не пропускает никаких звуков – тишина.

Это самая странная и очарованная пора. Будто жизнь временно притихает перед затяжной осенней слякотью, будто отходит в сторону, чтобы осмотреться, все сделанное оглядеть. В этом сосредоточенном, вприщур, взгляде замершего в высоте солнца на широко и устало

раскинувшуюся окрестность, оголенную листопадом, в трезвой грустной ясности увядания есть сила неодолимая, властная над любым сердцем; и ее не минет ни один человек, нечаянно или по воле все той же прощальной думы забредший сюда, на дальние огороды, покосы, на берег недвижной студеной речушки с утонувшими желтыми листьями на близком дне... Запах земли полнит все, он вездесущ и, кажется, много родней, чем весной; и яснее, чем когда-либо, понимаешь, что это все из земли, и все мы тоже от земли, от ее одинаковой и нелегкой щедрости ко всему живому.

А в саду полное уныние и неразбериха малинника и крыжовенных колючек, горький осиновый настой, спутанная, прибитая утренником трава у тропки. Заглянул я в старый, мертво замшелый сруб колодца, там стояла темная ненужная вода. Стронутая мною бадья долго-долго качалась в пустом осеннем воздухе, средь молчанья, средь всего тихого мира плетней, жухлых травяных остовов, паутинных миражей... Не будет ни вечера, казалось, ни зимы, все останется так вот, как есть, на самой грани. Качается бадья – медля, совсем почти останавливаясь, точно сберегая скупое отмеренное всему, и нам тоже, минуты покоя, вольности и чистой души...

До великой прозрачности отстоялись последние погожие дни. Холодок бодрит, глаза неуголимы, чутки к любой травяной, лиственной ли мелочи, и все сквозит под твоим взглядом, открываясь просто и нестесненно. Все видно – и как на дальнем проселке тащится по косогору воз сена и рядом с ним шагает кто-то, ступает крупно и степенно; и как потерянно, бесцельно прыгают с ветки на ветку такие неугомонные обычно

воробьи и все оглядываются, вертятся с детским недоумением – где же лето?.. – и все реже слышишь их вопросительное «члик-чивик»...

А вот не спеша идет оцепенелой в последнем тепле улицей дед Лебедок, бывший конюх, передвигает осторожно ногами в синих суконных шароварах, заправленных в белые носки, в калошах. Нащупывает, хотя и зряч, дорогу кленовым бадиком и целит прямиком к нашей заваulinке – должно быть, приустал в пути. Скамейка наша на бойком солнечном месте, на сугреве, с нее всю улицу и огороды видать. Мы сходимся, он осторожно усаживается, примасчивается наконец и только тогда, глуховато кашлянув, говорит вместо приветствия:

– А и добер нынче денек. К морозцу, должно.

И оглядывает улицу, хозяйски осанясь, щурясь под козырьком картуза. Пуста она, только на задах где-то погуживает залетным шмелем грузовик, это свозят с дальних стогов сенцо.

Глаза Лебедка набрякли старческой мутной слезой, он вытирает их – один, затем другой табачного цвета платком, потом жидкие, будто заплесневелые усы и бородку; сует платок в карман, все глядит, забывшись, на поредевшие палисадники, неторопливо о чем-то думает – и мне с ним покойно и надежно, будто я уже все знаю и торопиться мне тоже некуда. Может, потому меня и тянет так иногда к старикам.

– Слушай, дед, – говорю я, наклонясь к его плечу, мне интересно, что он ответит на только что возникший мой вопрос. – Я вот тебя спросить хочу...

Он мелко кивает, давая знать, что понял и готов ответить на все. На все ли?..

– Вот все спросить хочу: зачем человек на свете жи-

вет? На что он тут нужен? Ведь могла бы и земля эта, и река, и кусты быть – а без человека... А?

– Эх тебя! – Дед не удивляется, лишь досадует будто на чудную, торопящуюся все узнать до срока молодость; поглядывает на меня искоса, оценивая, со слабой старческой усмешкой и опять лезет за платком. – А поди, разбери – зачем! Должно, не может земля без человека.

– Ну как это так – не может?! Есть же, например, леса такие: сто верст пройди – и ни души не встретишь, одно комарье. Или пустыни. Тысячи лет без человека обходились и сейчас вроде обходятся.

Старик слушает, потом поднимает на меня блеклые, старающиеся не быть равнодушными глаза, говорит недоуменно, даже с огорчением:

– А Бог его знает, сынок, для чего он тогда. Я, знаешь, как-то и думать об этом не думал. Живет человек – ну и живет себе, работает... А зачем тебе?

В самом деле, зачем это мне? Не проще, не нужнее ли нам жить обыкновенным своим человеческим естеством, без особых вопросов, тем более таких вот, с которыми человеку, пожалуй, и не сладить?.. Я уже почти согласен с дедом – зачем это, в конце концов, нам; и мне лишь интересно, что он все-таки скажет на это.

Я почти согласен с дедом Лебедком, прожившим, проконюшившим целую жизнь; но вопрос-то, что я ему задал, все равно есть, и никак он из человека не устраним – такой уж человек, что ли... Такой уж вопрос беспокойный, что, сколько ни думай, сколько ни морочь людям головы разными там философскими категориями, он все равно есть и будет: ну, а все же, мол?..

А все же, какую вот задачу вложила природа в су-

ществование наше человеческое – чтобы, как пишут, «осознать самое себе», свой смысл? Есть ли он вообще, смысл этот? И наш с беспокойно задумавшимся дедом Лебедком вопрос: что земля человеку и что он ей, живущей неподалеку, отлучившей человека от своих малых и больших таинств, земле? И где связь та, которая роднит разум наш с его суетностью, всегдашним недовольством достигнутым, и вечное согласие неразумного, живого и неживого мира? Нет, дед, надо бы это знать человеку, надо...

– Так зачем тебе?..

Старик, не дождавшись от меня ответа, глядел в огороды, в далекую выстывшую синь горизонта. Что-то решал он, чем-то задел его мой вопрос, колыхнул устоявшийся омуток; и, видно, трудно решалось.

– Да-а... – сказал он озадаченно и опять умолк. – Да-к, видно, все ж не обходится земля без человека, если все устроено так. Да и для чего все это тогда, – он ткнул сердито бадиком в сторону огородов, – если даже-ть глянуть некому будет, не то что попользоваться?! Это ж понарошку будет тогда, только и делов... Навроде игрушки кому.

– Почему – понарошку? Все это, каждое – само по себе. Дерево само по себе растет, трава тоже, и животные, звери сами по себе и друг для друга... Мы здесь – сбоку припека, вот ведь в чем дело. Лошадь – и та, наверное, без человека проживет: будет себе жить-поживать, траву щипать...

– Ну, ты скажешь тоже!.. – совсем обиделся, даже оскорбился дед Лебедок, руки его слепо щупали, перебирали бадик. – Прожить-то она проживет, да кому она тогда нужна будет, твоя лошадь? Кому?!

– Да никому, сама себе.

– Без человека, милоч, это тоже все незачем, ни

к чему все станет, и ты мне не говори... А человек затем живет, чтоб... жизни порадоваться, поглядеть, какая она тут есть. Потом детишек возрастить, родóву свою продолжить. И нечего тут думать. – Он хмурил брови, но уже доволен был, что попал наконец-то на знакомое и понятное, говоренное, навверное, не раз. – Я смыслю так, что сперва – человек, а остальное все для него. Богом там, кем ли, а сделано все для человека. А ты говоришь – само по себе! Да по мне тогда такая земля что есть, что нету ее, все одно!

– Ну, а если все ж есть такая земля: все есть, а без людей?!

Он подслеповато, подозрительно глянул на меня из-под картуза уже прежними, остывшими, безразличными ко всему глазами, сказал равнодушно:

– Тогда вроде пустоцвет это, не земля.

Опираясь на бадик и придерживая рукой поясницу, поднялся со скамейки, постоял так, обвыкаясь со старческой своей ломотой. Сделал шажок-другой и, оборачиваясь ко мне, но не глядя в глаза, проговорил хмуро:

– Ты, гляжу, чудно как-то думаешь все – зачем это тебе? Надо ведь придумать – «без людей»... Чтоб хоромы были, со двором и скотинкою, а хозяев не было! Не-ет, ты как хошь, а не понимаю я тебя, никак не понимаю... Надо ведь, – повторил он, качнул головой и пошел дальше своей дорогой, переставляя осторожный бадик и то и дело поглядывая под ноги, покачивая головой. Пересек наискось улицу, даже осторожных деревенских воробьев с дороги не спугнув, и не скоро скрылась его тщедушная согбенная спина за поворотом.

Всего немного, показалось мне, не поняли мы со стариком друг друга, самую малость. Чем-то право

в своей простоте его повидавшее виды естество, не знающее, но ощущающее истину, и я даже позавидовал ему, потому что ощущение истины, вдруг понял я, иной раз несравненно богаче знания ее... Не принимает вот он природу пустой, с ненужными деревьями и лошадьми, с никому не нужным летним, под налив, дождем, с просто рекой и листопадом. Там, где мнится другим пустота, пустыня, для него лишь незаполненность земли человеком, его деятельной, все по-своему переиначивающей душой...

А вопрос-то остался. Да и как знать, был бы человек без этого, без других неутолимых вопросов? Плывет наискосок, взблескивает в воздухе обрывок паутины – точно отделившийся от прохладного поднебесного потока лучик света. Серо стынет вода в берегах, солнышко остывает, еще один год кончается.

1976





Теплынь

По утрам, если было хорошее настроение, Никита пел. Послушать, так ничего не разберешь: погуживает что-то в нос неразборчивое – ни слов, ни песни. Только сам он и знал, что поет, остальные, будь то жена или соседи, знать об этом не знали, потому что на людях он не то что петь – про погоду говорить не умел и потому всегда считал за лучшее молчать да слушать. Песню же эту он слышал давным-давно, еще от отца своего, потом забыл, и вот теперь, когда годы под гору, за пятьдесят пошли, вдруг всплыла она откуда-то, пригрела сердце памятью да так и осталась – одна-единственная от отца, от всех прошлых дней...

А сегодняшний день обещал обтеплиться, погожим быть. Легкий ночной морозец будто под ноги пал: поскрипывал, похрустывал прихваченным снежком, приговаривал что-то свое к каждому человеческому шагу. Небо еще по-рассветному блекло, под застрехами сараев лежали молчаливые ночные тени. Листовое железо крыши у соседского дома взялось ровной хрупкой изморозью, та же изморозь пушила, размывала очертания

молодых яблонек в палисаднике. Но уже тянуло по дворам острым весенним дымком, чиликало вовсю и топорщилось среди веток ободренное воробьиное племя и хрипловатыми грудными голосами выговаривали и все никак не могли себя выговорить голуби на фронтоне...

Никита, задав корм давно проснувшейся скотине, прибирался во дворе. Из ватника его еще не ушло сухое печное тепло, свойский запах разогретого кирпича и золы; и он с бодростью и деловитостью гудел себе под нос:

Вставай, поедем за соломой,
Быки голодные ревут...

Таковский он был, наш «интернационал» – и в войну, и после... Дальше он не знал, ему и не нужно было, и он не торопясь работал вилами, сгребал в кучу объедья, оглядывал свой прибранный, ставший от этого даже каким-то уютным двор. Баба его, Ефросинья, в последние времена прибаловала и потомувил в руки не брала: дай Бог печь истопить да приготовить чего – и на том спасибо. Да ведь и как еще сказать: домок не велик, а присесть не велит. Домашних дел не переделаешь, только устанешь... «Должно, опять легла баба, – рассеянно думал он, – с утра молчит, крихтит. Врачи говорят – печень. Надо ли – столько работать, войну с голодухой перенести да не заболеть. Чай, года подошли».

Он поставил вилы в угол, к лопатам и ломам, и пошел в дом, посмотреть на часы. Приближалось к половине восьмого, пора было идти на колхозный скотный двор, завозить корм на группу закрепленных за ним телят. Никита не стал тревожить жену, снял с теплой плиты подтопка чайник, налил в кружку кипятку и, прихватив кусочек пиленого сахара, принялся сосредоточенно

пить, не раздеваясь, стоя посередине задней половины пятитенка. Из передней доносились приглушенные, нарочито бодрые гаммы радиофиззарядки – та-да-да-там, там, там! «Небось кто-то и вышагивает под нее в исподнем-то, – подумал он и усмехнулся. – Для работников сидячего труда либо для бездельников. Нам ни к чему, с соломой да навозом так упреешь – загривок мокрый... Но уторок-то какой, Господи, – как раньше!..»

Знакомая, давно понятая и ожидаемая новизна, происходящая во всем – в снежке, в воробьях этих, в нем самом, – бередила, приподымала душу его, заставляла ждать лучшего. И оттого, что этого лучшего, знал он по старому опыту, скорее всего и не будет (откуда, с каких таких достатков), а он все же ждал его какой-то потаенной частью себя – сердце его пощипывало тонкой, позднего возраста грустью, сожалением о чем-то несделанном, упущенном. Он и сам не мог сказать, что он такое упустил, о чем вдруг жалеет, и эта неопределенность маяла его больше, чем какая-нибудь явная неудача, ошибка ли... Собственно, ему ведь немного надо: в хозяйстве порядок пока держится, дочки почти определены, жена... Ну, жена – с ней все понятно; такой уж человек, тут ничего не исправишь. Да он уже и привык, он уже согласился с этим давно. Бог с нею, с женой.

Тогда остаются, значит, Степанковы эти, приезжие... И тут, считай, все или почти все ясным было: не делом он занялся, задумался. Вообще, зариться на чужое – не дело, за это в старые времена не зря руки отрубали... О чем же он в таком разе жалеет?..

Да ни о чем, наверное; дурь все, весной всегда так. Скоро вот снег таять начнет, стает, а там зелень новая, трава попрет... Покопается он в огороде, малинник

разгребет, парников наделает, чтобы первыми огурцов попробовать. Сеяльщиком на посевную теперь не пойдет, хватит; надо наконец и свой огород обзорить. Порыбачит, на бережку сыром, весеннем посидит, а там, глядишь, девчата приедут на майские праздники – все хорошо будет.

Быстро, теплея с каждой минутой, поднималось солнце. Со своей Шабуней, широкой в крупе, основательной и в работе, и в еде, они скоро сделали две ездки к дальним ометам. Под конец, часу в одиннадцатом, Никита даже шапку снял, и набегавший с солнечных полей мягкий снеговой ветерок тут же запустил свою студеную лапку в его свалявшиеся небогатые волосы, легонько потормошил их и стих. Рано еще без шапки-то, сказал он себе, обожди маленько...

Он медленнее обычного управился с раздачей корма, почистил под телятами настилы, переменял им подстилку. Другие скотники уже сидели, должно быть, в дежурке и лупились в домино, а он все работал. Домой из-за какого-то часа торопиться не стоило, своих овец и корову он мог напоить и после обеда. «Зайду в дежурку, – решил он. – Передохну, а там опять с Шабуней к ометам двинем; глядишь, к часу и зашабашим. Зайду, посижу. Может, и Нюту увижу. Что ж мне, и поглядеть уже нельзя?»

«Можно, – успокаивал он себя, широко шагая по залитому светом солоmistому варку, – отчего же нельзя. С нее от этого не убудет; кусок, чай, не откушу и сглазить не сглажу. Мало ль кому что может... ну, пригляднись, что ли». Солнышко пригревало уже как следует; навешало, смелея от утренника, частоколы блестящих, истекающих прозрачной капелью сосулук, от нагретых стен коровников и подсобок шел зыбкий парок, свежий

дух глины и навоза. Жмуря глаза, постоял Никита у саманки хомутной с соломенной, земляной уже от времени крышей, послушал все тех же воробьев и еще какую-то птаху, тянущую средь всеобщего гвалта несмелую, воркующую призывно песню. Глупыши! До Алексея – с гор потоки еще недели две, намерзнетесь. Хотя весна ранней обещает быть; на Сретенье, в середине февраля, тепло было, в лужах не то что курочка – бык напьется... Поздняя – хлебу, зато ранняя – сердцу, нам все сгодится.

В дежурке, примыкавшей к каменному коровнику, было не продохнуть от дыму. Щелкали костяшки домино, реяли над дощатым столом возгласы, азартный смешок, матерки. Вместе с мужиками сидел, повернувшись боком к столу, Николай Степанков, держал в сжатых кривившихся губах папиросу и, щурясь от дыма, прицениваяще поглядывал на доминошную «глисту» и к себе в черную от машинной грязи, грубую, как подошва, ладонь, где вместе с другими была зажата роковая для соперников пустушка. В углу гремела флягами Райка Бордовых, она соседствовала со Степанковыми; ворчала что-то, а потом, проходя мимо, замахнулась скомканным полотенцем на мужиков:

– У-у, ироды!.. Натабачили – хоть топор вешай. Лодыри царя небесного.

Николай, не обращая на нее внимания, выставил пятерочный дупль, саркастически сказал:

– Ну, сейчас я вам покажу кошачью морду. Небось насидитесь у меня под столом, коровьи ухажеры...

– Ишь ты... Гляди, сам не досидись до четвертной, милоч, погоду! Мы тут всяких видали да бивали. – Мужик напротив раздумчиво, не отрывая глаз от костяшек, покачал головой. – Бивали и все удивлялись: откеда с таким гонором приезжают?!

– Откуда сами, оттудова и сани, – посмеивался Степанков. – Разевай рот шире, лови адмиральского. – И, оборачиваясь к Никите, сказал: – Вот, смотри, как я их сейчас... будете знать вязовских. А то вы тут уже и шариками не ворочаете, разучились.

На подначки Степанкова не обращали особого внимания, привыкли уже. Никита молча прошел к окну, присел на лавку. Стали подходить доярки; разматывали зимние шаленки, раздевались, натягивали серые рабочие халаты. Нюты среди них не было, и он, глянув на вешалку, нашел ее стеганку и бурую от старости кашемировую шаль – пришла уже.

Он вздохнул и, отвернувшись, заглянул игрокам через плечи. Обстановка там в самом деле накалялась, Степанков играл наверняка. Дверь в который раз распахнулась, вошла, оборачиваясь и что-то говоря назад, Райка, и за ней увидел он Анну.

Простоватое, светлое от природы лицо ее улыбалось, и глаза тоже улыбались, ласково и чуть стесненно щурились. Прядка не по-деревенски чистого русого цвета волос падала на лоб, чуть притеняла глаза, и оттого серели они девически темно, радостно... Никита кашлянул в кулак, уставился в чужие костяшки. Чисто девка покраснелась, вот возьми ты. Говорят, из сирот взятая, всякую нужду видала, а вот возьми ты...

Анна, несмело посмеиваясь, оглядела дежурку: «Батюшки, дым-то какой – прямо коромыслом...» – подошла к ним. Постояла, посмотрела, как думают мужики над задачей Николая, спросила мужа озабоченно, с мнимой кротостью:

– Не засиделся, милоч? Хватит бы штаны протирать, скотина дома не поена...

– Счас, Нюр, погоди... Я им еще от вязовских привета не передал.

– Заладил: вязовские, от вязовских... Пора бы уж забыть. Мелешь не знаю что, людям надоедаешь, – с сердитостью сказала она, поправила ему завернувшийся воротник поношенного бобрикового пальто, ровно подштопанного на локтях, легонько подтолкнула на нос шапку. – Герой ты мой... горюшко.

И, вспомнив, полезла к нему в карман, опершись на плечо его и близко наклонившись, сокрушаясь заранее:

– Опять небось головку к примусу забыл купить. И сколько говорить надо, чтоб в магазин зашел!..

– Ну-ну, – пробурчал Степанков, не отрывая взгляда от стола и, видно, стесняясь мужиков, поднял локоть, безропотно давая обшарить карманы. – Дался тебе этот примус. Да не здесь, в правом ищи... Что, довольна теперь?

– Довольна, – сказала она, положила сверток назад в карман, в ненужной и, казалось, неумелой озабоченности хмурая светленькие брови. – Вот придешь домой и прикрути.

– И прикручу.

– И прикрути.

Никита отвел глаза, засобирався. В узеньком коридорчике наткнулся на Райку и уже было мимо прошел, как она вдруг неожиданно прыснула и, схватив его за рукав, зашептала, сдерживая смех и оглядываясь:

– Ну, как оно, касатик, свербит? Небось завидки забрали, а?

– Да... ты што?! – Никита растерялся, выдернул руку из ее цепких пальцев и тоже, сам того не желая, оглянулся. – Ты што это...

– Не-ет, касатик, меня не оманешь... А правда, хоро-

ша бабенка, а? – Она хохотнула, прикрыла рот концом платка, игриво-намекаяще повела бровью на дверь дежурки. – Может, записочку али еще чего... я могу. Чево уж ты славы людской так боишься, Микитушка? Слава – что сладость, пососал – и нет ее. А любовь добрая – она ввек не забудется...

Никита, не зная толком, что отвечать ей, дуре набитой, смотрел на нее зло и растерянно и потом сказал:

– Ты, Райк, прямо как маленькая... Ну что выдумываешь, людей дразнишь?.. Ить тебе уж все сроки прошли, а ты все взбрыкиваешь. Утомонись маненько, вот что!

– Нейдет угомон, касатик, никак нейдет, – странно и медленно усмехаясь, сказала Райка и с неведомо откуда взявшимся интересом все разглядывала его, будто примерялась. – Мужик ты в теле, плечишши под три мешка, а телок телком... А я вот так не могу, мне все бы хаханьки...

– Касатик, хаханьки... Тьфу! – возбужденно, в сердцах сплюнул он и вдруг попросил: – Не надо, Рай, ей-Богу... что понапрасну-то?! – И решил, будто в зябкую воду ступил, на слышанную где-то шутку: – Я, можа, только тебя одну и люблю...

– Ой ли... Ну, ладно-ть, ладно-ть... иди. Да не зырься, как на икону, побереги людям языки-то.

Господи, вот язва-то еще нашлась, навязалась, с растерянностью и еще чем-то, похожим на испуг, думал он, торопливо уходя от коровника. Вот пройда-то... Надует людям в уши, как им в глаза после этого смотреть?.. А дочки? Стыд-то какой, Господи...

И, вспомнив их, ожесточился: хорош отец, нечего сказать... Дурак старый. Под шапкой сивость одна осталась, дочерям приданое собрано – а туда же, на чужую

бабу смотреть... Нет, так дале не пойдет, надо кончать, пока не поздно.

И ведь дурь же, дурь, истово соглашался он с самим собой, – дурь гольная! Зачем это тебе, не пойму. Ладно бы парнем был, а то ведь ну никакого смыслу. Что дочери-то твои людям тогда скажут, ты подумал?.. Видно, так вот человек и решается ума: все думает о чем-нибудь одном, а про другое забывает; глядишь – и уже ненормальный он, спятил. А он просто думает про одно и то же, никак с этого места сойти не может... Оглядывайся, друг, почаще, про другое не забывай! Иначе такое навотришь – себе на горе, людям на потеху – что не расхлебашь потом... Да и как она дознаться могла, язва?!

Нет, не скажет Раиса, уже трезво стал думать он. Не должна вроде бы. Да и так она это... чтоб меня подзудить. Поймала, как маленького. Его уже досада брала за свой испуг: так бывает, когда мелкая шавочка, подобравшись, брехнет – и вздрогнешь весь, больше от неожиданности, чем от опаски; и досада возьмет, как увидишь собачонку... Ну, а что кончать надо – это он понял. Всему свой срок; и заглядываться, думать о чем-нибудь таком – пустое дело, все равно что весной озимые сеять: зерна не будет, одна трава...

Ведь уже до того дошел, что за себя самого стыд разбирает, додумывал он, погоняя Шабуню, остывая понемногу. Черт знает, что за натура такая: вечно что-нибудь втемяшится... Пора бы поумнеть.

Шел домой Никита своим огородом, стежкой, на-топанной за зиму до выпуклости. Слюдяно, сплошными полями блестел наст, ветерок стих, и над крышами села от дальних посеревших колков до пустынно-белой зимней реки и плоскогорий за нею в светлой кисейной

наволочи сонно расплылось, притихло и будто остановилось солнце – покой, белизна, немартовская теплынь. Никита расстегнул ватник, сбавил шаг.

Он как-то скоро отошел душой и на Райку уже так не досадовал – что с нее взять, с вдовы соломенной; ей теперь только и осталось забавы, что на других смотреть... Удивительным было даже, что наперекор всем волнениям, стыду и раскаянию, испытанным недавно, он не ощущал в себе той похмельной мути от неверно содеянного, которая долго в таких случаях не оседала потом, не давала покоя душе. Будто ничего и не случилось, и та утренняя благодать не покидала ни его, ни окружающее, предвесеннее... И если и осталось что от происшедшего, то самая малость, легкое неудобство пополам с приятно тревожащим, теплым, обещающим какую-то надежду и радости впереди – как перед большим праздником, не занятым работой... От этого легко, странно было ему, немного стыдно даже; и он начинал понимать, что все это – Райка, ее сочувствие, хоть мнимая и насмешливая, но готовность помочь ему. Черт баба, думал он неловко, с невольной благодарностью; надо же удумать такое – записочку!.. И бабенка-то – пуд с косырем, глядеть не на что, а все вот ей хоть бы хны... Куда как легче таким живется.

Не скажет она. Если подумать, тут и говорить-то не о чем. В другой раз и этого не будет, хватит. Не для того век свой жил, чтобы позориться под старость.

Не для того, это верно. Ну, а вообще – для чего?..

Думал он, и не раз. Правда, сбивало его почему-то все время: думал не столько о том, для чего жил, а как прожил. Да и не было между этим, чувствовал он, такой уж большой разницы; есть же приговорка такая – как жил, так и умер... А о том, для чего человек живет, во-

общее мало кто знает – разве что ученые какие; нечего тут и задумываться.

Вот и еще подумай – как? Тут всегда найдется что вспомнить. С человеком за жизнь, оказывается, столько всякого случается, что только начни ворошить – и сам удивишься, как много позабыл. Но главное-то пока держится: кое-что из ребячества, служба, немногие поездки. Потом гулянки вспоминаются, дети свои, люди там и всякие другие случаи... И работа.

Да, работа... Так вот вышло все же, что кроме нее – легкой ли, трудной, но всегда нужной, от которой не отвертишься, которая все силы твои берет, – он ничего порядком, считай, и не видел. Везде работа, куда ни оглянись. В молодости, правда, она его не так тяготила, силы, слава Богу, хватало, и сейчас он еще в ладу с ней живет, привык давно; но кто сказал, что она ему так вот уж и нравится, вся эта целодневная канитель и в колхозе, и дома?.. Спору нет, хорошо утречком выйти и косою по росе помахать. Или дровец поколоть, к каждому чурбачку со своим подходом – такой работой он готов хоть всю жизнь заниматься. Ну, еще найдется таких дел с пятком, а остальное? В грязи, в пыли, без передыху всю жизнь – кому и как любить такую вот работу, которой куда как больше, чем приятной?.. Что ни говори, а ведь так он и прожил все свои годы, и все соседи его не лучше, а разве так он хотел бы прожить?

Нет.

Другого он не видел, и, может быть, поэтому трудно ему было теперь оглянуться и оценить свою жизнь как-то иначе, иными глазами посмотреть на нее.

С приехавшим на каникулы соседским Володей, студентом, два дня пасли они однажды стадо единолич-

ных коров (у Никиты в нем корова с телочкой ходили); и студент этот буднично рассказывал, объяснял ему городскую жизнь. Ничего там особенного вроде и не было, в городской жизни, хотя и много легче она. Потом они вместе с коровами отдыхали на стойле, у реки, Володя уже похрапывал, закрыв лицо фуражкой, а он все не мог уснуть, думал над его словами. Он сравнивал, завидовал многому, даже пытался рассчитать, что бы вышло, если бы работал он только на себя, в единоличном, положим, хозяйстве на пяти гектарах, с лошадей или даже с небольшим тракторишком. Еще он подумал о том, что надо будет сделать ему в это лето, а потом вспомнил, как мечтал он лет двадцать назад купить себе мотоциклет с коляской и проехаться на зависть всему селу с молодой женой к магазину... Мотоцикл он бы и сейчас не против занять, но поди попробуй, когда у тебя две девки на выданье. Рублей по триста, не менее, каждой на приданое надо, да постели, тряпки всякие – глядишь, еще в соседи придется идти и ту же телку не миновать продавать. Не до жиру тут... А еще ведь хотел, помнится, на море съездить, дельфинов посмотреть – читал он тогда одну занятую книжонку о море, очень она ему нравилась...

Девочек выдай, тогда и думай о мотоцикле, усмехнулся он себе. К морю тебе теперь не ехать. А там и жене надо бы хоть какое ни есть пальтишко справить, сколько же ей можно в фуфайке-то ходить... Так вот оно и есть: всю жизнь горбила, а как была в фуфайке, так и осталась...

Он подумал так и вдруг будто со стороны, с высоты какой глянул на себя, на прожитое – и неприятно поразился открывшимся перед ним видением его собственной жизни, бесконечной суете, мизерности сделанного, хотя он тридцать пять лет только и делал, что работал...

Он удивился, растерялся от того резкого и беспощадного света прозрения, который все же нашел его среди скопища земного, обыденного, а мог бы и вовсе не найти; и поспешно, панически отступился. И хотя свет этот не успел ожечь ему душу, не сделал из него, как это нередко бывает в таких случаях, непонятого всем чудака, но смутил и теперь уже не забывался, не покидал его никогда...

Да ладно, говорил он себе, что уж тут мерить: не ты один – все кругом так жили. Меряй не меряй, а этого не вернешь, в суд не подашь. Ведь если подумать, и радости были. Какая ни есть жизнь, а без радостей не обходится. Нищий, и тот найдет на дороге целковый – и рад до смерти; а я нищим не был, кусок хлеба всегда имел, и нечего, как мать говорит, Бога гневить... Да взять хотя бы и работу, любую: кончишь ее – и доволен, что сделал, с плеч скинул. Нет, тут все от человека зависит, от того, как он сам это дело повернет, как посмотрит.

Давно уже и понемногу начал он понимать, что радость дается не столько от жизни, сколько ее в самом человеке имеется: надо только хотеть, уметь радоваться... Никто не учил его этому, никогда он такого и не слышал; и потому думал иной раз, что или это все его выдумка, ерунда, или в самом деле люди не знают ничего об этом, живут как придется и порой не видят ее, не умеют видеть в своей жизни... Так вот верил и не верил он этому своему пониманию, жил и особо не искал всяких радостей – они его сами находили, и он принимал их как должное и нужное... Вот как сейчас. Идет он по стезе этой, среди теплыни, и каждый стебелек подсолнечный, прошлогодний, каждую былку и соломинку на снегу видит; и что весна вот-вот, тоже знает, вон какие

колки серые, светлые – и радуется, и ничего ему пока больше не надо... А наутро еще что-нибудь узнает, приметит вдруг – хорошее, тонкое, для души, или дочек своих повспоминает, какие они... Вот так и живи, собирай всякую хорошую разность, мелочишку про запас – на черный день, на ласковую память.

И если вот так посмотреть и на работу, и на радости, которые выпали ему, то никак не хуже других он прожил. Не горел, не вдовел, перед людьми не краснел – это главное. Ну, а то, что в семье у него такое вот неудобие вышло, – в этом никто не виноват. Он и сам не сразу уразумел, к чему все идет, а когда спохватился, то что ж... вдогонячку дела хорошо не сделаешь.

Ему не пришлось воевать, страсти всякие видеть – с возрастом повезло. Отслужил уже по-мирному; по приходу, как водится, походил сзади сверстников за гармошкой, погулял немного, а потом отец без лишних слов посадил его в тарантас и повез на соседнюю улицу сватать Фросю, которую Никита и на вечерках-то видел раза два, не боле. Тут же сговорились, распили пару бутылочек и, забрав утиральники, покатали в добром расположении домой.

Он принял Фросю спокойно, как все вокруг себя принимал; сначала, правда, маленько стеснялся, угрюмился, потом привык. Жена оказалась тоже не из разговорчивых, на работу цепкая, даже ярая. Вскоре они, надрывая молодые животы, поставили себе саманный дом, отделились – с этого и началась их семья.

Из того начального времени мало хорошего он помнил – разве что появление и нежное детство дочек своих, Тани, потом Маши. Ежегодными трудами росло, прибавлялось хозяйство – только успевай поворачиваться,

а все остальное отнимала суета жизни. Наспех собрали другой дом, теперь деревянный, несколько лет карабкались из долгов. Меняли и покупали коров (не везло им, неудойные попадались), пестовали телят с поросятами, из-за нехватки покосов потайно, ночами, дергали и сушили на сено сорняк с колхозных бахчей и кукурузы... Ефросинья за всякие долги всей родне, бывало, кизяки переделает, все сараи умажет, короста с пальцев круглый год не сходила. Он тоже всю горбит, в поле, на базах ли, скудную колхозную деньгу выколачивает; а вечером сойдутся дома, всухомятку перекусят, и лишь бы до подушки добраться – утром в четыре встать...

Если с другими сравнить, так они быстро свое хозяйство на ноги поставили. Дальше малость легче пошло, и Ефросинье только бы и радоваться такому мужику: работающ, в стакан не заглядывает, что коса ему, что рубанок – все как вlepлено в руки, все в дело пустит и до конца доведет... И первое время куда как гордилась, на нечастых сельских гулянках сидели они вдвоем ладные, трезвые и чистые, только чуть раскрасневшиеся от стаканчика-другого, – когда товарки ее уже унимали, утирали и разводили на покой своих «колобродов»... И обиходовала его не хуже других, помогала, тянулась изо всех сил, успевая и дома, и на ферме, и в огороде.

Но ко всему, наверное, привыкают люди и привычное уже куда меньше ценят. С рождением девочек забот у них против прежнего вдвое прибавилось. Ефросиньи только и хватало теперь, что по домашности управиться, а он день-деньской пропадал на скотных дворах да на стройках – зарабатывал на жизнь. Спору нет, не у них одних так было – и успевали, и жили люди по-прежнему дружно, одним; но, видно, быстро сломила Ефросинью

такая вот, в нехватках и постоянных заботах о куске хлеба, жизнь. И так не из ласковых, не по годам жесткая и умеющая все поставить по-своему, она скоро совсем поогрубела сердцем и к нему, и ко всему, что не касалось девочек ее и хозяйства. В девчатах души не чаяла, около них только и отходила, мягчала, это был отрадный уголок ее жизни; и он мало-помалу чувствовал, что остается один.

Это сейчас Никита все видел и понимал, как такое могло получиться, а тогда это постепенно подходило, исподволь. К тому, что жена уже не давала себе труда церемониться с ним, он привык. Бывало, что она вдруг ни с того ни с сего накидывалась из-за какой-нибудь мелочи на него, ругалась коротко и хозяйски грубо – будто батрака отчитывала. В первый раз он так удивился, что и ответить порядком не смог, но уже в следующий притворил дверь передней, где играли девчата, и сказал ей тихо: «Ты што, туды-т твою... Бога за бороду взяла, да?! Чтоб я этого больше не слышал». Жена утрюмо промолчала и потом уже реже ругалась, выбирала место и время, но пренебрежение ее пополам с равнодушием он чувствовал все время и ничего с этим поделать не мог.

Хуже было, что и девочки понемногу стали дичиться, как бы и стесняться его. Особенно заметным это сделалось, когда он целых три сезона пас единоличных овец. Никита решился на это, чтобы хоть как-то расплатиться за построенный дом и поправить свои дела. Так уж повелось, что пасти скотину нанимались обычно какие-нибудь неудачники или бобыли, у которых в хозяйстве горшок не на что поставить. Но платило «общество» неплохо, и он, подумав, согласился. Проводил в степи весну, лето и осень, приходил домой поздно, уставший и оттого хмурый. Ефросинья, понятно, тоже набегает-

ся за день, молча щец летних пустых нальет да ложку вытрет и подаст, пока он хлеб режет; и, подоив корову и сходяв к соседям на сепаратор, поскорее к дочкам, укладывая их на ночь и самой отдыхать. Он долго ужинал один, потом тихо входил в переднюю комнату. Посапывала, разметавшись на стареньком, загороженном стульями диване Танюшка, жена устало прихрапывала, забыв руку на поводке люльки, и внятно, сторожко тикали в тишине ходики – семья спала.

Иногда он, если заставал старшую дочку не спящей, вынимал из брезентовой своей сумки оставленный кусочек заветревшего хлеба и давал ей: «На, лиса с лисенятами тебе дала. Бери, бери – лиса добрая...» Дочка брала его загорелыми, в цыпках, ручонками, несмело разглядывала и, не поднимая глаз, лепетала наученное мамкой «спасибо». Никите неловко от этого становилось, он понимал, что как-то надо приласкать, приветить дочь, чтоб не так она дичилась отца своего, но не знал как, с детства не привыкший к этому был. Садился на корточки, притягивал ее под каким-то неодобрительным и одновременно торжествующим взглядом жены к себе и говорил неуверенно: «Ну ты што, доча... аль боишься, стесняешься отца свово?» И Танюша, чувствуя эту неуверенность, скованность отца и еще молчание матери, собирающей на стол, молча и тихонько противилась его рукам... А чаще приносил увядшие пучочки набранной в степных лугах и распадах плоскогорий земляники, казачков или щавеля и подкладывал рядышком, у подушки, чтобы проснулась дочка утром, когда он уже далеко в степи будет, и порадовалась лисичкиным гостинцам. Отвыкали за лето дочки от него, все с матерью да с матерью, он немного тревожился, но успокаивал себя: ничего, зимой все поправится.

И правда, зимой все худо-бедно, а налаживалось. Может, и не с таким общим уютом и теплом, какое он видел в других семьях, но налаживалось. А потом снова лысели плоскогорья за рекой, под ярким солнышком полянами вытаивала степь; и после очередного договора с обществом он выгонял стадо на пажить, на вышедшие из-под снега ковыльные склоны балок – не то чтобы накормить овец, а хоть прогулять пока, дать им отдых от извечной зимней соломы. Девочки выросли, уже и не было в них, особенно в Маше, той робости перед отцом, но и большой привязанности, порой казалось ему, не виделось.

Так год от года стал он от семьи своей как бы немного обочь, в стороне. Был тем, чем прежде всего должен быть мужчина, – добытчиком, кормильцем; и опять же казалось иной раз, что жена, да и девчата тоже, слишком уж видят и знают в нем добытчика и мало придают внимания всему другому. Он приносил деньги, хлеб привозил, растил, забивал и продавал скотину и многое другое, нужное для семьи, делал, а все остальное было бабьим делом, все как-то мимо проходило – эти всякие тряпки, вещи, разные домашние и школьные праздники и хлопоты, чем без совета и спроса управляла баба... Сначала, когда девчата только в школу пошли, он и сам не считал нужным с ними возиться, да и не до того было, а потом уже и не пытался. Его постоянная молчаливость, неприемность в доме стали привычны и жене, и дочерям, какие во всем прикипели к матери, и ему самому. И Никита жалел порою, что нет у них сына. Уж с ним-то он всегда бы договорился; было б кого научить топор или вилы в руках держать, рыбачить или еще чего там... Но нет, Ефросинья, видно, и семья его пересиливала – даже третий, умерший, ребенок девочкой был. И молчанье

хоть и не росло, не копилось, однако оставалось молчанием, укоренилось во всем, он постоянно чувствовал это, старался не обижаться поначалу, но на душе всегда висела тень, несущественная вроде бы, но тягость.

Ефросинья, несмотря на такую единственную свою приверженность к дочерям, воспитывала их в необходимой строгости. Он и сам удивлялся и прямо-таки любовался порой, глядя, какие они рукодельные да приветные растут, как осинки светлоголовые друг за дружкой тянутся – что дома посмотреть, что на люди вывести... Замечал, как, взрослея, стала приглядываться к нему Таня, – видно, уже начала понимать супружескую черствость матери, несправедливость в семье и понемногу раскрывалась к отцу, внимательней становилась. Однажды, находясь вечером во дворе, слышал он, как в сенях мать говорила Танюшке: «Ты что это – стираться взялась? Мы ж вчера постирались». – «Да я так... мелочь. Платочек да носки отцовы». – «Нечего, и так хорош! Каждый день ему еще стирать. Вон лучше урюк иди поешь, в магазине час, поди, стояла». – «Да они ж смоляные, со скирдовки-то! И смены, сколько ни рылась в шифоньере, не нашла». – «Нету смены, – равнодушно согласилась баба. – Не новые же в поле надевать... Не напасешься. Да ему все равно, из грязи-то в грязь... Стирай, если хошь».

Шло время, росли дочери. Уже бегали в клуб, на большие праздники вместе с подругами и одноклассниками устраивали тайком от учителей гулянки с баяном; а раз на полевом стане услышал он из разговора баб, всегда все знающих, что будто один из хуторских, что в интернате живут, уже сохнет по Татьяне. И в какие-то минуты накатывало беспокойство на него, защемляло сердце, и он все думал с потаенным страхом: что-то будет, какая

судьба, то есть мужья им выйдут – бабья-то доля, если раздумать, от мужика...

Уехала, поступив в сельскохозяйственный техникум, старшая дочь, за ней через год и Маша, и они остались в большом доме одни. Жизнь сразу будто опустела, и немилым стало теперь все нажитое благополучие, покойное существование с умеренной привычной работой, к чему они так долго стремились, – попробуй вот угоди человеку... Отдушины себе искали; жена взялась за вязание, а Никита пристрастился к саду: завел пару яблонек, вишню, густой, в человеческий рост, малинник и прочую мелочь вроде крыжовника и новомодной тогда клубники – и каждую свободную минуту пропадал там. В зимние вечера он либо оккупировал заднюю половину дома и, увлекаясь, до часу, до двух ночи катал валенки семье и всей многочисленной родне, либо молча надевал шапку и как есть, в простеньком пиджачке, руки в карманах, шел по морозцу через десяток дворов к Райке Бордовых, где чуть не каждый вечер собиралась на посиделки «молодежь старше тридцати». Там, в просторной, Бог знает какими силами поставленной избе, азартно дулись в «очко» мужики, гомонили, перебирали новости бабы, грызли семечки, свешивая шелуху с губ аж до передников, в который раз дивя этим мужскую половину собрания. Никита подсаживался к столу, смотрел молча (сам он не играл) и только хмыкал иногда, одобряя или нет. Мужики это хмыканье очень ценили, но от приглашения сыграть он отказывался – не находил особого интереса, просто наблюдал.

Оставшись без дочерей, Ефросинья затосковала. Часто и, главное дело, молча раздражалась по пустякам, и оттого Никите становилось куда тяжелее, чем если бы она

под старость стала ругливой. Потом он уже и на посиделки реже стал заглядывать, чтоб не оставлять жену наедине с разросшимся от пустоты домом, с этими глянцевыми полами, столбчатыми высокими часами и просторным зеркалом... Опять, скрипя расшатанным столом, катал валенки, ладил всякую мелочь, часами плел сетку для большого сачка, какими обычно мужики и молодежь ловят рыбу по весне в мутной полой воде; а Ефросинья вязала уехавшим дочерям носки, пуховые варежки и, устав от не мереных никем бабьих дел и дум, ложилась часов в девять, долго и не по-сонному дышала за занавеской, без вздохов и зевков.

«Хоть бы пожалилась баба, – раздражался и он. – Сопит молчком, а что сопит – неизвестно. Я, что ли, виноват ей, что Танюшка с Маней уехали? Уже и с лица спала, извелась, а молчит. Что бы ей не подойти, не сказать по-доброму... Нет, не подойдет и сама не подпустит. Характерец у бабы!...»

Сам он все же легче переносил и разлуку, и одиночество, и жалко становилось жену. Он уже и пробовал было заводить разговор, тянуло повспоминать о дочках, но Ефросинья отделялась короткими незначащими словами, после которых и говорить-то становилось не о чем. Не пускала к себе, к дочерям, даже по ночам молчком обходилось, и что тут надо было делать – он не знал.

Не так уж и часто писали девчата, и однажды ему случилось встретить почтальоншу у самой калитки. Почтальонша порылась в своей пузатой сумке и, ничего не говоря, протянула вместе с районной газетой письмо дочерей – пухлое от фотографий. Никита не стал вскрывать конверт, а понес его жене, зная, как она сама любит делать это. Он подал ей конверт и сказал, смущенно и радостно улыбаясь:

– Ну, вот... Бери, мать, читать будем...

Он хотел еще сказать, что и сам уже заждался – дальше некуда и что надо бы ему взять поближе к выходному пару деньков да хоть раз съездить к девкам в город, продукты подкинуть да проведать, на житье их глянуть – как они там, на частной квартире, не бедствуют ли в чем и что у них за хозяйка такая, что ни свет без разрешения не включи, не свари, платочек не постирай... Но жена, не глядя даже на него, выдернула конверт и торопливо ушла в переднюю, забыв о нем, словно его и не было, оставив у порога в настывших, литой резины, грязных сапогах... Ему и неловко стало, и обидно, очень уж хотелось взглянуть на девчат, какие они теперешние, городские. Он вышел на слякоть, к скотине, долго убирал там, потом снова зашел в кухню за помоями, ожидая, что вот она выйдет, дочек покажет.

Но жена так и не вышла к нему, не позвала; и сквозь полупрозрачное стекло, заменяющее филенку двери, видел Никита, как она разглядывала что-то на свет, будто сверяясь, а потом полезла в сундук. Задетый за сердце, потоптался он в прихожей, испытывая болезненное желание видеть детей своих; но что-то горькое и гордое не давало ему снять сапоги и пройти в комнату, где копалась в нафталиновом нутре сундука его жена, переключая и считая одеяла, отрезы и всякую бабью справу...

Он наотмашь – в первый раз, наверное, – бухнул дверь, вышел на улицу, гомонившую гусями и полную снежного света. Постоял под окнами своего дома, не зная, куда податься, где приют найти. К матери своей пошел, куда еще; до вечера возился под сараем, ладил двери, чистил накопившийся у коровенки в хлеву навоз, и донельзя обидно было, что вот он растил детей,

горбил как мог, чтобы его дочери нужды большой не знали, и любил он их, может, не меньше матери, а теперь ненужным стал – будто он и не отец им вовсе, будто не думает он долгими одинокими вечерами, не боится за них, девок своих, когда в этом городе охальников да кобелей, хулиганов всяких полно... Да какая же она жадная до всего, Бог ты мой, что даже и к детям нашим не допускает! Весь век все в дом тащила, все ей мало было, а теперь вот и дочерей...

Он и матери своей ничего не сказал – что старуху расстраивать; а наутро, ни слова не говоря, засобирался в город: изрубил в снях половину бараньей тушки, уложил все в потрепанный, оставшийся от девочек рюкзак, добавил еще сала, десятка два яиц. Ефросинья, что-то поняв, не сказала поперек ни слова, хотя сама намеревалась в скором времени ехать туда; даже помогла в сборах и проводила без особых напутствий, чуть ли не молча, только сказала: «Сам погляди, как там и что»...

В город Никита доехал к вечеру. В непривычной троллейбусной давке добрался наконец до улицы, долго, с расспросами искал нужный номер – как-то запутаны они были здесь, сразу не разберешь. Девочки жили в полуподвале осевшего набок небольшого дома вместе с угрюмой, с чего-то озлобившейся на весь белый свет старухой. Согнувшись, он несмело постучал в низкую погребную дверь раз, потом другой, внизу брякнул крючок, послышался суровый голос: «Кто?.. Кому надо?..» Никита назвался, и пока недовольно гремел засов и что-то отодвигалось там, тоскливо оглядывал присыпанный угольной крошкой двор с чахлой порослью посередине, с какими-то сарайчиками и крышами, крышами...

Старуха, отстранясь и даже не поздоровавшись путем, пропустила его; он ощупью, волнуясь и про себя каясь, что не поехал сам и не устроил девчат получше, а доверился жене, нашарил дверную ручку, потянул на себя. Войдя в прихожую, он уже начал было скидывать рюкзак, неудобно оттягивающий назад плечи, когда из-за перегородки выглянула Маня, широко открыла глаза и кинулась к отцу, к папане, прижалась к нему, в непривычной ласке обхватила его шею руками, плача, смеясь и выкрикивая что-то. Она его целовала, а он, так и не сняв до конца рюкзак, путаясь в его ремнях и что-то бормоча, отводил небритое в утренней спешке лицо и сам чуть не плакал.

Потом они ждали Татьяну и волновались за нее вместе, потому что часы показывали уже восемь, а район этот, прозванный Шабровкой, был беспокойным. Пришла Танюшка, торопливо скинула у порога ботики, прильнула к нему и все не хотела отрывать от его плеча лица. До сих пор он помнит сладковато-пряный запах девичьего пота и духов.

А квартиру он тогда же и переменял им. Неподалеку нашлась, и приличная, повезло им.

Это было прошлой весной. Они приезжали потом на праздники, на каникулы, и теперь он уже всегда знал, что о нем не забывают в мелкой суете, и чувствовал на себе их вниманье, иногда даже предупредительное. Нет, они и раньше были хорошими дочерьми – послушными, без лени, какую нередко видишь в соседях, а сейчас только поняли, что такое отец и какво без него жить... Ну и хорошо, что поняли. И оттого он их еще больше, казалось, любил: в дни их приездов даже с лица менялся, суетливее становился, улыбчивее и растерянней. Вел показывать свои яблоньки и малину, с особой охотой таскал воду на постирушки и смотрел с ними телевизор.

И разговоров сколько стало – о городе, учебе, даже об их сельском хозяйстве.

Ефросинья внешне никак не отнеслась к этим переменам, будто и не видела ничего. И только потом стал он замечать в ней некую подозрительность, которой раньше не было, – да и что тогда было, кроме равнодушия?.. Похоже, что жена ревновала его к дочкам; и он, когда вдруг подумал об этом, понял, что так оно и есть – ревнует. Подосадовал: глупить начала баба к старости... Нет, что ни говори, а избаловал он жену: пожила бы она с каким-нибудь забулдыгой,хватила лиха – небось по-другому запела бы, не только рядом – через всю улицу узнавала бы мужа. Да и когда, в какие времена было, чтоб муж бабе угодил во всем?! Она, вишь ли, мать – а я по ей кто, горячил он себя, седьмая вода на киселе?..

Как так можно, чтоб я дочкины письма на втором или третьем дне читал! Я им отец родной, у меня тоже свой интерес. Кого хочешь люби, но и другим не засти, говорил он мысленно жене и в правоте своей был уверен и тверд. Но как ей скажешь об этом вслух? Не поймет, посмотрит как на дурака. В природе и слов-то, поди, нет таких...

Степанковы появились на их улице недавно. Они переехали сюда из самого глухого «куста» района, из Вязовки, купили дом и вот уже полгода как обживались в этих местах. Николай получил гусеничный трактор, заработал сразу дельно, ухватисто и уже скоро покривал на нерадивых помощников, язвил и подсмеивался на каждом шагу, но как-то свойски, необидно, и приняла его все на удивление быстро.

Жену его Никита встретил только через недели две после приезда: шел рекой с покоса и вдруг увидел, как у бабы, полоскавшей на мостку стираное белье,

уплывает, воровато утягиваясь на быстрину, что-то темное из вещей. Он уже собрался было крикнуть ей, но тут она сама заметила, охнула и, подобрав юбку, полезла в воду. Однако штаны (теперь он ясно видел их) занесло в глубину, и женщина выбралась на берег, пошла по течению, поглядывая на середину реки, смеясь и не на шутку уже досадуя. Никита быстро сбежал под круть, на галечную отмель и, как был в старых брезентовых башмаках, ступил в теплую июльскую воду. Зацепил кончиком косы и осторожно вывел тяжелые, набрякшие водой штаны на гальку. Зашел опять в мелководье, поболтал ногой, потом другой, вода приятно остужала натруженные подошвы.

– Ну, спасибо, а то оставила бы мужика без справки, – смущенно смеясь и оправляя юбку, говорила между тем незнакомая ему баба. – Ить они готовы уже были на дно... уж больно тяжелые. Спасибо.

Никита хмыкнул, повел неловко плечами, ежась от этих настойчивых «спасибо», и впервые не мельком взглянул на нее. Баба все продолжала посмеиваться, щурились смущенно ее светлые серые глаза, смотрели на Никиту с доброй пристальностью и долго, словно глянула она да и забыла отвести их в сторону (такая уж, как он после понял, привычка у нее была, а вернее сказать – особенность). И он тоже засмотрелся, растерявшись, тревожась и поражаясь все больше их теплой, телячьей прямо мягкостью, серой их глубиной... Как-то не приходилось ему до сих пор глаза у людей замечать. Ну, цвет, выражение там – это он, само собой, видел, а вот чтобы глаза целиком... А тут смотрели они на него и, кажется, в него, будто забывшись, приветливые в прищуре глаза, прозрачные, с легкой тенью под ресницами...

Он с некоторым усилием оторвался от них, переводя

взгляд по лицу, поблекшим немного губам, шее в мягких морщинах, и ниже, на справную фигуру и полные, налитые здоровой желтизной икры слегка разведенных толстопятых ног. И опять взглянул ей в лицо, но уже избегая глаз, сказал, прикашлянув:

– Ничего... поносятся еще.

– Поносятся, – согласилась она. – Не ты – они так бы и ушли в глубынь. А река у вас хорошая, шустрая, и вода мягчай. Небось бабы на щелок берут?

Она все глядела на него, но уже вопросительно, чуть подняв брови; прядка чистых волос набегала из-под платка на лоб, касалась щеки, и это ничуть не казалось, как у других баб, неопрятным.

– Да я как-то и не знаю... Должно быть, берут.

– Такую воду только на щелок и брать. Ох, что же это я, – спохватилась она и оглянулась назад, снова засмеялась. – Разлалакалась, а там остальное небось порасплывется, лови тогда... Пошла я.

Она подняла брюки, наскоро ополоснула в воде и пошла к мостушке, на ходу сноровко выжимая их. Никита тоже заторопился наверх, на траву, и когда выбрался, то увидел, что она уже вовсю полощет бельишко, расставив полные ноги и расторопно двигая плечами; а потом над рекой, отдаваясь еле уловимыми повторами в крутях, далеко и смачно зашлепал ее валеком...

Он долго помнил ее в тот день и после, хотя ничего серьезного, достойного такой памяти, вроде бы не произошло.

И Никита, и Степанковы были в одной десятидворке. Он то и дело встречал ее на улице, у колодца, но все как-то мимоходом. Заметил, как она ходит: не торопливым бегом или вперевалку, как большей частью ходят

все сельские женщины, а ровно, чуть кокетливо поводя плечами и ставя носки врозь... Или у них, вязовских, манера у всех такая, думал он; так вроде бы не должно. Бабы – они вечно бегут, торопятся, дел столько, что лишь успевай. Привыкли бегом-то. А эта вот, видно, так обходится, без спешки, хоть и говорят уже, что работающая. Разные они, люди.

К концу августа началась скирдовка соломы. Степь и сухую ломкую стерню морило в последней, нещадной и резкой жаре. Подошел черед их десятидворке, и два дня Никита бок о бок с Анной и другими ставил по широко разъезженному большаку осанистые, сдобные в плечах ометы. Работалось ему, несмотря на жару и пыль, легко. Он и так нечасто думал в последнее время о жене и всех своих делах, а теперь и вовсе. Поставив три-четыре омета, усаживались к последнему в короткую тень полудневать. Оживясь, болтали между собой о всякой всячине бабы, уминали с хлебом рдяные помидоры, яйца, малосольные огурцы, запивая все родниковой водой из бочонка, только что доставленного водовозом.

В первый же день они устроили Анне «спрос». Она отвечала охотно, понимая, что так надо, поворачиваясь лицом и доброжелательно и долго глядя в лицо каждой. Рассказала даже, как у нее на реке мужнины штаны чуть не уплыли и как их Никита вот вытащил, и тут же спросила, из реки ли берут воду на щелок или еще откуда. Ее заверили, что только из реки, вся улица туда ходит, и рассказали, как у Маньки Болдырихи надысь («надысь» – это было еще началом лета) шерстяное одеяло уплыло: так мальчишки с час, наверное, ныряли за ним, аж посинели все, и Манька им с полкило «подушечек» шоколадных купила и раздала. Анна бабам понравилась, а Никите, что греха таить, еще

больше. Несколько раз пособлял он ей закидывать наверх тяжелые навильни или растаскивать кучи соломы, свернутые тракторной волокушей в огромные жгуты и клубки. Солнце растелешило всех, Никита ворочал в майке, у Анны в подмышках и у груди расплылись на кофточке круговины пота, волосы поблекли от пыли и запекся на щеках болезненно красный загар, и платок не помогал.

На втором дне наведal их на своем комбайне Николай, он переезжал на другое поле, на обмолот валков. Она ему что-то сердито, полупшепотом выговаривала, поглаживая нагрудный кармашек его ковбойки, и потом переложилa несколько спелых помидоров и термос в его сумку. Николай подошел, произнес общее «здравствуйте, Бог в помощь»; прищурившись и сдвинув фуражку на затылок, посмотрел на обчатый омет и сказал: «Тоже, значит, этим самым паром, так? А ведь на машинном, едрена корень, ненавешенный стогометатель валяется, с неделю как привезли... Ну, руки ваши, вам виднее...»

С той поры Никита отработал на скирдовке еще две очереди, все время с Анной – муж ее пропадал с бригадной колонной у соседей, помогал им с уборкой. Раза два она сама заговаривала с ним, даже шутила, памятуя одно из первых знакомств своих здесь. Никита, довольный, втайне радуясь, старался отвечать ей складно, с умом; и, видно, это получалось у него, потому что Анна заметно стала отличать его от всех, зауважала, тем более что и остальные всегда считались с его словом.

Но дальше, знал он, дело не пойдет, да и никак не могло пойти. Такого он как-то даже и представить себе не мог; и если думал, так только о том, какая она во всем хорошая вышла и как, должно быть, с такой заботницей ладно жить: опрятная, все-то у нее к месту – что слово,

что дело. Он сам видел, как она с попутной машиной сдавала мужу и снедь всякую, и белье, и – невиданное дело – чистую спецовку для смены, когда у них любой тракторист или комбайнер привык ходить в одной и той же чуть не весь сезон...

Еще он долго и прямо-таки неотвязно думал, как ее называет муж: Аннушкой, Анютой ли, Ньюрой? После оказалось – Ньюрой... Зря он так, думал Никита, мог бы и получше – Ньютой, например. Он бы так ее и назвал – Ньютой, и никак иначе.

Летело время; уже вон его сколько пролетело, а вот теперь Райка Бордовых заприметила за ним грешок его, и надо было решать. Что тут можно было делать, кроме как взять и выбросить все это из головы?.. Как говорят – забыть? Каждый Божий день он видит, как идет она под ведрами от колодца, воды не плеснет... Пока будешь забывать, она десять раз перед тобой пройдет; да и кто, какой дурак выдумал – так забывать?!

Сам же и выдумал, кто же еще, говорил он себе, раздражаясь, быстро уставая от таких мыслей. Все без толку, все ни к чему. Зря ты наладился обо всем этом думать, душу себе мутить. У девок твоих вон уже и косы вином пахнут, сватам квасок стоит, дожидается. Уже и дело свое на земле кончаешь, поизносился за жизнь, жена в болезнях... куда наладился? Тебе теперь – смотри изда-лека, поглядывай, да не забывай, кто ты и какой есть.

А с Ефросиньей... что ж, не в меду жила, чтоб очень уж хорошей быть. Чай, тоже и руки, и нервы поотмотаны; и на семью тянулась порой изо всех сил, поистратилась здоровьишком, и на скотину... Господи, думал он, ведь мы тут не столько на себя, сколько на скотину работаем. Сколько ей и сена, и уходов, сколько трудов

ей надо отдать!.. Себя, бывало, с Ефросиньей забывали, в лесничестве на покосах без еды-воды сутками пропадали, сухой кусок ели, лишь бы корову хоть под отел сенцом правдать... А поросята, овцы, а гуси-утки эти – и все на жене да на жене... Забегается, завертится, а дом стоит, ожидает, без хозяйки там ничего не делается. И никогда он не забудет, как дом этот ставили: сначала горбили, зарабатывать, потом над каждой копейкой дрожали, себе и детям во всем отказывали – лишь бы из саманухи выбраться, зимой не мерзнуть... Как затем строить взялись, все лето в амбаре жили, бедовали. Плотникам что – стены поставили, деньги получили да ушли, сам он тоже с утра пораньше на работу, чтоб копейку в дом принести; а жена тем временем самую трудную работу делала, дом обживала: мазала, подпол с чердаком засыпала, красила, белила... Да и во всем так: молчит и работает, и он сам знать не знал, как картошку, огород полоть да поливать, в дому прибирать – на все готовое приходил...

Он, вспоминая всю эту женину работу, будто только теперь понял, увидел все, что приходилось делать жене его, Ефросинье, хотя и до этого с пониманием ко всему относился. Он еще только на обед придет, а она уже, глядишь, наломалась с утра, ей уже не до шуток либо там нежностей – лишь бы накормить мужа да бежать поскорее кизяк складывать, кошенину за огородом сгребать, полоть... Ей, может, и хотелось бы отдохнуть, в тенечке посидеть да словцом-другим обмолвиться, а беги... А припомни, вспомни получше, что люди говорят: мало дворов и огородов чище, чем у них. Что ни возьми – огурцы, помидоры ли, лук с редиской – все у них первых бывало, все ко времени. У других, глядишь, детвора еще только к «опупышкам» примеривается, а у них уже малосольных

с хрустом вволю, уже и крошка. Да что там говорить, бабы со всей улицы за дрожжами к ней ходят, за закваской – это ль не хозяйка?!

Наломалась ты за жизнь, Федоровна, и ништо, гляжу, тебе сейчас не мило. Я еще, бывает, и кусточку удивлюсь какому, на реке посидеть люблю, в степи там побыть – есть еще интерес; а тебе все не до этого, все какая-нибудь забота гложет, не то что на облачко какое внимание оборотить – поспать спокойно не дает... Ну, прикипел я к Нюте – что тут скажешь?.. Увижу ее – так, веришь ли, сердечко свое начинаю чувствовать, как оно бьется там... А подумаю, что вдруг они с какой-нито дури вздумают уехать отсюда, так совсем... Я уж, Фрось, все передумал, все испробовал; сам знаю, что негоже мне так привыкать к ней, к думкам о ней своим; и что ты мне не на год – на всю жизнь дана, и про дочек своих – все помню! – а только забыть не могу, ничего с собой не сделаю. Стыд тут – пусть, он при мне и останется; а другое – жалость... Жалко мне, что так у нас вышло, что сама ты с рани от меня откачнулась. Думала, поди, лучше будет, все радости-то одной; а жизнь возьми да и поверни по-своему, впопят... Мною побрезговала, с дочерьми свой век прожить решила... так мы их не для себя – для других растили, не удержишь. Вот и осталась одна: и голову приклонить некуда, и со мною – поздно. Это ведь молодым еще так дозволено: ныне расплевались да по углам, а назавтра снова вместе; а нам – нет, не сумеем мы так, жизнь уже за плечами.

Да, жалко... Я ведь тоже свою вину никуда не дену, при мне она всегда, но мне куда легче. Дочки меня приняли, они теперь хоть за тыщу верст уедут, а знаю, что помнить

будут, не только о тебе по вечерам говорить. Теперь вот Нюта есть, и мне, считай, больше и не надо ничего – хватит... Может, ты и сама не знаешь, как тебе плохо – одной-то за занавеской вздыхать, думать, одной в постромках тянуть: а я вот чувствую и знаю это, и жалко мне тебя донельзя – не с того конца ты за жизнь взялась. Так тебя, понимаешь, жалко, что и слов нету...

Он остановился в саду своем, поглядел в неподвижное сплетение веток в голубом небе, на красноватые, теплых оттенков стволы; увязая в снегу, прошел к яблоням. Еще и снег здесь был нетронут, даже без оттепельной корочки, еще и самых ранних примет весны не было видно на деревцах, а уже не по-зимнему суха и тепла стала их кора, уже привольней, не сиротски были раскинуты в свежем мягком воздухе ветви – теплынь... Не было утренней тоски по ненаверстанному, ушедшему, той волнительной тревоги, что подымает со дна человека весна и любое ожидание перемен, которые в жизни хоть и бывают, но редко. Все было ясно до дна, все отстоялось, сбылось и не требовало ни повторений, ни перемен.

Он поглядел на сад этот, уже вошедший в зрелость и дающий плоды, на себя глянул – будто со стороны, с усмешкой, и потом на солнышко, определяясь во времени, и пошел домой. Напоил скотину, натрусил ей с лапаса сенца пополам с соломой – до первой травы еще ждать да ждать. Потом решил дать и поросенку, хотя тот прибалывал и жена отпаивала его сама. Вошел в пустые, светлые и жаркие от прямых солнечных лучей комнаты, прислушался. Размеренно, сонно ходил маятник часов, дышала за занавеской жена. Сняв чесанки, он прошел в переднюю; глянул в зеркало, потер щетину на подбородке и скулах, увидел на столе открытку: девчата

поздравляли, хоть и с опозданием, мать с этим самым женским днем и еще обоих – с весною. Надо сказать ей, чтоб зря не подымалась, не тащилась к поросенку. Никита зашел в чулан.

– Ефросинь... а, Фрось, – он качнул ее за мягкое плечо. В чулане было темновато, тепло и сухо, от плиты пахло просыхающими валенками.

– А... а?! Что?.. – заполошно со сна забеспокоилась она, пытаясь подняться.

– Да ты лежи, Фрось, – сказал он. – Я так. Говорю, что прибрал на дворе и поросенку тоже дал. Ты лежи.

1979





На Але- шинном хуторе

Двое суток несло в степи поднятые снега, гудело и ныло, равняло с краями реку, пади с оврагами, заносило жильё с дорогами, плетни огородов; и вот под вечер стало понемногу затихать. Ветер устал тянуть в одну сторону, в какой-то момент переменялся, закружился на месте, толчая снега стала беспорядочней, реже, просветлела, а вскоре осела совсем, открыв содеянное. Наползали сумерки, глухие и печальные. Все смолкло, в открытом поле синело и синело, и оттого, что небо над пустой долиной впереди было темнее самого снега, еще безотрадней было и угрюмей, и как-то не верилось, что завтра может взойти, взойдет в той стороне солнце.

Где-то, видно, порвало провода, Алешин хутор сидел без огня, кое-где лишь пробивался в окнах неверный за-
тухающий свет керосиновых ламп. Немногие из людей откапывали во дворах свои тропки, неохотно и кое-как, лишь бы пройти, – еще неизвестно, какую назавтра даст погоду. Насидевшиеся под застрехами воробьи молча, поодиночке перепархивали в кустах над местом, где раньше проходил зимник, а теперь не было ни следа, не

то что конского яблока, – на всем, как Божья тяжелая длань, лежали выструганные ветрами на юру и вылепленные в затишках снега.

Кто-то еще только собирался ужинать, другие повечеряли и уже готовы были хоть спать. Старые люди – кто по вере, кто по давней привычке – крестились и молились перед сном, долгим и тяжелым зимней порой; затихла, улеглась в тепло заснеженных парных закутах скотина, даже огородные ветлы и торчащие из сугробов калинники нашли наконец покой, примолкли в темноте. Непривычно рано было укладываться лишь молодым, выросшим уже при электричестве, но их тут было немного. Где-то, отекая их пустынные места, шла другая, большая жизнь. Для кого-то еще день не кончился, еще ждали чего-то от него и вечера этого, а здесь ждать было уже нечего.

Еще не спал молодой, недавно из солдат, Павел Колпаков, Пашей все его звали, ставший после женитьбы месяца два назад хозяином большого дома в глухом конце хуторской улицы, в чапыжнике, – крепкого пока, со многими пристройками, имевшего всегда со своими узкими окнами вид человека с поджатыми губами, хмурый и постный. Пристроившись к старой, воняющей керосином семилинейной лампе, плел капроновую сетку для большого весеннего сачка, прежняя давно истлела. Теща после ужина ушла в заднюю половину, на свою продавленную запечную кровать, и уже спала, тяжело вздыхая и всхрапывая, вспугивая иногда тишину, а беременная жена его, Вера, положив повыше подушку и с плечами укрывшись одеялом, полулежала на их семейном новеньком диване-кровати с больнично-белым постельным бельем, которое уже впрямь стало пахнуть больницей. С ними, видно, только свяжись покрепче,

как запахнет. Пойдут всякие недомоганья, мази с притираниями, дурные сны – женская разная необходимость, необходимая принадлежность их. Его была такая же, как все: перед тем как лечь, приняла что-то, повозилась, притворившись в кухоньке, и теперь, блестя глазами, лежала и перебирала вынутые из шифоньера пеленки, ползунки и другую младенческую справу – перебирала без дела, просто так, шевелила припухшими губами и смотрела перед собой, ничего не видя, словно что-то подсчитывала.

Радиопровода выдержали, на оклеенной тусклыми тисненными обоями бревенчатой стене тихонько сипел репродуктор. Кто-то говорил, озабоченно бубнил там о каких-то своих делах, оповещал о них всему миру; и, кажется, впустую, вряд ли кто слушал его в послебурную эту ночь, когда все устало от сотрясавшей дома непогоды и радо было наконец уснуть в наступившем покое, отдохнуть. Но голоса там, вдалеке, не унимались, сменяли друг друга, стараясь пробиться, достать; а когда и это не помогло, невнятно заиграла, стараясь тоже привлечь, музыка, заударяла чем-то тяжелым, глухим, еле слышимым. Ударяла еще и еще и так и не одолела пространства, смолкла.

– Корова-то вроде причинает, – неизвестно с какой стати сказала Вера уже говоренное сегодня за ужином. – Встань ночью, глянь. Как бы послед не слопала.

– Погляжу.

Возникла другая музыка, побойчее, и следом за ней женский высокий голос. Неестественно страстный, чистый, отточенный, как круглое шило, – он пронизал все и дошел:

Златокуд-рая царица но-о-о-чи!

Ярче звезд твои блистают о-о-о-чи!..

За окном глухая, без всяких звезд ночь, заваленный в степном распадке всеми зимними снегами хутор, темный, а она где-то там поет, недоступно далеко, в Бог знает каком городе в огромном освещенном зале, полном людского дыхания, как в гарнизонном Доме культуры. Переливается голоском, перед нею в лакированной яме сдержанно, как поздний летний гром, гремит оркестр, все празднично одеты, шумок стоит, покашливанья, ждут, когда можно похлопать и увидеть следующего артиста; и они будто даже верят в эту какую-то златокудрую царицу, которой никогда не было нигде и нет, но им хорошо, и они еще, слышно, просят на «бис», счастливые своим хлопаньем в ладоши... Чему только не верит человек, когда хочет верить. Они где-то далеко, совсем другие, на другом конце света, хорошо им... Хутор пустеет год от году, разъезжается, они этого не знают. С тех пор, как он пришел из армии, съехало еще четыре семьи, перебрались вместе с домами в совхоз в Спасском. Другие дома просто брошены, завалинки, унавоженные двory и зады заросли жирной пустырной полынью и крапивой, пустые стекла окон глядят на затравешую середину улицы, туда, где на месте разъезженной дороги теперь лишь две проточенные дождями колеи средь муравы. Те, кто еще здесь оставался, сами оторвали пришитые крест-накрест доски, открыли им ставни – все веселей жить. Пустели, освобождались поскотины, сенокосы и всякие другие нужные места, прибавилось в речушке рыбы, но как-то само собой выходило все наоборот, не для мужижкой желанной воли, а для пустоты, даже на сенокосные лужки откуда-то нагрянул, все собой заполонил татарник, а в степи с ним спорить бесполезно, уж очень живуч азиат.

Некуда было податься, никто его нигде особо не

ждал. Некуда, кроме Спасского, издавна нелюбимого хуторскими, еще со времен кулачек и земельных переделов – в голое немилое Спасское, вместе с тещиним этим домом, со всем скарбом. Буду наново ставить – шире окна пущу, подумал он, а то как в тюряге. Да, кроме Спасского некуда. Одно, от силы два лета еще можно продержаться, потом все равно переезжать. Уедет, а все его останется здесь – доживать, рушиться. Дом материн останется, негоден на перевозку, могила ее с теткой. Речушка их, Кызымка, по-татарски это «девочка» значит, лога с родниками, в совхозе ни одного родника нету. Огороды, та же осина останется в огурешнике, на коре которой разрослись и во что-то грубое и непонятное сплылись две его начальные буквы, вырезанные в мальчишках, – прахом все пойдет...

Что-то непонятное ему и тоже грубое, которое он по примеру живших тут своих дедов мог бы назвать одним лишь словом «жизнь» и на этом слове, как и они, свои раздумья закончить, – эта самая жизнь распоряжалась им как хотела, а он ничего сделать не мог, не выходило по-своему. Потому, может, он не Павел и не Пашка даже, а Паша. То вот взяла оженела, невольно, не давши даже подумать, грешком его в послеармейском гулянье воспользовалась, привязала к постным кулугурским окнам этого дома, к чужому немилому его запаху и обряду – а то уже и отсюда выталкивает, в совсем какую-то другую, неизвестную жизнь, в чужень, но далеко не отпускает, не дает воли взять и махнуть куда-нибудь подальше, хоть к тем же залам теплым, где поют, все равно где привыкать, корешки слабенькие пускать... Не дает, и тяжело с непривычки думать об этом, а думать надо.

В репродукторе родилась новая какая-то, иная музыка, такая тихая, что вначале он не мог ни понять ее, ни

угадать. Она была словно продолжением тишины, изда- лека заводила, невесть откуда, и в расстояниях, которые другим звукам надо было враждебно пробивать силой и отточенностью, была везде одинаково своя, не чужая. Она была и ему своя, он остановил сбитые в ремонте трактора пальцы с челночком, слушая.

Где же ты, подруга-а-а,
яблонька моя?
Я знаю, родная,
ты ждешь меня, далекая моя...

– Ложись давай, – сказала жена сурово, кончив под- считывать и думать, завязывая узел. – Ну-ка, положи это на нижнюю полку и ложись. Разохотился он. Спать надо.

– Восьми еще нет, – сказал Паша, засовывая узел в шифоньер, в самый низ его, и мрачней – опять...

Поскорее бы весна. Сетка от гвоздя в простенке вы- тянулась метра на полтора, можно было бы, пожалуй, закончить ее сегодня. Он отвернулся от лампы, посмо- трел, приглядываясь в полутьме, в строгое, значитель- ное лицо жены, усмехнулся:

– Что теперь мне с тобой ночью... баранов считать?

Жена обиделась – она в последнее время часто оби- жалась; завозилась, раздраженно хлопала подушку и повернулась задом. Чует тоже, что неладно, не в сла- дость получается все. Но не жалеет, не из тех, чтобы по- жалеть. Все равно зря старалась, будто со злорадностью подумал он. Ладно, лишь бы сына, все окупится. Весной уже будет – поскорей бы, что ли, весна.

– Давай-давай, – помолчал и уже зло сказала в стенку жена. – Мне твоя забава не нужна.

– Да восемь всего – ты что?!

– А мне что, что восемь? Свету нету, ну и нечего расслаивать. Что мочи нету, что находились за день – этого он ничего не понимает. Я вот завтра подыму – пораньше!..

Как они быстро этому обучаются – говорить так... в третьем лице. Не позволяя себе и все же раздражаясь, он приткнул деревянный челночок за раму зеркала, накиннул телогрейку и сунул в карман папиросы и спички.

– Куда?

О Господи, подумал он; ну, ладно.

– К другой.

– Дурак.

В сенях под общей с домом крышей стыло и горько пахло чердачной золой и осиновыми досками, которые сушились там, наверху; пахло, пополам с промерзлым дегтярным духом избы, еще снегом, но вроде не буранным, не ветровым уже. Он не сразу, никак не мог привыкнуть, нашел в темноте ручку, открыл дверь, шагнул во двор, и нога его сбила легкий порожек навевшегося ночного снега – вот он откуда, запах этот. Снег идет.

Снег шел неслышно, неспешно, пока прожившие еще один день люди спали. Он спускался с невидимого неба, нежно задевая иногда лицо, садился невесомо, и лишь задержав дыханье, можно было услышать тот ласковый, едва уловимый шорох и треск ломающихся, сминающих друг друга слабых снежинок – что тише бывает? Мартовская зима торопилась испробовать все свое на всем: на темных кустах в поле, на воробьях, натерпевшихся холоду в застрехах, на человеке самом; и вот не успел сойти буран, как опять она сыплет и сыплет мельничкой снег, только уже другой, уже снежок, гостинец – будто грехи отмаливает, то сварливо-вздорное, тоскливое, что накричала за неделю буранов человеку и покорному

зверью. Ну, спасибо. Что-то подступило в нем, непривычное – спасибо... Вот так стоять, слушать снежок и зимнюю тишину, им заполненную, видеть лишь белеющие, скрывшие все собой сугробы и смутное темное небо над ними, в тоске ловить запах высоты, спустившийся вместе с этой, по всему свету, ночной порошей – ничего не хотелось больше. Хотелось, может, не одному быть, но этого уже нельзя было.

1981





День тревоги

После безрадостного, мутного утра, ветреного и холодного, стал похлестывать дождь. Его порывами наносило из-под высокого, от горизонта до горизонта заполненного блекло-белыми тучами неба, и тогда на прибрежные кусты налетала сырая осенняя дрожь и начинали шуметь смутно и стонуще ветлы, покорно клонясь и раскачиваясь под безответной своей долей, свинцовела река. Тучи шли споро, слитно, сплошным ледяным полем – поверх взбудораженных тревожных рощиц, рябой воды, сизо распахнутых далей; и все окрест – до недавнего времени мирное, летнее – казалось будто бы врасплох застигнутым подступившими холодами, все было неприкаянно, сиротски продуто и охвачено непрерывным изматывающим непокоем, от которого нет спасения ни в природе, ни даже в доме с крепкими, надежными стенами.

Временами солнце посылало в небесные прорехи один-два рассеянных луча своих, ветер тогда веселее, рьянее трепал кусты, насильно сушил, а скорее сдувал с листьев и веток холодные дождевые капли; и отдыхающий в этих местах на остаток отпуска Самохвалов, мол-

чаливый, внимательный глазами человек лет тридцати, пока добрался с реки до первых дворов, тоже успел несколько раз промокнуть и высохнуть и весь продрог. Задами, обходя кучи соломистого навоза и посеревшие, некогда белой глиной мазанные саманные баньки с золою у стен, прошел до поместья, где квартировался. Сапоги скинул в сенях, на заслеженном половике, а снять телогрейку не решился – совсем застыл. Нигде не найдешь в такую погоду тепла, даже в избы забредает и поселяется надолго сырость, пока однажды не соберется хозяйка испечь в большой печи хлебы; и хочешь не хочешь, а согреться надо было как-то самому. Накрыться бы потеплее и уснуть сейчас, переждать непогодицу, как звери в спячке переживают нашествие зимних холодов. Это, должно быть, хорошо, с некоторой, единственной сейчас отрадой думал он: проснуться весной, во времена которой больше, чем когда-либо, хочется жить и за это прославлять жизнь, когда зверь человечески умен, а человек высок в себе как бог, и ветер скорых перемен сладок и многообещающ, и все кругом мало-помалу просыпается под солнцем новым, готовится к новой жизни... Только вот чувствуют ли они, звери, во сне, как течет время, отпущенное им на существование, как неозвратно малыми быстрыми долями бежит оно, оставляя позади – жизнь?.. Чувствуют, наверное, но едва ли понимают; и нам тоже не надо бы понимать, знать это... Но мы-то понимаем и потому беззащитны перед жизнью и ничего не можем сделать, тратя лучшие свои силы на борьбу с мелким и вязким в себе и вокруг, мы только видим кругом жизнь, а сами никак не можем, не успеваем жить – осознанно, свободно, чувствуя каждую минуту ее, радуясь каждому ее подарку... Мы не умеем жить, а кто нас этому научит? Никто.

Неуютно, несколько тревожно было жить ему, оседлому по натуре, вдалеке от своего места, от дома – тем более в такие вот дни, лишённые природой всякого участия к человеку и ко всему живому. Это порой, как вот сегодня, особенно донимало его: он тогда становился неприятно замкнутым, самому себе тяжёлым и будто переставал понимать, что и для чего делает, зачем он здесь с незнакомыми в общем-то людьми, разговаривает с ними и слушает их, и какое им дело друг до друга, когда они ему нисколько не нужны и он им тоже, и он рад бы не видеть и не знать их, не знакомиться неизвестно с кем и зачем... Черт дернул его заехать сюда, а потом случиться этому неблагоприятию природы. С вечерним поездом, сегодня же, думал он, – непременно, хватит! Сельцо за эти дни будто вымерло, одни грязные собаки бегали да изредка грохотал улицей трактор, сотрясая венцы и стекла их старого, по-крестьянски пустого – все около стен – дома. Из ближайшего леса даже сороку пригнало сюда холодами; вон скачет она боком по коньку амбара, высматривает что-то во дворе, и ветер со всех сторон налетает, топорщит ей перья, разворачивает за хвост, а поверху все идут и идут, будто из прорвы какой, высокие без прогалин тучи, и конца-края им нет...

Хозяйка что-то месила в чуланчике; а в передней – он с порога увидел это – гудело в аккуратно побеленной голландке пламя и иногда пыхало, будто кидалось к щелям дверцы, угрожающе жадно лизало подкоптившееся устье, и по всему дому вместе с горьковатым, Бог знает каким приятным сейчас жилым дымком расходилось понемногу благое тепло.

– Да вот, затопила, – охотно сказала хозяйка, по обычаю всех простых и разговорчивых людей будто

продолжая уже начатый разговор, и разогнула спину, вытерла утиркой руки, ясно глянула ему в глаза. – Кизячишко-т хоть и к зиме приготовлен, ну да ладно... летний-то холод холоднее зимнего, вон как пробирает. Что, думаю, колеть в своей избе, коли топка запасена: взяла да и затопила... Вас-то что на реку эту понесло, никак не пойму? Сидели бы дома, голландку стерегли. Человек вы вольный, не то что мы... это нам ни свет ни заря вставай, – говорила она, прибирая на столе, сноровко расставляя посуду и вытирая клеенку, – Бог знат куда беги, коров обиходь... каторга, а не работа. А вы бы спали. Я вот в девках всегда спать любила, без зазору говорю, а спать-то и не пришлось, все нужда в бок толкала, будила... Вот мы сейчас чайку, а там, глядишь, потеплее в избе станет – спите.

На плите уже давно сипел и свистел тонко чайник-старичок с подпаленными боками, ветер менял тягу, рвал пламя, и отсвет его метался в притененной непогодой избе, плясал на темной бревенчатой стене и на полу, даже на низкий потолок попадал; и только теперь Самохвалов почувствовал, что он в жилище и укрыт от разгульной недоброй силы, разыгравшейся по всему свету, загнавшей лето неизвестно в какие лесные затишки и обители.

– Сызмалу мы ко всякой погоде привышны, – рассказывала хозяйка, усмехаясь грустно и поглядывая в окно, прихлебывая чаек. Она была еще не стара, телом суховата и сильна, без нынешней, уже и в молодых заметной дряблости; но жесткие прошлые годы брали свое, война, как борона, проредила народ, с корнем выдрала, убила одних, искалечила и состарила других.

– Совсем ишшо девчатами, в войну-то, за овцами

ходили... по всякой погоде, не разбирали. Град ли, чи-чер – мы всё в поле. Одежка на нас кое-какая, обувька тем боле; прихлынет дожджущко, а мы, бывало, к овцам, да под них... в степи ведь, что поделаешь? Были мы с Наськой Кочетковой сроду, ходили сакманили, а дед Купырь командовал. И, помню, в сорок третьем, зимою, такой приплод нам вышел, какому и в мирное время не бывать... Молились, грешным делом, чтоб дохло побольше. Нет, не дошли. Сколь мы этих ягнят у себя на пузе перепестили, в подолах таскаючи, – один Бог знает; а ягнята-т мокрые, тока-тока вышли, а мы их – все на руках да в подолах; и вот, бывало, так-то обхлюстаешься за день в мокроте этой, так-то изгваздаешь себя, что не токмо грудка и живот, а и онучи, и лаптешки – все кровями да слизким этим набрякнет да замерзнет... Люди нам: «Ой, глядите, девки, – издеете вы себя, искалечите!» – а нам что... нам все ничего поначалу, и хоть и пот цыганский пробираит, ну дак что ж... Молоды были, глупы, по четырнадцати тогда еще не исполнилось – что с нас возьмешь?

И вот нас и туды, и сюды – в район повезли, медалей дали; на собраниях председатель Шишаков, бывало, руку на нас протянет, говорит – вот с кого пример брать надо, вот кончик нашего штыка! Нам и по восемь ягнят каждому в награду дали. То исть не дали, а наградили: так и прочитали постановление – дать им по восемь ягнят. По тому времени это прямо богатством было. Уж мы и ходили, и просили, все пороги у Шишакова обили – нет, не дает. Купырю, правдась, шесть штук отписал да двух ярочек – нельзя было, он мужик, он свое отстоит, не то что мамани наши. Что ж, поплакались-посморкались, на том и остались – папаньки-то наши далеко, на фронту, заступиться некому. Загнули

лапоточки да пошли. А на другом годе снова окот страшный, прямо как назло... и опять все сохранили, сами тому диву дались.

Хозяйка покачала головой – и не с печалью, а с удивлением каким-то: то ли окоту памятного тому, то ли своей глупости в те давние времена дивилась; обвела рассеянными глазами пустую свою вдовью избу. И тяжело поднялась, пошла подложить кизячку в прогорающую печку. Она, казалось, вовсе не смотрела на то, слушает ее постоялец или нет. Она просто рассказывала; и то, что ее слушали теперь уже с интересом, принимала как само собой разумеющееся: если уж она рассказывает, стало быть, это нужно и к месту, и так и должно быть, зряшного она не скажет. Тут же, на листе покрашенной жести у поддувала, тупым топором расколола с ребра пару кизяков, открыла дверцу и, словно совсем не боясь ее раскаленного малинового зева, не торопясь затолкала туда половинки. И продолжала, не закрывая дверцу, греясь в красноватых отсветах жара, взгляд ее все тянулся к огню, привороженный точно:

– Может, с тех пор и не могу согреться, чуть что – сразу запаливаю печь. Что их беречь, кизяки?.. Руки свои, на себя, чай, всегда наделаю. У нас ведь как: зима, что помягче, сиротскую зовется – сирот, значит, не так студит. А те зимы, по нашей-то одежке, куда как сердитые были. Натаскаешься с ягнятами да с кормом, ноги настынут, руки с пару разойдутся – ну хоть криком кричи. Кричали, знамо дело; а дед Купырь, бывало, расстроится, на нас гляючи, вот и ходит по кошаре, вот материт-то всех... Мы накричимся-наплачемся, а он наматерится, ну и опять за работу...

Она еще поправила кочережкой разгорающиеся ки-

зяки, снова села к столу, и он сам налил ей чаю, наколот тяжелым, со старинки еще оставшимся ножом комовой сахар и подложил ей. Чаю он уже не хотел, согрелся, и теперь сидел, слушал и помнил свою мать, руки ее, которые тоже без боязни совали в огонь поленья и кизяки и во время топки так же измазаны были печной сажей. Хозяйка на это только кивнула, усмехнулась чему-то.

– Я вот все слышу – морозы тогда, мол, крепче были... Не мороз силен – одежда худа. Ну вот: перетомились мы втору зиму, перебились кое-как – ни сыты, ни голодны. Опять нас Шишаков штыками называл, вопрос собранью задавал: как, мол, дадим премию иль не дадим? Народ зашумел, кто говорит – «надо дать, как же...», а кто наоборот, то исть чтобы не дать. «Дорости, мол, еще надо до премии-то». Слава-те, сосед наш, дядя Егор, упокойник, заступил: вскочил с места, аж запрядал весь! «Вы, – говорит, – их не видели, когда они работали, в кровде да слюнях все ходили, а я, слава Богу, каждый день их встречаю, вижу... сердце кровью обливается, как погляжу! Коснись, говорит, до меня – да я бы в борозде лег, а детей своих на такую делу не пустил. Вы, такую вашу мать, уж больно легки на словах – вы на деле попробуйте!.. Дать!» Он и повернул собранью-то, а потом и к Шишакову ходил. Тот и отдал нам по три ягненка-осенчука, а остальное, сказывают, с кем-то поделил... тоже надо было жить. В те поры и заработала я килу... а кому я нужна с килой? Никому. Так и осталась бобылихою. Наська-то крепкопузая была, отхватила себе парнишку, а я осталась. Судьба.

– А где ж он сейчас, этот... Шишаков?

– Он-то? Он теперь где-то в верхах, высоко-о! Мужик он неплохой был, ничего не скажешь: из себя видный, строгий такой, взгляд прямо прокурорский – ох и бо-

ялись мы его! И людей, дай тебе Бог, как видел и знал, понимал. Бывало, увидит нас, подзовет, по плечу похлопает и говорит так: «Давайте, девки, я на вас как на себя надеюсь. Такой сейчас момент, что надо хоть не спать, а падеж не допустить: вашим отцам эти бараны пойдут... Как, с фронта-то пишут?» – «Мало пишут». – «Ну, ничего, ничего... победа скоро, нам теперь до хорошей жизни немного осталось». Ну, а вскорости, как фронтовики стали вертаться, потянулись они все от нас, как гуси на юг, начальники, – кто в район, а кто, глядишь, и в область, вона куда! Оно и лутше, от греха подалше: отцы-то наши как узнали, што тут они творили, да как стали разбираться... не, так-то оно лутше. Нашего-то в район забрали, секлетарить. Уж либо в сорок семом я его увидала, в клубе-то. Речь нам произнес, как сейчас помню: мол, такой теперь момент (это любимая его приговорка была, про момент), что поднимаем, разруху ломаем, надо-ть поднажать. Мол, уж и успехи есть: в столице, в Москве то исть, строят какие-то высокие здания, ужас какие большие да дорогие, пять штук, гордость страны нашей. И Днепрогэс этот самый, мол, поправили. Ну, знамо дело, свой он человек: где семенами колхозу поможет, где повинность какую смягчит, мы и этому рады были. Оно, знаешь, неплохо это – наверху своо человека иметь. Отец наш, славу Богу, живьем пришел с победы, германского матерьялу привез, до сих пор вон у меня две наволочки да юбка из него сшиты лежат... Прийти-то пришел, а за работу так и не взялся путем; в полгода его скрутило, страх смотреть – истончал, бороною порос... говорил, что контузия. Так и похоронили. И, помню, на похороны последнюю мучку по сусекам выскребли, а заместо сыты свекольный квас людям добрым подали – он, свекольный-то, сладкий.

– У нас в селе тоже голодали, мать рассказывала. Да я и сам помню, – сказал Самохвалов. Утренняя тягость сошла с него, он пригрелся, присмирел желчью. – Картошку колхозную, прошлогоднюю, копали, на крахмал перетирали – ею и жили.

– Ты гли-ко, – будто бы обрадовалась, удивилась хозяйка, совсем родственно к нему, покачала головой. – И у нас такое ж было. Не давали по белу снежку копать. А потом земляца окаменеет, до весны ждешь. Весной разрешали.

– Перемоглись?

– А куда денешься – перемоглись. Летом, когда еще работа была да зелень – так-сяк; а зимой маманя сшила нам с сестрицей ряднишную сумку, ну и пошли по дворам. Нас все время Хохлишки выручали – есть здесь за пятнадцать верст селения такая. А потом еще в Максимове, там тоже хорошо подавали. Перемоглись. Да и легче с грызей ходить, чем работать. А маманя наша куда с умом была: ты, грит, медаль свою, медаль повесь, все больше дадут... Ну да-к не мы одни. В ватажки собирались, чтоб, не дай Бог, в дороге не замерзнуть. Раз идем так в Куртуны, а навстречь другая. Не толчитесь понапрасну, говорят, мы уж там побывали. Ах ты, беда какая! – повернулись да и пошли, а ведь уж верст никак двадцать прошли, у самой у околицы были... А когда сестрица ноги под весну пообморозила, так и отказалась я совсем: лучше, думаю, кору толочь буду. И тут как раз семена везть, тут мы и ожили немного. А сейчас вот куска хлеба не ценим, особо городские, молодые эти. У меня кум в городе вашем работает, сор всякий собираит и вывозит; так, говорит, порою прямо буханками вываливают, безо всякого стесенья. Кум-то им свое говорит, а они – свое:

если тебе, говорят, жалко, так бери и ешь – что ж, мол, смотришь-то?.. Вот какие люди пошли.

– Да что люди, – сказал он. – Люди-то, в общем, те же – времена другие.

– Вот и я говорю – больно уж скоры они забывать. Нельзя ничего забывать, всему надо счет вести. А то на всех углах кричат – всё «мы», да «мы», да «мы»!.. Кричать всякий сумеет, а ты вот попробуй проживи. Ну как, согрелся маненько?

– Согрелся, спасибо.

– Не на чем, милок, вода – она и есть вода. Ложись-ка. Я вот тебе на маманиной кровати постелю, подушку большую принесу – поспи. Там тепло, за печкой-то. Вздумалось тебе ходить, холода собирать.

– Спасибо, тетя Мань.

– Не на чем. Вот когда степлеет, тогда и ходи. У нас тут лесок за речкою; так-то сладко там осинки шумят, прямо баюкают. Сроду я там, в девках, одна сидела, суженого ждала... – Она засмеялась, отдувая чайный парок над кружкой, застеснялась сама себя – даже покраснела немного, глазами блеснула. – Он и пришел, с костылем. Ты мне, грит, покосы тут не мни, девка, не приваливай, после тебя траву, грит, никакой косой не возьмешь, не подымешь. Марш отседова! Ну, раз-другой так, а потом и пришла я к нему, в этот вот дом. Он, Петро-то, хроменький с войны пришел, а жену совсем недавно перед этим похоронил, от грызи померла. Видно, говорит, на роду это мне, – с грызными жить. Хороший был мужик, и молодого не надо. Двоих парнишек на ноги поставил, в городах теперь. Бывает, приезжают, особо младший, Саня, который при мне вырос. Ты, грит, мне только там и стели, на бабкиной кровати, – как в колыбельке там,

печь пошумливает, и уж больно сны мне там хорошие снятся... Одна я у них осталась.

Она выбрала со своей заправленной по деревенской моде кровати подушку помягче (пощупала, видел он, хотя знала их, должно быть, наперечет), двумя-тремя привычными движениями взбила ее и понесла за печку. Достала из сундука и туда же отнесла и легкое, которое она «каневым» называла, одеяло, сказала:

– Как раз под этим одеялом Санек всегда спит. У самого уж дети: а ночью встанешь, глядишь – разбрыкается во сне с жару, ну прямо как дите... где подушка, где одеяло – не поймешь. А женка его жару не терпит, не могла, на полу всегда ложилась. Я уж ей и так, и сяк: гости вы, мол, зачем же на полу-то? – нет, не хочет на мою. Я, грит, молодая, у меня бока мягки, а спать захочешь – и на бороне уснешь. Так и спала... Давай, сынок, ложись; а я на базу сбегая, пораньше созывают чтой-то. Может, окно шалью закрыть от свету?

– Нет, не надо, спасибо.

– А то закрою. На улицу-т сейчас прямо и выглядывать неохота, такая погода. Спи.

Он слышал, как немного погода стукнула избяная дверь, щеколда калитки брякнула, в одинарные окна сыпал, стегал холодный дождь. Тетя Маня, Марья Федоровна, опять ушла в него, как и рано утром уходила. До скотных баз было минут двадцать быстрой ходьбы по-над рекой, тропкой, то и дело ныряющей под выстуженные, день и ночь шумящие кроны дерев. Ему представилась все та же, рябая в затишках, под крутями, и с мелкими и злыми бегучими волнами на ветродуях вода, холодный сырой ветер, небо высокое и беспокойное – и не было, не оказалось вдруг в нем сейчас ни этого звериного, инстин-

ктивного смятения перед непонятным бытием своим, ни сожалений о себе и других. Оставалась тревога, но с ней, знал он, ничего ему не поделаться – ни здесь, ни в городе, нигде на свете. Он подумал, что вряд ли уедет нынешним вечерним поездом, вряд ли, и что сюда, по-доброму, надо бы почаще приезжать, места здесь хорошие и люди тоже проще и лучше. Здесь проще жить, вот что тебе нужно – хотя бы на время. «А ты попробуй проживи...» – вспомнил он хозяйку тетю Маню. Да, попробуй-ка...

Он примирился со своим положением, с неурядицей погодной и душевной, что выпала, застала его здесь: уже неприятно, стыдно стало недавней своей взвинченности, слабости по такой, для другого человека вовсе бы не значащей ничего причине. Но тревога оставалась, только уже другая совсем, особенного рода, незнакомая досель, и он никак не мог понять ее в себе, не мог определить, что же она значит для него и для других – хотя она значила что-то важное и нужное всем, и он это чувствовал. Он долго лежал так, думал, что-то вспомнить хотел и не вспомнил, сон не шел к нему.

Ну, ладно: ты не умеешь жить, не умеешь относиться ко всему со спокойствием разумного начала, вложенного в нас, – начала, которое знает, что «пройдет и это», все пройдет, и что дороже и спасительней всего для человека внутреннее равновесие, гармония между «хочу» и «могу», между тем, что произошло и что могло бы произойти, не будь наш мир таким... то есть ты не можешь принять мир таким, как он есть, – не смешно, не жалко ли это?

Не смешно. Ты погружен в жесткий мир людей, и дай Бог, чтобы тебе получше было. Жесткий потому, что ты ожидал увидеть его более приемлемым, мягким. А он

ни жесткий, ни мягкий, он такой как есть, и ты бессилен как-либо изменить его. Надо по-людски, человеком прожить то, что тебе дано, – ну и что, много ль нового ты этим сказал? Да ничего ты не сказал, ничего сказать не можешь, ты нем, как собака, ты обречен много видеть, что-то неопределенное, томительное чувствовать и молчать, и так всю жизнь. И других после тебя будет мучить все та же неизреченность, неволя внутренняя и бессилие что-либо понять и сказать.

И все же надо получше прожить то, что тебе дано, опять подумал он, вот как эти люди. С достоинством всякого живого, каждого в своем роде единственного, неповторимого – хотя бы и ноги об тебя вытирали, без этого не бывает и не будет; иначе что ты, кроме достоинства прожитой тобой жизни, донесешь и вспомнишь к концу?.. Ты сегодня утром нехорошо подумал о людях, а значит, и о себе самом, ты совсем было один остался – зачем?.. Ладно, оставим это. Я тоже, как и все они, как тетя Маня, живой человек – всем нам бывает нелегко, каждому по-своему. Поспи. Может, все еще и к лучшему обернется, без этого тоже не бывает... Так что ж она значит, твоя тревога? Не знаю, ответил он, никак не вспомню.

– Вставай, милоч, – сказали над ним громко, как-то даже весело. – Вставай, оглядись маленько. Вредно оно спать на заходе-то, в голове шуметь будет, как с угару. Глянь-кось, погода какая – видно, пожалел нас Бог, не оставил... Вот-вот, – сказала еще хозяйка, увидев, что он открыл глаза, – вставай, разгуливайся. Вся ночь еще впереди, выспишься, а на закате нельзя. У меня вон уж и чаек сейчас готов будет.

Она стояла, прислонясь спиной к печке, повернув к нему голову и улыбаясь, отчего стали видны новые морщинки и лицо совсем старушечьим стало, добрым и старым. Она, видно, только что пришла с работы и теперь, заложив руки назад, отогревала их. Низкий желтоватый закатный свет шел в окна, сеялся по стенам, по переднему в углу под иконкой столу, а в чуланчике сипел уже на керогазе чайник.

– Отдохнул маленько?

– Ох, спасибо, Марья Федоровна, отдохнул! А то с утра, по совести говоря... Лежнем стал, днем уже сплю.

– Да я уж вижу, что не в духах был; пусть, думаю, поспит, на то и отпуск даден. Вон и солнушко объявилось, глянь-кось. Только накинь что-нибудь, зябко еще на дворе.

Он вышел на низенькое, покосившееся без мужских рук крылечко, стал под окнами, и сразу его охватил каленый, сентябрьский будто холодок, заставил запахнуть куртку. Ветра и всего утреннего непокоя как не бывало, небо на закате совсем расчистилось от туч и мути водяных паров, бледный спиртовой огонь холода горел там, и стояла над окрестностями ясная тишина, ничем не нарушаемая, – разве что на станции, версты за две отсюда, одиноко свистнет маневровый, лязгнут сцепки и замолкнут в чистом, как осенняя вода, воздухе, да еще прострекочет в речных зарослях все та же, должно быть, сорока, Бог знает чем обеспокоенная в такой мирный час. Солнце сошло совсем низко, давая всему, ярко освещенному с запада, глубокие ночные тени – все оттого, что над головой и дальше на востоке недвижимо лежали плотные, серые с синим тучи; и лишь приглядевшись, можно было видеть, как они хоть и медленно, но неостановимо уходят к темному востоку, освобождая бледно светящееся небо.

Он долго сидел на еще сырой, почерневшей от прошлых непогодниц неструганой скамейке под окном, следил за уходящими тучами, на светлый, без багровости закат смотрел и думал о разном. Теперь он вспомнил то, что так трудно и безуспешно пытался вспомнить днем. Этого Шишакова он видел раз в президиуме большого торжественного собрания – там, в городе. Почему-то сразу обращал на себя внимание этот пожилой, в летах уже, с крупной и красивой седой головой человек; движения уверенные и плавные – ни одного лишнего, глаза с прищуром, строгие и все время устремлены в зал, на людей, сцепленные руки покойно и прочно лежат на темной полировке стола. Назвали его фамилию, он с неожиданной, мягкой и плавной какой-то силой поднял свое тяжелое тело, не торопясь пошел к трибуне. Впрочем, тот ли самый это был Шишаков или другой какой – кто их знает?..

День, славу Богу, кончился и даже распогодился к вечеру, смута рассеяна, закат не сулил назавтра такого, как нынче, изнуряющего ветра. Все было хорошо, все почти как надо, и только чуть посасывала сердце тревога, которую унять ему было нечем.

Из сеней, придерживая на груди концы платка и поживаясь, выглянула хозяйка, посмотрела на него с улыбкой, кивнула в степь, на закат:

– Ну как, лутше теперь?

– Да уж не как утром.

– То-то. Не-ет, – сказала она, – места у нас хорошие, зеленые – недаром городские наезживают. Ну, иди, милоч, ужинать пора. Картошку-т жареную уважаешь?

– Я на ней вырос, тетя Мань.

– Вот и ладно. А то, думаю, чем гостя-квартиранта

угостить? Прямо и не знала. У меня и молоко, сметанка, и яички с салом есть – чай, хватит.

– Спасибо, тетя Мань, хватит.

Шар солнца, огромный и малиновый, опускался в сизую дымку горизонта и будто плющился от своей разогретой тяжести. А потом светило стало печально тонуть, меркнуть так покойно и обреченно, таким покоем и теплом наполняя бледно-голубую высоту над собой, что сердце замирало, чувствуя угасание дня, угасание невозвратных минут своей жизни.

1982







По причине души

Колокольцы





По причине души

*Понося платье, да сложить будет,
Потерня горе, да сказать будет.*

Русская народная песня

Часть I

1.

То лето, два с небольшим года назад, выдалось на редкость жарким, угарным. С ближних полденных степей, едва только сбежал снег, пошли суховеи, день ото дня злей, беспрестаннее: хозяйничали, куражились на дорогах и пустырях, уже в начале мая подымали на воздух паханое, не успевшее схватиться нежными зелениями. По теплой весне взошли они было дружно, взыграли разом, однако уже вскоре выдохлись на подъеме, не на шутку приморились. Иногда нагоняло вроде бы тучи, темнело, погромыхивало окрест, но ничем не разрешалось, одной лишь серой пылью сыпало с небес;

и в районе, и в области даже стали поговаривать о недороде. На селе тоже говорили, с охотным сожалением и, по нынешним временам, без всякого страха, опасения за себя. Но то ли память недобрая о прошлых, послевоенных, и других засухах, вечное пугало стариков, то ли всегдашняя забота о выпасах и сене, которых и в хорошие-то годы не хватало, – отчего-то беспокойно было на душе.

Не переживал особо за хлеб и Тимофей Иванов – так или иначе, а на прокорм колхоз выдаст. По совести говоря, он в нем не нуждался сразу, немедленно, в его амбаре стояли два крепких высоких ларя, засыпанных зерном почти доверху; если с толком расходовать, то хватит года на полтора, а то и на все два. Сложнее было запастись на зиму корм. Поэтому он еще с Троицы начал подкашивать где придется: в пойме реки, по бочажинкам, в глухих степных овражках, один раз даже полынные и бурьянистые краешки у дальней клетки ржи сбил, порядком набралось. Его изуделанный весь сварочными швами старенький «Беларусь» с тележкой в последнее время так и ночевал на задах, машинного двора не видел – садись и езжай, куда надо. Сена были, конечно, неважные, не похвалишься, но у других, кто долго раскачивался, не завелось и такого, а Иванов на зиму, считай, обеспечился, со старым сенцом до весны протянет.

На закрепленной за ним по жребию кукурузной деляне он успел сделать лишь одну междурядную, во второй обработке надобность отпала – не росли ни кукуруза, ни сорняк. То, что взошло, за несколько дней стравили скоту и приказали Иванову закультивировать сплошь, рассчитывая, видно, под осень занять поле озимыми, а его самого с соседями по делянкам бросили на

вывоз с железной дороги угля и подтоварника, потом дров из лесхоза. Скоро кончилась, однако, и эта работа, сенокоса тоже не предвиделось, и волей-неволей стал Тимофей чем-то вроде безработного, если не считать всякой мелкой подвозки на стройке и скотных базах.

За это время он как следует подновил сарай, навел, по выражению председателя сельсовета Авдеенко, отставного капитана, «марафет» в личном своем хозяйстве и принялся было делать галерею от сенец дома до наружного крыльца. Досок, однако, не хватало, их приходилось понемногу доставать на стороне, и дело двигалось медленно. А тут на несколько дней приехал из районного профтехучилища сын Василий, Васька, обучался там на шофера. Была когда-то у них с Аксюткой и дочка, но еще дитем померла от заражения крови, напоровшись ногой на гвоздь. Похоронили, помнили долго, и хорошо, что сын к тому времени поспел. Васька, парень с руками, живо собрал и наладил всю рыбацкую снасть, которая имела в доме, и раза три посидели они утренним времечком на большой их реке, приносили рыбешку ко столу. Там, где берега были открыты, трава пересохла, выгорела на корню; невероятно расплодилось кузнечиков, сплошной звон стоял, и стоило выйти, хрустя сушнячком, на круть повыше, поголее, как они целыми стайками порскали из-под ног в разные стороны, сыпались в воду, где их тут же, затеявая толчею и плеск, начинала теревить мелкая рыбешка, хватала рыба покрупнее, все больше голавль. Они так и рыбачили, с крутей на кузнечика, и были довольны, давно так не бралась рыба.

И все ж без серьезной работы лето было скучноватым, пустым, несколько даже странным в ожидании та-

кой же пустой осени, долгой несытой зимы... Василий вскоре уехал. Всех курсантов, кто мог водить трактора, разослали на культивацию и запашку ничего не давших площадей, трактористов на это спешное дело в селах не хватало. В один из вечеров походил Тимофей по двору с топором, поправляя обушком слуги варка, сосновые горбылины забора; даже уборную, которая в любом хозяйстве последняя пристройка, подладил, дверку перевесил – не оставалось работы, а которая была, та требовала материалов. Он, конечно, и сейчас мог бы заняться чем-нибудь, хоть тот же варок переладить, пустить пошире, тесновато было в нем корове... Но праздное, томительно бесцельное, пришедшее с этим летом в их бывшую станицу Кузьминовскую, теперь Кузьминовку просто, и во все здешние села и дальше, – эта праздность невольная отбивала всякую охоту к делу, всех расхоложивала, и его, Тимофея Иванова, тоже – не лежала душа. Отыскал консервную банку, лопату захватил и задами, от лишних глаз, отправился к скотным дворам накопать червя. Надо было как-то проводить это пустое, в кои годы выдавшееся время, а рыбалка для этого по всем статьям годилась – хорошее занятие, мирное, хоть душа возле воды отмякнет. Сиди себе на бережку, свежо тиной пахнет, размокшим таловым корнем и рыбой, вода колышется ласково, плещет ранним солнышком в глаза. Как вроде бы примиряешься со всем, никаких тебе забот, кроме как рыбу добыть, – все пока позади, в стороне, а то, что будет впереди, то будет, и никуда от него все равно не уйдешь...

Встал он рано, когда жена еще и корову не доила, – встал и сразу засобирился: достал заткнутую за решетник амбара связку удочек, отобрал из них две донные,

с хорошими фабричными грузилами, и одну полегче, на голавля. В легкий полуведерник сыпнул совок отрубей для притравы, туда же поставил банку с червями.

– Ты гли-ко!.. – сказала Аксютка, увидев его сборки. – Со- всем он, гляжу, с Васькой избаловался, к рыбалке при- пал... К Угорам бы лучше съездил, траву по лощинам посбивал, чем лягушек по берегам пугать.

– Лето нас балует, – буркнул Тимофей, – Господь Бог. Не все ж сена, когда-то и рыбу надо ловить.

– Ну, твое дело... Сам, чай, будешь скотине в глаза глядеть, зимой-то. Вспомнишь тады про рыбу.

Спросонок ей, видно, не хотелось затевать разговор, Иванову тем более. Всегда б ты такая была – речистая, думал он, глядя вслед жене, как шла она с подоиником к их неказистой по статям коровенке: так ведь нет, сдуру порой разойдется – хоть со двора беги... И по утрам, вставая на часок, чтоб проводить скотину, одевалась Аксютка не кое-как, а по-дневному, на староказачий манер: белая в мелких цветочках кофта, сборчатая в та- лии, юбка длинная, и лицо хоть и заспано, припухло, но глазами зыркает по-молодому, будто с вечерок только что вернулась.

Вот и сейчас шла к варку вольно, с ленцой вроде бы, небрежно отстранив от ног ведро, под темной рабочей юбкой от этой походки заметней становились ее силь- ные узкие, совсем не бабьи бедра – когда, как она все это сохранила? Сохранила вот. Жили они по-всякому, трудов немало приняли, а от работы, да еще от битья бабы, как известно, только в кости раздаются, вширь. А эта как девка. Бить он ее, конечно, не бил, хотя иной раз, может, и стоило, в работе жалел, когда это было можно, и теперь все чаще замечал, как она себя сумела

сохранить. И, кажется, стал ревновать, хотя поводов к этому, если поразмыслить, вроде не было. Так, ерунда всякая представлялась иногда; он в общем-то понимал, что в самом деле ерунда, но сердце уже не держало, ни в какую не хотело терпеть даже мысли о таком – а у кого они, мысли эти, не бывают? И он не выказывал, конечно, этого, зря не обижал, но по ночам, бывало, так любовно и зло обходился, что вконец обессиленная Ксения жаловалась, ему же: «Батюшки, ить я седня не работница, не-ет... Ложка из рук валиться будет, не то что вилы. – И тихо, заморенно смеялась: – Когда ж ты постареешь, милой мой... я бы тоже отдохнула». Слова словами, но каждый раз он заново, глубоко и зло, обижался на нее за это, будто и впрямь она ждет не дождется его слабостей, – и ничего не говорил, боялся, что она это поймет и сделает для себя какие-то ему неизвестные выводы. Так у них оно и шло, и все в конце концов оттого, что он родился в двадцать четвертом, а Ксения одиннадцатью годами позже. Иванов успел отвоеваться, хлебнуть на передовой и в госпиталях, потом еще шесть лет в танковых служил – а она где-то там бегала в девчонках, голопупая, совсем еще сопливка, росла, и так вот вышло, что ждала его.

2.

Он тогда вернулся домой в пятьдесят втором, весною. После какой ни есть, а все-таки живой армейской жизни, к которой успел привыкнуть, все показалось ему здесь глухим каким-то, забытым в степях, заброшенным. Люди жили словно через силу: пахали, сеяли, все вроде шло своим, издавна заведенным и Тимофею поначалу отрадным чередом, – но постарели, покосились

еще больше, наверное, чем их избенки, многих не было. Не было какого-то лада в жизни, какого – никто не знал. Работали много, праздновали мало, да и то все как-то в одиночку; разве что на выборы пиво завезут – вот и весь праздник. Иногда вечерами большой толпой, корогодом, собирались девки, медленно, из конца в конец проходили улицу, пронзительно неспокойными песнями будя наработавшихся вдов и стариков, заставляя поругиваться других, но и это веселье без подмоги скоро гасло: где они, женихи?..

Тимофей раз-другой сходил на эти вечерки, потом перестал – померла мать, забот прибавилось и в первое время не до девок стало. Еще не нравилось, не по душе было, что очень уж настырно его обхаживали, зазывали в каждый дом, норовили подпоить и даже таковским вот манером женить... «Ты, Тимох, прямо как не русский, – посмеивались, а то и кривились дружки его, кто уцелел. – Што вот кобенишься – девки тебе не такие, вина мало?! Пей-гуляй тут, в другом месте не дадут, такого раздолья не будет... Им не жалко, а нам тем боле». Не нравилось и будто бы стыд какой был чужой нуждой пользоваться – хотя, с другой стороны, какой же тут стыд, когда приглашают... И одно время стал даже ходить по задам, так было спокойней.

Всегда из бойких, Ксенька это быстро углядела и однажды встретила его там, остановила.

– Ты что это, Тимош, – все задами да задами... улица, што ль, мала?! – Она стояла у него прямо на дороге, слегла откинув на бочок русую голову и стараясь глядеть смело; но румянец выдавал. Он ей и не подумал бы дать тогда семнадцать, так справно все было у нее, и совсем не помнил ее девчонкой, не знал и будто даже

не видел никогда до этой встречи. – Гляди, парень, а то подумает председатель, что таскаешь чего задами...

– Ничего я тут, девонька, не таскаю – нечего тащить, не нажили еще. А ты чья будешь, что-то я тебя не помню?

– А Купреяновых, – засмеялась она. – Ксенька я, как же не помнить?! Это когда мы вас у Марьюшиных в амбаре заперли, когда вы там че-то с девками шушукались, на Спас... Это я и была, коноводила у ребятни.

– А-а... ну-ну, – сказал Тимофей, смутно припоминая что-то такое из далекого-далекого, дофронтowego. – Отчаянная была.

– Я и счас не проховенькая, – легко и весело сказала Ксения. – Не больно застенялась!.. А укреп ты в армии. Небось оставил там какую-нибудь, на конец к нам и не ходишь.

– Голову я там чуть не оставил, больше ничего.

– А че ж не ходишь?

– Да можно и сходить... – Вправду, что ли, сходить, подумал он, девка видная. Да и сколько можно дома сидеть – до старости? – Слышь, Ксень, а ты сюда вот подойди, вместе отправимся. Я тебя часов в десять пожду – а?.. Ты как?

Ни на какие вечерки они в тот раз так и не пошли, вдвоем как-то лучше оказалось. На четвертый, что ли, вечер она, дурачась как самое что ни на есть дитя, потащила его на огород к Егоровне, соседке Ивановых, – у нее, говорят, первые огурцы в округе, угостим девчат, Егоровне с этого не убудет... Пробрались тихонько через калитку, пошарили в плетях: нету огурцов, и темно – хоть глаз коли. И тут вдруг шаги услышали на задах, шорох, кто-то шел вроде бы к огороду...

Не хватало еще попасться, мельком подумал он,

стыдобы-то... Подхватил встрепенувшуюся Ксению, теплую и тяжелую, перемахнул ее за плетень, в глухой неогороженный сад, и сам прыгнул следом, упал в пахучую, влажную от вечерней росы полынь... Они лежали, вслушиваясь в шорохи темноты, стараясь уловить эти слышавшиеся им шаги. Но все было тихо, а потом вдали, на улице, звякнула гармошка, выплеснулся тонкий голосок частушки:

Эх-ха, ох-ха,
Без миленка плохо,
Плохо и досадно –
Д-ну, наверно, ладно!..

– Ну, пошли, что ли, – сказал он шепотом, приподнялся на локтях, оглядываясь по сторонам и ничего не видя. – Всамделе, воры нашлись... горе, а не воры! Где ж твои огурцы?

Но Ксения лежала рядом и молчала. Только сейчас он почувствовал, что ее рука у него на плече и странно, судорожно как-то сжимает его...

– Ты что, Ксень? – забеспокоился он, приобняв, заглянул в ее белеющее среди примятой мягкой полыни лицо. – Ты это... случилось чего?!

– Ничево... – сказала она невнятно, будто сквозь женский, девичий сон свой, и пошевелилась, сделала попытку привстать. – Ничего, Тимошенька-а... – повторила она из своего, далекого – и это его как плеткой хлестнуло... Господи, дурак-то!..

А сам уже обнимал, торопливо, с непонятной и противной самому дрожью в руках обнимал, а она только слабо каталась головой в полыни, не давала губы, что-то шептала ему – задыхающееся, невнятное, еще больше его разжигавшее. Она вскрикивала, плакала и ругала

его «Тимошкой» и «Тимошей», но все крепче прижимала к себе – словно кто собирался отнять его у ней...

Она еще поплакала, уже тихо, сама для себя. Тимофей гладил ее по плечу, ладонью осторожно вытирал ей слезы с лица, и ему было жалко Ксению, жалко и радостно, и виновато. Все будет хорошо, ничего, все это ничего. Он и боялся чего-то, и знал, что бояться нечего, все будет как надо... Ксения тоже, еще боязно, провела рукой по его лицу, и он улыбнулся в темноту.

– Чему улыбаешься? – сказала она дрогнувшим, обиженным голосом. – Осилил и рад, да?!

– Да не-е, Ксень... просто так я.

– Просто ему... А как я домой-то, такая вот, заявлюсь? Мамане что скажу? – И опять заплакала, припала к нему, прижалась. – Миленок ты мой хороший, миленький... тебе-то хорошо со мной?..

Тимофей ничего не ответил, пошарил по карманам и закурил.

– Ты гли, как руки-то дрожат... будто-быть кур воровал, – неожиданно усмешливо и ровно, хотя и слабо, сказала она, наблюдая из темноты, как он прикуривает. Такая уж она была, и потом, и всегда не давала натешиться мужской петушиной гордостью. – Хорошу хоть курочку-то увел?..

Он отбросил курево, опять было потянулся к ней; но Ксения отстранилась пугливо, оттолкнула и поднялась, качнулась, схватилась за него:

– Нет-нет, миленький... пошли отсюда, не надо. Господи, что делать-то теперь?!

– Все решим, девка, – твердо сказал Тимофей, крепче надвинул фуражку. – Не бойсь.

Они ходили на реку, в степные, теплые от дневного

зная балки, а то в купреяновской амбарушке, где летом спала Ксения, ночевали; и скоро Тимофей как-то уже и подумать не мог, что с ним будет кто-то другая, не Ксения. А осенью Иванов сосватал ее.

3.

Утро на первых порах разгуливалось медленно, будто нехотя. Где-то за пойменными лесами, в далеком, слюистом от тучек небе проплавилась узкая, малинового накала полоса – и долго виделась там, длилась, словно в раздумье, начинать новый день или еще обождать. Но рассвет понемногу расчищал небо, тучки светлели, незаметно отходили прочь; и оказалось вдруг, что кругом уже светло и солнце вот-вот выглянет, положит свой первый, призрачный еще свет и начнется день. Так это показалось Тимофею еще и потому, что шел он к реке уремой, понизу уже вытоптанной скотом, но еще сохранившей кое-какую тень и лиственную прохладу. А когда вышел на высокий берег, за обрезом которого далеко внизу посвечила в медленном движении вода, то понял, что надо бы встать пораньше, затемно.

Рыбачье место его, впрочем, было совсем недалеко отсюда и уже виднелось на повороте реки – долго ли пройти, снасть раскинуть. Он миновал паромную, с провисшим тросом переправу – состояла она из одной старой весельной лодки, – прошел опушкой рощицы, поглядывая иногда вниз, где крутила, завивалась в воронки стылая на вид утренняя вода, и узкой промоиной спустился под обрыв, попал на небольшой, метра на два выдававшийся в реку глиняный мыс, образованный частью самой породой берега, частью осыпью. Поросший жидким кустарничком, мать-и-мачехой и мелкой

острой осокой, он сразу круто уходил в глубину; день и ночь полоскался здесь в теплой летней воде подмытый лознячок, а справа прибилась и намертво вросла в глину, затянута намытым илом большая сучковатая коряга – приют всякой донной рыбы, от пескарей до тяжелых ленивых ментюков.

Тимофей быстро, не теряя дорогого утреннего времени, насадил красным, лакомым для сазанов наземным червем крючки донок, забросил их подальше за корягу. Ближе к берегу, где течения почти не было, сыпнул отрубей; но притраву все равно сносило, размывало, толку от нее было мало... Зачем же сыпал? Да так, усмехнулся он сам себе, на авось. Мало ль что на авось делаем. Для легкой удочки надо было наловить кузнечиков, хотя бы с десяток-другой, и он поднялся наверх, пошел по сухой, некогда веселой, а теперь солнцем будто выкошенной поляне.

Он кое-как набрал наконец прытких по сухому времени кузнечиков, стал было спускаться на нижний берег; и тут наверху послышались шаги, треск ломающегося под ногой сушняка, с ближнего куста сыпнуло тощей, блеснувшей в первых лучах росой. На поляну, огребаясь в ветках, выбрался паромщик Николай Савин, Заводской по прозвищу, невысокий, рябой и узкоглазый, по годам уже дед.

– День добрый, землячок, – поприветствовал он Иванова, зорко оглядел его узкими, «осокой прорезанными» глазами, рукавом отер с лица росную пыль. Был он, по своему обычаю, в легкой куртке-брезентухе, в литых сапогах, плечо оттягивала слегка парусиновая сумка, отмокревшая понизу, а в ней слабо подрагивала, жила еще рыба. Он, по его словам, работал когда-то в литейке

известного Кировского завода, часто по делу и без дела поминал: «вот мы на заводе» да «мы, заводские...». Эвакуировался вместе с другими на Урал, затем по причине здоровья или еще чего-то там мало-помалу отбился от своих, переезжал с места на место, холостячил, целину покорял. И вот очутился наконец здесь, на степной реке: приглубил в Кузьминовке вдову и теперь впервые, наверное, за все свое бродячество жил своим двором. По-маленьку работал, рыбу с реки брал, попивал – обжился за семь лет и куда-либо трогаться уже не думал, все было перепробовано. Да и года подпирала, за шестьдесят.

– Да ты никак рыбачишь? – сказал он, заглянув под круть и увидев раскинутую снасть. – Тоже, значит, вода тянет?

– Да вышел вот посидеть, реку наведать...

– Это дело, – одобрил тот, кивнул. – В ребятишках не знал я рыбалки, на работе тем боле... а сейчас вот люблю. Ну где я такое видел?! А нигде. То чертоломишь, то пьешь, бывало, с ребятами – в дымоган, себя не помнишь. Милое дело теперь.

Он легонько шлепнул толстой и короткой в липкой рыбьей чешуе ладонью по сумке, пожива его трепыхнулась там:

– Морды-верши вот смотрел, прогулялся перед работкой.

– Ну и как?

– А ничего, – живо ответил Заводской, захитрел глазами, – водится еще рыбешка. Только вот достать ее нужно уметь. Сумей, достань – и вся твоя будет... Так ты что ж, здесь всегда сидишь? Знаю, знаю, святое местечко. Я это... спущусь с тобой, передохну – не против? А то, понимаешь, – он выругался, – воды сапогом

хлебнул, чуток не искупался. Не молоденький уже – забько, едрит-твою...

– Да мне что, сиди, – сказал Иванов.

Они спустились вниз, поплавки тимофеевых удочек спокойно подремывали на ясной зоревой воде. Заводской примял тальничек, сел и стянул сапог; портянку он, должно быть, выжал раньше и теперь повесил поодаль на просушку. Иванов наживил кузнечика и только успел закинуть лесу и присесть на кусок дерна, как поплавок моргнул, дернулся и стремительно нырнул.

– Ну-ну, – поощрительно сказал Заводской, увидев выкинутого на берег ладного голавчика. – Это ты правильно, что к бережку поближе, на сугрев, – он сейчас как раз там кормится.

А то я без тебя не знаю, подумал Иванов, все б ты учил. Ох и мастер учить...

– А теперь слушай сюда, Тимох: выпей со мной за компанию, согрей душу. Чтоб ерши поершистее ловились!

Оглянувшись, Тимофей увидел, что тот уже достал откуда-то початую бутылку белой, несколько вяленых плотвичек и ломоть подсохшего хлеба; расположил все это подле себя и весело и выжидающе смотрит на него.

– Да вроде б...

– Ничего, выпей! Всю рыбу не поймаетшь, а на жареве всегда наберешь – это я тебе точно говорю. В жареве знаешь, что главное? Яички куриные. На каждую рыбешку по яйцу – ох и жареха будет, скажу я тебе!.. Садись.

В самом деле, что ли, выпить – один шут, как время убивать. Дают – бери, а бьют – беги, такое оно дело... Раздумывал он недолго; подсел, заодно и закурил:

– Разве что от безделья отдохнуть...

– Вот-вот, – сказал Заводской. – Держи-ка.

– Жить можно, а? – Паромщик понюхал хлеб, разломил и протянул половину Иванову. – Закусывай давай. Я тебе так скажу, что нынче в любом, так сказать, сословии жить можно, в самом даже распоследнем... Нищим можно ходить, и все равно сыт и одет будешь. Потому что сам народ богат стал, свиней вот этим хлебом кормит.

– Да ну и что ж – заслужили, заработали наконец.

– Заслужили-то, скажу тебе, побольше, не все еще свое взяли... ну, ладно. Это еще уметь надо, взять, – а когда наш русский умел брать?! Все только с него самого: «давай-давай!..» Он ведь непутеха, ворота растворит, шапку оземь – пропадай, пошла-поехала! А жить не умеет, этим и пользуются. Жить-то не умеет.

– Ишь ты, – усмехнулся Тимофей, взглянул повнимательней. – Наука, конечно, трудная, не всем дается... Ну, а ты сам – что, так уж и умеешь?

– Я-то? И умею. Раньше не умел, а теперь умею, научила жизнь. Никакому там богачу или начальнику не позавидую... зачем? Что мне надо, у меня есть. Начальник вот, например, хоть и сладко ест, да мало спит; а если спит, так с боку на бок: все маракует, как бы его снизу не подсидели да сверху не поддели. Речи эти, прения-потения, как бы угодить, не прогадать... А я сердцем спокоен, мне на весь этот тарарам навалить побольше! Катаюсь себе с берега на берег. Скажут мне: «запретить!» – на прикол стану, не скажут – опять же буду людей добрых тешить, доставлять, куда им надо... Филосо-офия! – он, продолжая грызть усохшую рыбку, поднял палец. – Это надо понять. Весь свой век я маленьким человечком прожил; а спроси меня, хочу ли я наверх? И я тебе скажу – нет! Никто меня не теребит,

в глаза не колет, не материт впотаях, что я кому-то жизнь замордовал, – любота! Совести моей не хватит, чтоб в начальниках ходить.

– Совести-то? Совести там много требуется, это ты верно, – по-своему понял его Иванов и вздохнул. Можно было б и согласиться с Заводским, что мелкому человеку проще прожить, хотя всякий раз его удивляло, как это может пожилой и вроде разумный, хитрющий даже человек так вот кричать и хвастать по пустякам – будто без него не знают, что к чему. Как молодой козел, на всякий плетень в рога. Таких, переезжих, он на своем веку повидал: все дерганые какие-то, нервные, все пятый угол ищут, никак не найдут.

– И пониманья тоже много надо, как-никак люди под ним ходят, все живые, – добавил он еще, поглядывая на поплавки. – Чуть не так повернешься – и, гляди, раздавишь... Дело опасное. Ну, так они тоже, чай, смотрят, думают, как бы получше... как бы народ уберечь от всего.

– Кто – они?! Да ты, брат, шутник, я гляжу. С чего ты шутить-то взялся, не пойму?

– А я не шучу. Я что вижу, то и говорю.

– Много ты видишь!.. – Заводской замолчал, засопел, малость пораженный будто, в упор его разглядывая, – и не выдержал, мотнул головой, по-молодому зло и удивленно. – Ну и р-разумники вы тут все... Пни колхозные, ей-Богу, – хошь обижайся, хошь нет. Из каких это газеток ты все вычитал, интересуюсь?!

– Давай, давай... – опять усмехнулся Тимофей. Ему отчего-то забавно было поддразнивать старого этого балабола. – Может, и пень я, и корешки мои все тута – ну, а кое-что все ж повидал, знаю. И помотался, слава Богу, и за границу брал, даром что дурак.

– Тем боле... А все-таки ни шиша ты, скажу тебе, не видишь, не разумеешь. Поглядел бы их с мое – ты б не то запел... «Они берегут!» Друг дружку они берегут, поддерживают – вот что, одной веревочкой потому что связаны, а тобой, мелочишкой разменной... Ты иль забыл, как жили? Иль больно хорошо жил, что защищаешь?! Эх, ты-ы!..

– Ну, ты меня не принижай, – сказал наконец недовольно Иванов. От поданного у него как-то прояснело в голове, понятным все стало, складным, и ему легко и просто было от этой ясности. – Я тоже все понимаю, не лыком вязан. Трудно мы жили, нехорошо, я ничего не говорю; так ить и времена такие были – отбиваться надо было, народ поворачивать...

– Вот-вот... доповорачивались!

– А ты подожди, дай сказать. Поворачивать, говорю, надо было, на другу колею, а эта работенка самая что ни есть трудная – поворотить-то... Поверни, когда у него морда в другу сторону смотрит. Тебя вот со мной – поверни!.. Ну, а делали все живые люди, не без греха, не от большого ума... все мы виноваты, что так получалось. Все, от мала до велика.

– Ишь он, добренький какой – «все!..» А я вот ни добрым не хочу, ни виноватым быть... при чем тут я? Мало, что ль, работал я, по землянухам сырым... это... пролетарствовал – а что я с этого имею? Да ни хрена, как ни работал!

– Ну, тебе никто не виноват, – равнодушно сказал Тимофей, – ты б не пил, не гулял по всей Рассее...

– Так я, что ли, один? Все так.

– Вот я говорю – поверни вас... А другие ничего, обжились, слава Богу.

– Другие? А что они мне, другие?! Государству кормят, вот и все. Что ты ни говори, а меня этим не убаюкаешь, дудки, я жизнь прожил.

– А я, по-твоему, проплясал, да? Кофей на веранде пил?.. Нет, брат, из одной мы чашки хлебали...

– Из одного стакана и пьем! – подхватил Заводской и засмеялся, задрожал рыхловатым оспяным лицом, маленькие глаза его вовсе превратились в щелочки и оттуда еле проблескивали. – А-а, да ладно, хрен с ними. Нам оно все равно, что там делается. На то там люди сидят – а мы с ними, брат, не в паях. Давай еще по единой, а там на работу мне пора, клиенты мои скоро пойдут-поедут...

– Ладно, – сказал и Тимофей, поднял стакан. – За начальство, стало быть.

– За него, туды ему... Лови свою рыбу.

4.

Заводской наконец ушел, а Тимофей снова принялся за свое прерванное было дело. Солнце уже выглянуло из-за высоких ветел поймы и теперь грело, ласкало все первым, несмелым, свежим теплом своим, просвечивало кустарник и легко, плавно идущую воду. Видно было, как там стайками, серебряно посвечивая, беспокойно ходила рыба мелочь: вздрагивала, останавливалась вдруг разом, что-то почуя, и рассыпалась, сновала вниз и вверх, задирала иногда поплавки донок или бросалась, скучившись, к упавшему с берега кузнечiku – у них там тоже всю шел свой день. Иванов выкинул еще штук пять небольших голавчиков и одного подъязька, а потом забеспокоился поплавок донки... Упираясь где-то в глубине растопыренными плавниками, пружиня удилице, рыба все-таки дала вывести себя наверх, хватнула воздуху,

опять было рванулась; но Тимофей, прикинув вес рыбы и надеясь на прочность лески, безжалостно вытащил ее на берег. Сазан был крупный, под кило, и вел себя своеобразно с этим: несколько раз и довольно вяло подпрыгнул на осочном берегу, блестя темной, будто густым прозрачным лаком покрытой чешуей, и затих, тупо и важно раскрывая толстогубый рот и отдуваясь жабрами.

Хорошей рыбы давно уже не ловил Тимофей, отвык, за два лета первый такой пузан попался. Хоро-ош, радовался он, осторожно отцепляя его, опять забившегося, и опуская в ведро. Подивится Аксютка, воркотни, может, меньше будет. А то все кривится: рыба, мол, нашелся, без ножа твою рыбу чищу... Нет, надо почаще сюда ходить, дело-то минутное – собраться. Заводского, впрочем, такой рыбой не удивишь, тот ловит и покрупнее, сомятина у него не переводится. А нам и этот хорош, за глаза.

От только что выпитого, что ли, от своей удачи ли в таком неверном деле, как рыбалка, он будто даже припьянел. Откуда-то легкость бралась в душе, простор, все кругом чистым и внятным ему было: эти глинистые, светлых теплых тонов обрывы с отчетливо видными норками ласточек-береговушек, это солнце, неутомимо плескавшееся в близкой воде, яркая зелень осоки и серый камышовый плавник у ног – все было много раз виденным, своим родным. Хмельной, ну и что ж... ну и хорошо, раз так. За каким тогда чертом жить, если без радости? Ты вот всю жизнь здесь прогорбил – ну, а часто сидел тут?.. Хорошо, если раз-другой за лето, а то ведь и этого не было. Не умеем жить, это верно. А Заводской вот сумел, у воды весь день. Великое дело – вода: все, вся жизнь от нее, все веселье духа. Ты где-

то там бегаешь, сам себя не помня, жилы из себя тянешь, нервы – а река-то все течет, рыба-то играет, берега пусты, и все понапрасну проходит, без тебя, тебя как нет. Такая вот жизнь: законопатит, засунет человека в какую-нито щель и забудет. И вот он возится в ней, в лишаях и в дерьме весь, карабкается, как жук, все выдирается, отроду и до смерти, – а саму эту жизнь, считай, и не видит... Что-то мы такое, главное, упускаем в ней, никак нам это главное не дается, как ты ни силься; а вот что это оно такое, где – до самого, видно, конца не поймем, не узнаем... А ведь жалко; есть ведь, должно же что-то быть.

Он задумался, глядя поверх неугомонной воды, все спешащей в какие-то назначенные ей дальние пределы, на посветлевшую гривку тополей на том берегу – вот и осень где-то поблизости бродит, подкрадывается, подсушивает листву, не гляди, что июль. Немного осталось жизни, совсем мало; теперь если и захочешь – не наверстаешь, всего тебе будет не хватать... Да и что особого наверстывать, все было. Помаленьку, а было, не обходила жизнь стороной. Пожил-повеселился, а теперь помалу остывай, свертывай хозяйство, торопиться нынче некуда... Так мы и не торопимся, мы еще поживем.

Ты помнишь майский день прекрасный,

Шли купаться мы вдвоем...

Песня была их с Аксюткой, пели они ее на два голоса, давно.

На желтой песок садились,

Мылись чистою водой...

Голос, однако, подорвался, подвел – а-а, Бог-то с нею, с песней. Ровно и мощно, без плеска несло воду, замороженные ею берега расступались, расходились, открывая дорогу все дальше, и конца-краю не было

этой дороге... Шут его знает, как мы живем, опять подумал он, – себя не помним.

Клев заканчивался, это было видно по всему. Рыба уже не брала, а только сыто баловала иногда, теребила насадку, мелочь куда-то скрылась. Тимофей смотал голавлиную удочку, затем и донки поднял, сменил в ведерке воду. Хорош был сазан, с таким не грех по улице пройти. Тому же Заводскому показать, шуту рябому: не ты, мол, один рыбку ешь, мы, чай, тоже на реке родились. Он ополоснул руки, вода была совсем теплой, впору искупаться; и тут увидел, совсем неглубоко, привязанную к сучку коряги бечеву, капроновый шнур, полого уходивший в глубину.

Морда привязана, догадался Иванов. Или, может, перетяг, шнур для морды слишком полого и далеко уходил в реку. Хозяин, видно, был не дурак, знал, где ставить. Только вот спать здоров, добрые люди давно уже всю ночную снасть сняли, а этот спит. Вытащить, что ли, посмотреть, что там такое поймалось, – чтоб неповадно дураку было.

Вроде б ни к чему было чужое трогать, нехорошо, – ну, проучить надо, чтоб не лез под руку. Не наглел, уже ему и шнур лень прихоронить получше, замаскировать. А если б крючком зацепился – что тогда было б? А ничего: прощай, снасть, – вот что было бы. Их поди достань, крючки. Раньше хоть татары ездили, меняли на тряпье, на всякий хлам, а сейчас уже нигде не достанешь, эти вот – и то у механика выпросил, снасть иметь надо, хотя б для гостей каких, для сына. Как куда провалились крючки, в магазинах одна мелочь, малявок ребятишкам таскать. Надо глянуть. На реке это как бы в обычай уже вошло, хотя раньше почти не водилось, – может, потому, что всем ее, рыбы, хватало тогда?

Ну, это раньше было – мало ль что было... Ты бы еще в открытую поставил, чтоб каждый видел, раззява, усмехнулся он неизвестному рыбаку. Больно легко жить хочешь.

Тимофей не спеша огляделся, вверх по реке посмотрел, вниз – никого не было. Катилась, пошевеливая прибрежным тальником, вода, солнце поднялось высоко, пора было идти. Понаставил по реке – и небось дрыхнет себе дома. Рыбку ждет. Дождешься, подумал он, дотянулся до шнура. Снасть присваивать, конечно, незачем, а вот посмотреть – посмотрит, за него же, дурака лежебокого.

Он потянул раз, другой, все решая, как быть. Решать, собственно, нечего было – долго ль посмотреть и назад закинуть? Промышляют еще люди, знают, как рыбешку достать.

5.

Тетива перетяга – теперь ясно было, что никакая это не морда, а перетяг – тетива подавалась туго, грузило, видно, цеплялось, скребло по дну. И будто где-то провисала в середине. Под тяжестью, это он видел по ее направлению. Точно, провисает. Выбирать приходилось не торопясь, потягивая и отпуская, и он уже думал, что не грузило, не одно же грузило у него там тяжелое такое... Что-то в голове застряло у него на этой мысли, он повторял ее и так, и этак, как горячую картошечку во рту перекачивал, и по-всякому эта мыслишка подходила – в самом деле, не грузило же одно у него такое тяжелое...

Чем больше вытягивал он капроновый этот шнур, тем уверенней становился: что-то там есть, не должно не быть. Еще не виден был первый поводок – длинна

снасть! – а сердце колотилось уже нешуточно, так его вдруг забрало; и когда порой, как ему казалось, что-то дергалось там и несильно, вяло будто сопротивлялось, живое и теперь ему покорное, – словно ледяным сквознячком прохватывало в груди, подстегивало, торопило руки.

– А ты давай, спи... десятыя сны доглядывай – р-рыбачок... – пробормотал он вдруг сквозь зубы. Тонкая прочная тетива резала ему пальцы, он от этого вдруг озледел, сам не зная почему, на все и всех. Было зло и одиноко, и разбирало сказать что-то, кому-то в морду – ишь, ловкачи!.. Рыбку он, понимаешь, захотел... ну так пораньше вставить надо, милой... Спать любишь? То-то, что любишь. Спи давай, лодырь царя небесного...

Показался первый, с пустым тройником, поводок из толстой леси; затем, один за другим, еще два, на втором из них была насажена и примотана ниткой ослизлая раковая шейка. Другие насадки были объедены, наверное, мелочью. Иванов сторожко оглянулся, обежал взглядом берега, тихие солнечные кусты – никого; и потянул шнур дальше, всматриваясь, не блеснет ли, не заиграет ли в глубине на очередных поводках рыба. Странною была для него эта снасть: вроде перетяг, но необыкновенно длинный и прочный, основательный, рассчитанный, видно, на большую рыбу. Вместе с фабричными двойными и тройными Иванов сразу заметил самодельные крючки, крупные и острожальные... Не дай Бог купаться здесь: зацепишься, запутаешься если – пропадешь.

Что-то затемнело там, выплывая по мере того, как он, осторожно и цепко перебирая, вытягивал тетиву. Он глубоко передохнул, сдерживая себя, локтем смахнул набежавший на брови пот – была рыба. Он это почув-

ствовал сразу, еще до того, как увидел ее зеленоватую, иногда белеющую брюхом тень в воде, прежде чем тетива дала знать об этом. Опять холодный, сладостно острый сквознячок дошел до сердца. Иванов уже забыл о хозяине, о том, что ему руки режет, до сукровицы одирает сгибы пальцев; он тащил свою рыбу и видел, как она переворачивается в медлительном речном потоке, кажет желтоватобелое, телесного совсем цвета брюхо, будто сдаваясь перед силой тимофеевых рук, перед его удачливостью, отдает себя в его неумолимую человеческую власть...

Он торопливо подтянул – неужто самого осетра?! – к берегу, выволок его в мелкую кугу. Да, он самый – редкий уже здесь, мало кому и по большим праздникам попадаетея... В нем было килограмма три, это уж никак не меньше, – тяжелый, плотный, уже уснувший на уде. Ну, мать, угощу я тебя сегодня, вспомнил отчего-то Тимофей жену. Уж ты теперь... И не додумал, дрожащими руками стал высвобождать стальной кованый крючок. Другой уцепил его за штанину, хищно кольнул тело. Иванов, бессмысленно улыбаясь, чертыхнулся, осторожно отцепил его; ухватил обеими руками осетра и понес его к ведерку, предусмотрительно обходя опасную снасть. Рыба еще жила: когда он слишком уж крепко взял ее, вяло мотнула хвостом. Ишь ты, брыкается... свежачок, мат-ть его за ногу! Денек сегодня. Чекушку надо, непременно чекушку взять, что нам – нельзя?! Все можно. Вот так-то оно, паря, – спать...

В полуведерник рыба и половиной бы не вошла, и Тимофей поспешно скинул телогрейку, положил осетра на одну полу и закатал, получился как бы сверток – и тяжелый... Все, хватит, сматываться надо, вот что. Упаси Бог, хозяин наведается.

Он быстро и осторожно, опасаясь крючков, вытянул остаток тетивы, на конце ее был привязан увесистый чугунный шкив от комбайна, кажется. Теперь надо было суметь закинуть всю эту штукину в воду, и чтоб постарому, как было, иначе заподозрит хозяин нелады... Ни к чему это, Заводской-то видел его здесь. Ставили с лодки, не иначе, – а у кого из наших лодки, кто мог поставить? Да мало ль кто, лодок хватает. Может, Заводской тот же. Хотя нет, Заводской вроде одними вершами промышленяет, сетешками да короткими закидушками-чоблоками еще. Если вот так, сразу кинуть, ничего путного не выйдет, нет; надо с толком – разложить, поводки распутать... черт меня дернул! Надо быстрее.

В который раз оглянувшись, он сел на корточки, стал разбирать шнур, укладывая его кольцами, поводки в стороны. Недалеко кину, шут с ним, только скорее бы. Выпитое с Заводским будто помогало ему, руки работали сноровко, живо, сами знали, что делать.

– Ну, вот... – сказали сзади, с матерого берега. – Вот еще один сидит. Вы это правильно сказали. Я им сам не верю. Только и глядят, как бы... По мне, так бы и вовсе запретить, в грех не вводить.

Иванова будто в спину толкнули: он замер, уронил шнур. Кто?.. Не хотелось, так не хотелось ему поворачиваться сейчас, кому-то в лицо смотреть, слушать... Влип все-таки.

Он грузно, тяжело встал с корточек, вытер ладони о штаны и наконец обернулся к берегу, поднял глаза.

Наверху среди мелкого, почти безлистого уже кустарничка стояли двое. Он сразу узнал одного, только что говорившего сейчас, невысокого, в грубом клеенчатом плаще, из-под которого виднелись отвороты болот-

ных сапог, с кирзовым офицерским планшетом времен войны в руках – это был местный рыбинспектор Крохалев, живший на трехпоместном Никифоровском хуторе, неподалеку от села. Чуть позади него стоял представительный, интеллигентного вида чернявый мужчина в шляпе, руки в карманах дорогого, в светлую мелкую клетку костюма, с видом заспанным и недовольным.

– Здоровы были, – решив, что так будет лучше, сказал им Иванов.

– Здоровы, здоровы, милоч... слава Богу. Мы-то здоровы, а вот ты как тут... Ну-ка показывай, что ты тут робишь? Балуеть, небось, мать твою так?! – Крохалев пробежал глазами по удочкам, полуведернику с телогрейкой, по всему разбросанному тимофееву хозяйству; и уставился на него, в его насмешливости было что-то злое, нетерпеливое. – Что молчишь-то – язык отсох?

Тимофей уже понимал, что это он перед каким-то своим начальником щеголяет, матюк на матюк вешает, полным хозяином на реке себя хочет оказать. Матюки были дурные, обидные, но отвечать никак нельзя было, сзади в куге валялась проклятая эта снасть, и он сказал только:

– Ничего я не балуюсь, закидушку гляжу.

– Чью закидушку. Какую?

– Свою, конечно.

– Закидушку он глядит... О десяти хвостах, небось, закидушка? Смотри у меня. Увижу еще раз – прощайся со своей закидушкой, парень. Что поймал?

– Да сазанишку на донку, поклевистый уторок был.

«Сволочь, – думал Тимофей, глядя в его серые выпуклые глаза, шарившие уже дальше по реке, по берегам. – Вроде б не заметил... Будь у меня одни удочки, я бы те пуганул вместе с твоим начальством... куда бы

перья полетели! Выплясывает перед ним. Ну, мы еще встретимся».

– А что это за шнуры там лежат? – подал вдруг начальный голос, подошел поближе к обрыву. – Что это?

– Где? – встрепенулся Крохалев, вроде бы уже удовлетворенный строгим своим разговором и собравшийся дальше идти по своим владеньям; встрепенулся, близоруко сощурился и тут же углядел перетяг. – Закидушка, нет? Ну-ка...

Он торопливо, придерживая полы своего потрескавшегося клеенчатого плаща, сбежал под берег, обогнул Иванова и стал над снастью, лицо его медленно багровело. Потом тою же торопливой трусцой направился к ведерку: присел, колыхнул его, разглядывая улов.

– Все проверь! – сказал сверху мужчина, вынул портсигар и, щелкнув им, закурил. – Мы тут, понимаешь, спим, а они... Что там, в телогрейке?

– Да что там может быть... – начал было Тимофей Иванов, шагнул, но рыбинспектор уже ухватил за полу стеганки, потянул, и осетр тяжело вывалился, перевернулся на глине мыска, мараясь в мелком сухом плавнике. Сейчас он еще крупнее показался, красивей, длинное рыло его хищно, самодовольно выгнулось... не вышло по-твоему, рыбачок. Иванов молча полез за папиросами, сел на дерновой ком.

– Н-да, – кашлянув, сказал мужчина; он, видно было, и сам не ожидал такого. – Вот так оно всегда и бывает... Что ж... составляйте, товарищ Крохалев, акт.

– Счас... Сейчас я ему составлю актец. – У Крохалева даже руки тряслись, когда он стал было открывать свой планшет. Он совсем забагровел, видел Тимофей, маленькие уши его налились темной злой кровью, и не

глядел, не мог смотреть на Иванова. – Гады! Как сердце чуяло, что подведут под... Говори фамилию, сукин сын!

– Кто... сукин сын? – вздрогнул Иванов, очнулся, внимательнее посмотрел на инспектора. И встал, отбросил папиросу. – Это кто – я?!

– Говори фамилию! – прикрикнул угрожающе тот и чуть отступил, шагнул назад, расширяя ноздри мясистого с горбиною носа. – Ерепенится он еще!.. Ты думаешь, я не знаю, кто ты?! Знаю!

– Так я, по тебе выходит, сукин сын? И ты што ж, мать мою... на цепи держал?! – Тимофей напрямую цапнул, сгреб его за грудки – и притянул к себе, лицом к лицу. – А ты воды уральской холодной не пробовал, доглядчик?!

– Брось!.. – хрипнул Крохалев, ухватил его за руки. Был он плотный, мясистый, при случае сам дать мог, и не испугался. – Брось, дурак... сядешь!

И, потеряв терпенье, ударил Иванова в бок. Тимофей опять вздрогнул, теперь уже от темной, минуту назад стыдом и трусостью бывшей злобы, и дернул его, перекинув, на себя и мотнул, толкнул к воде...

Крохалеву повезло, упал он на корягу. С природной своей цепкостью успел схватиться за большой почернелый сук и повис на нем, взяв ногами в воде, ища опору. Он ее наконец нашел и, кряхтя, сплевывая густую от пережитого слюну и ошалело матерясь, выкарабкался на корягу.

Наверху нервно ходил, хрустел штиблетами по траве рыбий начальник, он и слова не проронил, пока они тут валяли дурака... Тимофей не смотрел туда: поднял и суетливо вытряхнул стеганку, собрал удочки. Потом нагнулся за грузилом: сейчас, знал он, надо обязательно закинуть, сразу отказаться от перетяга... Чертей водяных ловить на эту снасть. Злости в нем на перебранку

или еще на что уже не оставалось; незачем теперь, да и страшновато чего-то стало.

– Ку-уда! – отдуваясь, но голосом неожиданно спокойным, усталым даже остановил его Крохалев. Он все сидел на коряге, никак не мог отдышаться, и следил за ним холодными выпуклыми глазами. – Перетяг ты нам, дружок, оставишь... это нам как вещественное доказательство. Ты думал, с тобой шутки шутют?

– Сам вынул, сам и поставлю – ты тут не командуй, – глухо предупредил Иванов. – Не мой перетяг, пусть им хозяин распоряжается.

– Вон оно как – уже и не твоей!.. Я не я, и ж... не моя, да?! Дуракам говори, а мы эти штуки знаем. – Он перебрался наконец с коряги на мысок, зло оглядел измазанные тиной сапоги и полы своего плаща – на реке, что ли, ночевал он в своем плаще? – Сапоги вот эти истопчу где надо, но тебя, сука, засажу... Мы вам тут шорох наведем!

– Ну-ка, отойди, делопут, – посоветовал ему Тимофей. – Не дай Бог зацеплю... А законом меня нечего пугать, законы у нас правильные.

Крохалев поспешно отступил; и он, коротко и резко размахнувшись, вжав голову в плечи, швырнул шкив, отпрянул в сторону. Так, вспомнил он вдруг, тяжелые оборонительные «феньки» приходилось бросать: осколки у гранаты этой тяжелой летят далеко, самому бы уцелеть... Тетива, путаясь с поводками, опасно мотаясь в воздухе, мокро шлепнулась и вслед за грузилом утянулась в глубину.

– Зря старался, – злорадно сказал рыбинспектор, подошел к осетру, шевельнул его ногой, – это тебе теперь не поможет. Осетринки ему захотелось... не про твои зубы она, осетрина. А вот уже сто шестьдесят третью статью – это как Бог свят, это уж я тебе обещаю. Так сам

с нами пойдешь или участкового вызывать?

– Пошел ты на хрен, делопут.

Промоиной спустился сверху мужчина, понял, что Иванов никакой не буйн и особо опасаться его нечего.

– Навоевались? – спросил он с неудовольствием; прошелся, все так же держа руки в карманах пиджака, по мыску, словно еще раз хотел удостовериться в происшедшем. И остановился перед Ивановым, в упор глянул ему в самые зрачки. – А вы, приятель, подлежите сейчас аресту – вы это хоть знаете?..

– Ничего я не знаю, – тупо, еле удерживаясь от брани, сказал Иванов, ото всего этого ему все больше становилось не по себе – как глупо все получается... как мальчишку залучили. – Не мой перетяг, нечего на меня клепать.

– Да он, вдобавок, пьян, – брезгливо проговорил начальник, оборачиваясь к инспектору. – Ну ладно, Крохалев, вытащи-ка этот... – Он высвободил руку из кармана, пошевелил пальцами, – этот перетяг. И как они только умудряются... Где он живет?

– В селе, где ж еще? Возле старых складов, я знаю.

– Ну, так если сам не подойдет к сельсовету, то попросите участкового. Не хватало еще с ним спорить, драться тем более – много чести. Видно, вольготно они себя тут чувствуют, если чуть не в открытую, у самого села государственную рыбу таскают...

Эти слова Тимофей слышал, поднимаясь уже промоиной; слышал, как горячо объяснялся, бубнил что-то Крохалев, а потом крикнул ему вдогонку:

– Чтоб к десяти был... а то мы с тобой по-другому разговаривать начнем, слышишь?!

– Не ори, – сказал Тимофей сквозь зубы; но вышло это негромко у него, и вряд ли его услышали там, у воды.

6.

Аксютка, видно, еще отдыхала, прогнав скотину, солнечный двор был пуст, лишь на кучешке навоза у сарая рылись куры. Вроде и кошелкой накрыл, а все равно разрыли, раскидали кругом – паразитки, подумал он; но не подошел, не поправил кучку, а сел на дощатый настил галереи, поставил подле ведро с уловом. И, опустив руку в прохладную, от слизи будто мыльную на ощупь воду, стал перебирать сомлевшую рыбу, задумался.

Все это как-то быстро случилось, нехорошо, он и опомниться не успел. Ну, что теперь делать будешь, Тимофей свет Васильевич, – объяснения писать или что? Кому они нужны, эти твои объяснения?.. Никакой ты не «свет», а дурак самый настоящий, дурной, Тимоха колхозный... Натворил делов, теперь вот расхлебывай.

Дело было серьезным, он теперь это понимал хорошо – и никакого оправдания не видел себе, ни малейшего. Это его, в пятьдесят-то с лихвой, залучили как мальчишку, а он, мужик вроде разумный, фронтовик, полез доказывать, драться – какое уж тут оправданье... На матюки оскорбился, за грудки полез хвататься – что, матюга за свою жизнь не слышал? Да вся твоя жизнь – сплошные матюги, каждый рад пугнуть, кто в силе... Вот и доказал. Крохалев этот теперь не простит; злой мужичок, толстый, к начальству ревнивый, такие не прощают. А все это выпивка дармовая, рыба тоже дармовая, позарился на дешевку. Нет, задаром, видно, ничего не дается, не проходит; а если и дастся когда, то все равно радости мало, одна маета: как бы его, дармового, побольше, да как бы люди не узнали...

Перед людьми, перед хозяином он еще как-то мог оговориться: зацепился, мол, крючком, надо было выта-

шить, отцепить (да-да, вот так и надо говорить) – но не перед собой. Тут все было ясно, и, случись что, он один будет виноват, а все другие ни при чем, даже Крохалев этот со своей дурью – она хоть и дурь, да тоже на дурь нашла. Мало того, сама рыба опасная, за нее за одну дают. Возьмутся вот, укатают – и правы будут.

Не хотелось бы туда – ох, как не хотелось.

Вспомнил, как забрали недавно Мишку Садовникова, механика их. Попался он не здесь, а километров за пятьдесят ниже, со свояком сетями рыбачил. Плыли на лодке, видят – человек с берега машет, «перевезите!» – кричит. Подплыли, руки подали – а он не за руку, а сразу за причальную цепь, другой фуражку форменную из-за пазухи достал и на голову: «Ну-ка, вылезайте, ребятки, показывайте...» На доброте своей попались. Посадить их не посадили, но страху порядком напустили. А Шитенков тот же – год целый где-то в лесу потом дорогу строил, лодку с мотором конфисковали. Так те хоть за дело, у них-то рыба в дому не переводится, ладно, – а ты?.. Вот в том-то и вопрос. С Шитенкова – как с гуся вода, он легкий на душу, моложе, в новом костюме вернулся, малость лишь похудел – а тебе некуда худеть, не больно растолстел за свою жизнь. Нет уж, лучше не худеть. И что вот делать теперь?

Ждать, что ж еще. Ждать, что будет.

Нет, ждать нельзя. Что-то делать, выкручиваться надо, нечего сопли на кулак мотать. Выкручивайся давай! Первым делом в сельсовет, к Авдеенке, он свой мужик, поймет. Они его тоже не минуют, вот и иди к нему. Растолкуй им, что к чему, повинись, начальство это любит. Да и что он особенного сделал-то – что?! Ну, повздорили, поерепенились маленько, с кем этого не бывает – что мы, не русские, что ли?..

Больно дешево будем, если из-за такого сажать. Это раньше разговор был короткий, а сейчас нет, все больше на пушку берут, на кишку, у кого послабее, на уговоры, он и развинтился малость, народ. Да им теперь и самим связываться неохота, до лампочки, вроде того. Поругают там, посчуняют, с него не убудет. Штраф сдерут, это они вполне могут – черт с ним, со штрафом, лишь бы выкрутиться. Делать им нечего, ошиваются по берегам, на свою реку уже не выйди... Ладно, тяжело сказал он себе, нечего. Сам хорош.

Встал, сгреб вилами раскиданный курами навоз и соломку, навел и отнес телку пойло на нажить и к правлению подошел уже в начале десятого. Праздного народу по утрам здесь прибавилось: веточный корм и всякую безделицу заготавливать пока не начали, все еще расквашивались, записным болтунам было раздолье. Иванов торкнулся было в кабинет председателя сельсовета, но Авдеенко, должно быть, еще шел к своему креслу, нигде не было видно и Крохалева с начальником.

– Ты на огорода седня не ходи, – сказал он перед тем подымавшейся Аксютке, разумея огорода колхозные, куда она ходила с товарками на прополку. – Дома пополнись, у самих весь огурешник зарос.

– Это почему?

– Не ходи; понадобится можешь. Все деньги не заработаешь.

– А ты что нынче такой?.. Вроде б и рыбу принес за все времена, лень свою потешил – а как ударенной, глаз не подымаешь... Иль случилось что?

– Случилось, не случилось... – сказал он. – Ну, твое дело малое, ты вон огурешник иди обиходи. И капусту к вечеру улей, земля, гляжу, как камень.

Аксютка пожала плечиком и ничего больше, против обыкновения, не спросила, тем более что огороδικ их и впрямь зарос.

Тимофей подсел к судачившим на крыльце мужикам, закурил. Разговор то клонился к нынешнему неурожаю, к совсем плохим кормам и будто бы обещанной уже председателем многолюдной и долгой командировке на Алтай – выкашивать и вывозить сено, солому потом тюковать; то вдруг в политику ударялся, тогда все слушали мельника, солидного какого-то всегда, сколько его помнил Тимофей, и влиятельного на общее мнение человека Никульшина. Рассказывал он складно и значительно, поглядывая мудро: вот так вот, мол, дела-то идут, а мы тут сидим и ничего не видим, – и говор общий становился реже, немногословней: «Да это, конечно... шутка ли – миллион. Да куда уж нам, у нас оно покрепче, сам видал...» Потом переметнулось на совсем бездельное, о бабах. Слово завел, кажется, правленческий шофер Васюков, высокий и худой молодой мужик с текучим водяным блеском в глазах, – начал с того, что кто-то к кому-то с задов бегаёт. Его живо перебили:

– Да ты сам, чай, у Нюрки все завалинки пооббил. Все просил открыть, дрожжи, сказывают, просил занять, – сказали ему откровенно, усмехнулись. – Она ему: нету дрожжей, Господи, сама в субботу все извела, хуть к соседям иди, а он ей – открой, Нюрок, есть, мол, у тебя дрожжи, как не быть... Известное дело, с ее дрожжей кто угодно припьянеет. Да еще на жену слыгался, что это, мол, она послала.

– Так и что ж – дала?

– Во брешут! – сказал Васюков, но ухмыльнулся как-то так, что никто ему не поверил. – Как же я могу к ней

стучать, коли там Киргизенок днюет и ночует, седло только свое в том дворе не держит... У него кровя горячие, азиатские, вот она его и голубит, пельмешками кормит.

– Да какой он азиат – он русский. Это он загорелый. А если ноги кривы, так это ясно дело... попробуй, посиди на лошади день-деньской. А он цело лето пастушит, не слазиет.

– Знаю, с кого он не слазиет, – радостно, уличая соперника, засмеялся Васюков, серые смелые глаза его весело ходили с лица на лицо. – Не тот человек Киргизенок. Уж он никому проходу не даст: ну хоть отшипнет, а возьмет свое... То все за Валькой Остаповой глядел на стойле, как она, значит, под корову садится, а Гриша ему: глянь еще, говорит, глянь – я тебе ноги твои живо распрямлю... А надьсь вот все к Аксютке... где он тут, Тимофей Василич? – Васюков оглянулся, нашел, весело мигнул Иванову. – К Аксютке, говорю, клеился, фуражку на голове правил, а потом цветок ей за пазуху совал... Ты не гляди, что он Киргизенок... он бобыль, он себя сохранил!

«Ноги бы ему действительно надо распрямить – в другую сторону, – зло подумал Тимофей. – Да и тебе, кобельку, не мешало бы. Жирок у них, понимаешь, завязался, своих баб уже не хватает, сволочам».

– Дело тут такое, что мужик – он тут, считай, ни при чем, – сказал Никульшин. – Какая баба. Если, например, себя не держит, так она и с ангелом согрешит, прямо где-нибудь на травке, на бережку. Не дай Бог, ветер им под юбку залетит – все!.. Не удержишь тогда ни посудом, ни мужичьей своей силой – один черт, согрешит! Я этому свидетель был, не вру.

– В мужике тоже, дядь Коль, – ты не знаешь. Все до поры

до времени. Их много вон честных ходит, а я знаю – это они потому честные, что мужик им под ихню манеру еще не попался. Вот они и ходят, гордятся.

– Под какую такую манеру?

– А у жены спроси, она тебе скажет... – Васюков с прищуркой, с веселой враждебностью оглянулся на кого-то, спросившего, хмыкнул. – А еще лучше у любовника, если есть. Они в этом толк держат, все до ниточки тебе раздеклешат, расскажут, что и как...

– Ну, ты давай не заносись, знай меру! У своей бабы ищи его, любовника, – а то я поддеклешу!.. Я своей верю, не то что ты.

– Да ты обожди, не торопись хвалиться, – не обиделся легковушник. – Что вот ты торопишься? Вон я в сказке в одной прочитал: умный хвалится детьми, а который поглупее – тот женой своей... Это еще проверить надо. Я вот, например, ни одной из них не верю. Я бабе верю, пока она со мной лежит; а как встала – все, шабаш, хоть она Христом-Богом клянись!..

– Господи, да ты-то сам какой?!

– А какой такой, чем хуже тебя? Все мы одинаковы, все мясо едим.

Из-за ограды правленческого кленового сада появился со своей тростью Авдеенко, неспешно и солидно ступил на бетонную дорожку. Красноватое грубое лицо его под военного покроя фуражкой было нынче оживленнее, чем-то даже веселее обычного; он поздоровался со всеми за руку, огляделся, сановито отдуваясь:

– Чего ждем?

– А что Бог даст, нам все равно. Кто дело сторожит, кто от дела бежит, всем место есть. Колхоз – дело такое... добровольное.

– Мы вот тут, Афанасий Григорич, про баб разговор завели – ты как?

– А что, – сказал он, опять оглядываясь среди мужиков, с бодрой усмешечкой и быстро подстраиваясь под их тон, – я бы не против.

– Ну вот, теперь мы и мнению власти знаем. – Васюков даже за плечо приобнял низенького сельсоветчика, заглянул ему под козырек. – Видно, никого она, мать-природа, не оделила, всем дала по кусочку.

– Ну-ну, – покосился недовольно Авдеенко, снял его руку с плеча. – Уж тебе-то она в полную меру отписала... Не панибратствуй, понимаешь. – И вошел в двери, прямой и строгий, в тяжелом, старого сукна пиджачке, застучал вдоль по коридору именной своей палкой. Иванов, с его приходом поднявшийся с лавочки, пошел следом.

7.

Как ни старался Тимофей, как ни готовился, но говорил тяжело, многословно, боясь что-нибудь упустить или не так сказать. В нем вдруг пропала вера, что его быстро и как положено поймут, скажут сразу же: «Да брось ты заботиться... чепуха все это, в минуту решим. Да они и сами, понимаешь, знают, что к чему, только суровость на себя нагоняют. Делать им нечего, таскаются по берегам...» Авдеенко, как только ясна стала суть, прихмурил, озаботился и все кивал головой; а потом, продолжая хмуро слушать и не вставая с креслица, потянулся к шкафу сзади, заставленному множеством брошюрок, журналов и книг в строгих переплетах, и достал одну, красную и нетолстую, стал тут же листать ее. На обложке было написано «Уголовный кодекс РСФСР». Уже хватается, с тоской подумал Тимофей и замолчал.

– Ну-ну... дальше что? – сказал Авдеенко, не глядя ему в лицо. Заложил найденную страницу яркой бумажной закладкой – они, закладки, аккуратной продолговатой стопочкой, видел Тимофей, лежали у него в верхнем ящике стола – и вздохнул, стал поглядывать в окно на разошедшийся летний день, в правленческий палисадник, где хлопотали около оранжевых головок ноготков шмели и молчаливо, сиротски ютились в зарослях заморенные степной сухостью сосенки. – А он что сказал?

– А что он скажет... Тебя, говорит, сейчас арестовать надо. Участковым грозился.

– Нету сейчас участкового, в отъезде... Да-а, наворочал ты, парень, делов. Ну, не вышло у тебя с рыбкой – так зачем было за грудки-то хватать, усугублять, так сказать?..

– Да он сам ошалел: излыгался надо мною, срамил, как какого-нибудь... Какой я ему сукин сын?!

– Возможно, он тоже неправ... Ошалел... Он при исполнении служебных обязанностей, в своем он прав. Черт знает, куда вас заносит. – Председатель занервничал, надулся, поглаживая свой армейский ежик и о чем-то думая, тяжелом и очень бы нежелательном в это утро, когда он встал с таким хорошим настроением и собирался было провести свой день не без хорошего. Потом открыл на заложенной странице книгу, из нагрудного кармашка достал и надел очки, о которых в начале неприятного этого дела совсем забыл. – Одному, понимаешь, чужие бабы спокойно спать не дают, безменом получил по голове, а теперь вот ходит, стучится в инстанции... а этот осетрины захотел. Нагрешат, а потом ходят.

– Ничего я, Афанасий Григорич, не захотел, – угрюмо сказал Иванов и только теперь спохватился, снял фуражку, стал вертеть ее в руках, глядя вниз. – Нужна она

мне, эта осетрина... жил без нее и дальше буду жить. По нечаянке вышло, сами видите. Я ж не вру.

– Эти ваши нечаянки – они у меня вот где, – проговорил с искренней досадой предсельсовета, хлопнул аккуратной ладошкой себя по шее, – ваши нечаянки. А где у тебя доказательства? Докажи этому начальнику, что это не твой перемет... или перетяг, как они там у вас называются, – кто поручится?.. Я не поручусь. А здесь, – он приподнял книгу, словно показывая ее Тимофею, и опять положил ее осторожно, – здесь написано в статье сто шестьдесят третьей уголовного кодекса рэсэфэсээр, что если ловил рыбу ценной породы, то получай до четырех лет... Почитай-ка!

– Да что читать... понятное дело, – сказал Тимофей, а самого так и охолонуло по душе – четыре года... – Это уж вы читайте, вам виднее. Только я ж не вру, что не мой перетяг, зачем я врать тут буду?

– И ладно бы – один он был, Крохалев, – продолжал, не слушая его, Авдеенко, и было видно, что в словах своих он всегда почти уверен, раз их говорит. – Куда ни кинь, а к нашему сельсовету приписан: поговорили бы, ну и замаяли дело... А тут начальник этот, на твою беду; сам говоришь, что строгий. И мы фактически обязаны ему содействовать, как советская власть.

– Так что ж теперь – посадят?

– Ну-ну... сразу он – «посадят»!.. Подожди тут. Погуляй пока, а как они подойдут, разбираться начнем. И первым делом кайся во всем, не перечь, не лезь на рожон... рыбачок. На работу, конечно, ты уже опоздал; ну, видно после обеда выйдешь.

– Какая теперь работа, – сказал Иванов.

8.

Солдатская, что ли, грубоватость, с какую Авдеенко распорядился им сейчас, бросил ворчливое «разбираться начнем», весь вид ли его, такая всегда уверенность, что любой вопрос разрешим, стоит только упереться, – но все-таки Тимофею будто полегчало, не одному теперь заботу нести. Пусть книга эта, пусть «до четырех лет» – все не одному... Им ведь любой скажет, что никогда он этим делом не занимался, – да и как, когда было заниматься? Небось, жрать вы все хотите, вот я и катаюсь день-деньской по полю, с тяжелым сердцем думал он, выходя на воздух, не зная, куда сейчас идти, – не до ваших мне бирюлек, товарищи дорогие. Навыдумывали тут в холодке законов, вот и разбирайтесь, а меня увольте. Четыре года, это ведь только подумать... Война четыре года шла...

В такой тягости, в ожидании он провел около часу; к мужикам не подсаживался, будто уже чем отделен был от них, а зашел от делать нечего в хозяйственный магазин. Потолкался среди людей, ходивших между рядами связанных попарно современных тонконогих стульев, утвари всякой, от ведер до печных вьюшек, порывлся на скобяных полках и ничего не купил, вышел. Потом завернул в продуктовый, взял папиросы и за всем этим как-то упустил приход Крохалева с начальством.

Когда он заглянул к Авдеенко, они уже сидели там. Рыбинспектор, примостившись на узком подоконнике, курил вполоборота к форточке, молчал, выпуклые глаза его были значительны и бесстрастны. Начальник расположился на стуле, спиной к двери, расстегнув дорогой свой костюм. Волосы начальника были черные с блеском, молодые, сзади с некоторой вольностью отпущенные и чисто лежали на воротнике; он откинулся

на спинке, меланхолически постукивал, побарабанивал пальцами. Шляпа его лежала тут же, на столе, Авдеенко то и дело косился на нее, но убраться, видно, не решался.

– А вот и наш рыбак, чухонец, – сказал Авдеенко, тоже откидываясь, складывая руки на животе; сделал строгие, осуждающие глаза и указал ими на стул неподалеку от двери. – Ну-ка, садись. Что ж ты, братец, мозги-то мне пудришь... твой, выходит, перетяг?!

Начальник зашевелился, вытянул ноги, искоса, мельком глянул на Иванова и отвернулся, взял со стола длинную бумагу и стал про себя читать. Крохалев неторопливо, с некоей важностью заплел окурочку сигареты в пальцах, выкинул его в форточку, подсел к столу. Как и там, на берегу, он не смотрел Тимофею в глаза и молчал.

– А это, понимаешь ли, две большие разницы – твой или не твой он, перетяг, – продолжал предсельсовета с напористостью, подпуская в голос холоду, и в нем уже не было той успокаивавшей Тимофея ворчливости. – Две большие разницы, да. Не знал я, что ты этим занимаешься, а то бы...

– Да ну как же так, Афанасий Григорич... я же ведь вправду не вру. Рыбачил, ну и зацепил удочкой, а потом гляжу – шнур...

Он вдруг сразу, как только увидел всех их, вместе сидящих, потерялся; видел терпеливо ожидающие, будто наперед знающие все его оправдания лица, отвлеченно хмурые, даже скучные, книгу видел на столе и бумагу, все бумаги, всякие, а в них самого черта можно укатать, была бы охота... Сам он все стоял; как не сел сразу, по приглашению, так и остался стоять посередине, и оттого чувствовал себя будто голым, незащищенным от них, от

всего, что скажут и сделают эти вместе сидящие люди, у которых, он уже хорошо понимал, сейчас вся власть над ним. И надо было именно сейчас убедить, доказать этим людям, что он в самом деле нечаянно, а не понарошку, не по рвению их виноват – иначе потом это еще труднее будет сделать. И он пересилил себя и сел на стул:

– Как же мой, когда он не мой... Мне ль перетягами этими заниматься, что вы!.. А работать кто за меня будет?! Да вы у любого спросите, у соседей, и каждый вам скажет, что никогда я этим...

– А ты подожди... обожди, – сказал, урезонивая, Авдеенко, все так же терпеливо и холодно. – Ты ведь сам заявлял товарищам, что твой это перетяг, закидушка, что, мол, проверяешь ее – это и в акте написано... Дайте ему, товарищ Беленький, акт, пусть полюбуется.

– Акт я ему дам, и он его подпишет, – проговорил наконец начальник и повернулся к Иванову, сощуренными глазами осмотрел его, не выражая, впрочем, особенного любопытства, – дело не в этом. Мы имеем факт, что данный ваш житель уже поймал государственного осетра и намерен был унести, полакомиться, так сказать, им... И это в самый разгар нереста, в осетре обнаружена икра, мы вам показывали уже, Афанасий... э-э... Григорьевич. Какое нам дело, чьим орудием действовал преступник? Мы имеем факт, и его нам вполне достаточно, чтобы с полным основанием начать дело. Тем более, что браконьер оказал... э-э... злое сопротивление инспектору рыбнадзора, ударил и ископал по пояс... А не будь меня как свидетеля – что бы он тогда сделал?! Я не берусь предсказывать, что бы он сделал. Я боюсь предсказывать.

– Да нет, – слабо, в адрес начальника, улыбнулся Ав-

деенко, а сам строго взглянул на Иванова, – что бы он сделал... ничего бы он не сделал, мы его знаем. Но тем не менее...

– Да, тем не менее. Павел Николаевич, – кивнул он на Крохалева, – у нас один из самых работающих, уважаемых товарищей, мы очень ценим его старания. И очень, знаете ли, хорошо, что он задержал очередного браконьера, пусть это послужит... э-э, повлияет на других, кто очень уж хочет залезть руками в государственный рыбный фонд – вот так. Мы не намерены с этим мириться и, по моему глубокому убеждению, должны каждый факт браконьерства соответственно наказывать. Мы имеем право и должны, просто обязаны этим правом воспользоваться, поймите меня правильно.

– Но Виталий Самойлович, – сказал Авдеенко и как-то заерзал в кресле, стал приглаживать свой ежик, взгляд его метнулся к Иванову и будто не долетел, замешкался и остановился на длинной бумаге. – Я с вами, сами понимаете, целиком и полностью «за». Нельзя не наказывать, это наш принцип, да. Но в данном случае дело обстоит так, что... Знаете, оштрафуйте его на полную катушку, а дело передайте нам. Мы найдем, как... мы его, голубчика, примерно накажем.

– Нет. – Начальник безнадежно, скорбно качнул головой, глаза его были полуприкрыты.

– Но ведь наши полномочия, наши, так сказать...

– Нет и нет. Поймите, штат инспекторов у нас минимален, нам трудно. Браконьер умнеет, наглеет, я бы сказал... что тут сделаешь? Засуха, безделье, отовсюду сигналы, что рыбу незаконно берут; а кто берет – нам неизвестно. И если мы начнем жалеть, то я не знаю, что будет, мы тогда просто не нужны будем.

– Да какой я вам браконьер, зачем уж так-то... Один раз за лето вышел на реку посидеть, чужая снасть попалась... Зачем вы меня так?

– Вы это мне, знаете... не надо. Не люблю! Помолчите, а лучше выйдите, без вас решим. Я бы на вашем месте помолчал. Выйдите!

Тимофей глянул на них, встал, повернулся и пошел. И не удержался, в дверях остановился.

– Я уж вас прошу... очень благодарны будем, – сказал он вдруг, и голос дрогнул. – Што ж меня мять-то... Я ведь при совести, невзначай.

– Идите, идите – разберемся... – пробормотал начальник, не оборачиваясь. – И, пожалуйста, без просьб. Раньше надо было думать.

– Подожди там, – сказал ему и Авдеенко.

Он провел в коридоре с полчаса: ходил, пытался было даже прислушиваться, но в соседних кабинетах разговаривали, щелкали счетами, смеялись неизвестно чему сельсоветские девчата, бежали друг к другу – примеряли что-то. Тимофея одолела жажда. То и дело подходил он к стоящему в конце коридора оцинкованному бачку на табуретке и пил – прямо-таки водохлебом стал. Ждал, курил, потом в правленческий сортир сбежал, а оттуда увидел, что начальник с Крохалевым уже вышли на крыльцо. Он тяжелой трусцой догнал оставшего малость Крохалева, позвал:

– Павел Николаевич!

И когда тот, узнав его по голосу, неохотно остановился и обернулся, Тимофей, запыхавшись и уже совсем не смея глядеть ему в глаза, спросил неловко, кашлянул в кулак:

– Ну, как там?..

– А никак, – буркнул Крохалев, опять пошел; и добавил на ходу: – В район едем.

– Да, чуть было не забыл: пусть подпишет акт, что ознакомился и согласен, – громко сказал впереди начальник. – А не подпишет, так ему же хуже будет. И побыстрее.

Крохалев торопливо достал из своего планшета ту длинную бумагу, нашел авторучку, положил на опустевшую, сбитую из сороковки лавочку – мужики давно разошлись по своим делам.

– Пиши.

– Что писать-то?

– Ну, что... «Ознакомился и согласен», что еще.

– Да какое ж я согласен – перетяг-то не мой...

– Пиши-пиши, – раздраженно сказал инспектор, – рядиться он еще будет, спорить. Слышал, что мой говорит?

– Да я подпишу... только подпишу, что ознакомился, Пал Николаич. Иначе что ж я на себя...

– Ох, гляди!..

– Нет, ты как хочешь, а я не буду так, чтобы согласен... – Тимофей суетливо присел на корточки, стал примериваться к бумаге. – Слышь, Пал Николаич... я приду к тебе вечером? По-доброму все надо, что ж бучу-то подымать.

– А вот это ни к чему, – будто бы даже испугался Крохалев, быстро оглянулся на отошедшего за палисадник начальника. – Пиши. Совсем уж ни к чему, и не думай... К Авдеенке зайди, ждет тебя.

И почти вырвал у него акт, на ходу свернул и сунул его в планшет, заторопился вслед за хозяином.

– В суд дело передают, – сумрачно сказал Авдеенко и выругался матерно, с самым огорченным ви-

дом. – Неймется этому гладкому; что я ему ни говорил – все как об стенку: нет, нельзя, у нас самые строгие инструкции... Молодой, да ранний.

– А Крохалев? – через силу спросил Тимофей и сел, все думая о своем, к столу, где только что сидел начальник.

– Да при чем тут Крохалев?.. Тут все дело в молодом, в Беленьком этом. Как-кой он, к черту, беленький – черный весь, как жук, жушный!.. Будь моя воля, так я бы... Ты им акта не подписывай, а там видно будет.

– Я подписал уже.

– Как... когда?! Это сейчас, что ли? – воззрился на него Авдеенко и даже очки снял.

– Ну.

– Бить тебя некому, дурака такого, – сказал Авдеенко наконец.

– Я подписал, что только ознакомился.

– И все?.. Ну-ну, – он облегченно и устало одновременно вздохнул, вынул платочек и, хмурясь, протер стекла очков. – Вообще бы не надо подписывать, никак – ну, ладно. Попробуем что-нибудь сделать, но – не знаю, не знаю... Иди домой и жди вызова моего, в случае чего.

– Так меня что, арестуют?

– И это могут – а что ж ты думал?! Это, брат, тебе не колхоз – государство, с ним шутки плохи.

– Да как же все получается, Афанасий Григорич...

– А вот так. Иди, иди, у меня уже голова от тебя разболелась. Черт бы вас побрал всех... как младенцы все, ей-Богу!

9.

Аксютку он нашел в огурешнике. Подоткнув еще совсем новую, сшитую зимой юбку с какими-то яркими

цыганскими цветами по черному полю, она сноровко рыхлила старым ножом капустные лунки, на одной половине уже стелился дорожками привядший сорняк.

– Рано ты нынче, – сказала она, завидев его в калитке и разгибаясь, вытирая тыльной стороной руки пот с бровей, с разгоревшихся щек; так же неловко, устало поправила платок. – Ай совсем стало нечего делать?

– Нечего, – сказал он, стал перед нею. Он все думал, как ей сказать, и, может, дольше обычного и тяжело глядел на нее, и она встревожилась:

– Что глядишь-то? С утра как вареный – иль весть какая?..

– Да как тебе сказать... Дело нехорошее получилось, Аксют. Сажать меня надумали, вот что... или вроде того. Ерундовина такая вышла.

– Сажать? Да ты что, окстись, за что это сажать тебя?! Что ты мелешь? – Аксютка бросила нож, одернула меж ног юбку. В сузившихся глазах ее сквозь растерянность появилось что-то злое, нехорошее. – Что собираешь-то?

– Не собираю, Ксень, – всамделе. С рыбнадзором на реке поцапался, носит их поганым ветром... Думал с утра – обойдется, а оно вот не обходится. Дай мне с пятерку, дело одно надо сделать.

– Скоко тебе?

– Ну, пятерку, рублей пять...

– Рублей пять?! – грубо, громко спросила она, уже веря во что-то, – и пошла на него. – С надзором, говоришь?.. А ну-ка, выкладывай, что ты там наделал! Сажать его надумали... так ты что ж, пятеркой хошь отделаться?! А ты иль забыл, что не мальчик ты, что семья... Что натворил?!

– Подожди, подожди... поперла! – Тимофей сел на

ящик из-под рассады, с весны оставшийся здесь, и закурил, отвернулся. Всем теперь рассказывать надо – ну как вот ей расскажешь, что? – Натворил, Аксют, действительно... Так кто ж мог подумать, что окажутся они там? Знал бы – к реке бы не подошел, сдалась она мне, эта река... Я-то ведь не виноват, по нечаянке все вышло.

– Да ты што ж надо мною воду-то варишь, – заплакала, запричитала зло Аксютка, дернула его за плечо, – что не говоришь-то? Что ж я самая последняя-то узнаю все от тебя – иль чужая какая?!

– Так я тебе и говорю...

– Где ж говоришь, коли безобразию где-то развел, а сам с утра молчком ходишь, думаешь!..

– Тебе и говорю, первой. Обойдется, думал, – что зря расстраивать... А теперь вот не обходится, хошь не хошь, а говори.

– Да как же ты мог связаться, такое-то сделать?.. Где ж глаза твои бесстыжие были, что думал-то, когда делал?!

– Какое «такое»? – обернулся к ней Тимофей, сощурился враждебно – вывела-таки из терпенья. – Ты хоть узнай, о чем речь, а потом кричи. Нечего теперь кричать.

– А я знаю – какое! За хорошее людей в тюрьму не сажают, ты мне не говори. А он там натворил Бог знает что, а теперь его улещивай!.. Ишь чего захотел – по головке его гладить после этого, выворотня чертова, в воротах встречать! Да как ты такое мог, как осмелился-то?..

Тимофей сплюнул, встал и пошел в дом; и она пошла за ним следом, всхлипывая и утираясь концом платка, ругаясь, веря уже, что случилось с ними что-то действительно нехорошее, неожиданное, с чем теперь надо жить и как-то управляться.

Он рассказал ей все, ничего почти не утаивая; разве

что, повинуясь себе, опять сказал, что за перетяг этот он зацепился – всю реку снастью усталили, паразиты!.. И пока говорил, все садил папиросы, одну за другой, так что в задней половине пятистенки синё стало от дыма, он пластался в застойном воздухе дома и никуда не уходил. Аксютка, летом, бывало, гнавшая его на улицу: «Сам дыши этой отравой, а я к тебе не нанималась...» – она теперь ничего не замечала, охватило ее разом и всю, глаза и губы скорбно набухли.

– Господи, да что ж это такое... неужель уж и эта чаша нас не минует? Рыбак. Говорила ведь, что не делом занялся... Говорила, как сердце чуяло.

– Ничего оно у тебя не чуяло, нечего попусту молоть, – сказал, раздражаясь, Тимофей, видя, как быстро сломало, закручило Ксению. Баба – она и есть баба, что с нее взять? Тут уж на самого себя только надейся, от них толку не жди, одна сырость, слезы... А ты что ж – думал, что баба тебе помощь даст, что за нее схоронишься? Нет, не жди, сам теперь соображай, грехи замаливай, нечего бабой заслоняться. – Кончай. Все вы горазды, опосля-то.

– Чево ж теперь – мильцанера ждать, Быкова? – сказала Ксения тихо и заплакала, сморкаясь, утираясь снятым платком и клоня простоволосую голову. – Готовь, жена, сухари... Господи, кручина-то какая! Как же у тебя совести хватило семью подводить... зачем ты на реку эту пошел?

– Опять она свое... Замолчи.

– Я ведь жалеючи, Тимош. Вся наша жизнь теперь на-выворот, как мне жалко-то...

– Замолчи! – Он встал, вошел в переднюю, с тоской оглядел все – забыл, зачем шел сюда. Постоял, вспомнил, сказал, не оборачиваясь: – Пятерку мне надо, а то и де-

сятку... Десятку дай, к этому Крохалеву схожу – может, замнут они дело. Или оштрафуют. Подожди-ка горевать, толку-то.

Но сам он после всего, что случилось, как-то уже и не верил, что дело обернется лишь одним штрафом. Черт бы с ним, пусть бы назначили – сотню там, две... С радостью бы отдал. Но молодому этому, похоже, деньги его были не нужны, ему надобна была не фамилия в штрафной квитанции, или где там у них, а сам он, Тимофей, его, Тимофея, живая душа и никак не меньше...

– Ты уж не бери к нему вина-то, ты этот... коньяк ему возьми, пусть он им подавится, паразит. Накинулись на мужика, знать ничего не хотят... И этот хорош: забрался, как нелюдь, на хутор, совесть всю потерял, уже и с людьми жить разучился – кому только угождать нам не приходится, горемыкам!.. И проси, спина, чай, не отсохнет. Нелюди! Господи, видно, никогда нам черед не придет, все-то от горя до горя перемышкой живем, как проклятые... когда конец-то этому будет?!

– Поживее копайся, – сказал Тимофей, глядя, как жена ищет в сундуке узелок с деньгами, – мне еще к председателю колхозному надо попасть, застать. А если Быков, в случае чего, зайдет – скажешь, что по делам, мол, ушел, никуда не денется.

Аксютка после этих его слов опять подалась было в слезы; и он прикрикнул на нее и, не дожидаясь, пока она утихнет, вышел из дому.

10.

Председателя Тимофей не застал, секретарша его тоже куда-то ушла. Он еще позаглядывал в разные кабинеты, спросил одного, другого, но никто ничего не знал.

День едва заметно перевалил через середину – и, перевалив, будто остановился в неопределенной, жарко шуршащей ветерком дреме. На улице было пустынно, все попрятались от солнца в пыльные заросли, в прохладу глинобитных сараюшек, в дома с закрытыми наглухо ставнями. Ну, куда мне сейчас, подумал он, домой? Это теперь вроде и не дом, ни от чего теперь он не спасет, дом его.

В магазине, тоже без людей, он молча положил на прилавок десятку. Продавщица Манька привычно, спросив лишь «сколько?», потянулась в ящик за водкой, но Тимофей показал на верхнюю полку, попросил:

– Ты мне коньякними – вон тот, за восемь...

– Кого-то встречать-привечать надумал, – улыбнулась ласково Манька, худенькая и улыбочивая, жила она вдовою неподалеку от Ивановых, с дочкой вдвоем. – Аль уж гость какой, высокий?

– Да какой гость... нужда у нас гость, – сказал он через силу и подумал: а и в самом деле, больно высокая честь – коньяком его напаявать... Нет, мы уж лучше по-нашему, по-русски; а не захочет он – и коньяк не поможет, один черт. – Вправду, Мань: дай мне лучше две, она привычнее.

– Бери, не жалко. Коньяк, чай, и так постоит, не испортится. Гости? – опять спросила она, выкладывая сдачу и одобрительно улыбаясь несомненному, казалось ей, ответу.

– Да нет, дело, – торопливо сказал он и вышел вон.

Идти ему было некуда; райцентр – не ближний свет, когда-то еще вернется этот Крохалев, а до хутора и часу ходьбы не было. Тимофей свернул в ближайший проулок и пошел к реке. Дорога напрямую скатывалась в пойму, и шлось ему под гору быстро, хотя торопиться

было некуда. Обогнул горбылевую будку водозаборника с насосом, уже много дней молчащим, перебрался через плети так и не собранных до конца новых труб и пошел тенечком, прибрежными кустами вниз по течению, к хутору.

Остановился он на одной из полян, совсем небольшой и тенистой, с травкой посвежее; сел, разулся, снял и пиджак. Бутылки от чужого глаза сунул в голенища сапог, а сам лег на траву, вытянулся и закрыл глаза. Спать ему вроде не хотелось, но время надо было как-то коротать, как-то переживать все это, неожиданное, Бог знает что сулившее им впереди. Хоть бы уж знать – что, оно куда бы легче было. Жди вот теперь, думай. Утомился он от всех этих дум, устал уже... Сухой ветерок шелестел в верхушках осокорей, играла с шорохом листва, играли зайчики по траве, по лицу его, с реки далеко разносило по воде скрип уключин – это Заводской перевозил кого-то. Он, Заводской, и думать не думал бранить сельсовет, который все никак не мог выделить ему хотя бы слабенький какой моторишко: «Зачем он мне – на себе его таскать от дому каждую утрянку? Свой у меня есть, нужда будет – притащу; а рукам поработать пока не грех, воздух вон какой хороший, на таком только и работать. В такой санатории я и до ста лет доживу, а с плохим моторишком только нервы портить – «Вихрь» там или «Москву» все равно ж не дадут... Это я для себя работаю!..» Верхушки качались, хотя листья едва шелестели, и солнце в их прорехах казалось налитым в отекший пузырь ослепительным расплавом, готовым прорвать его ненадежную тонкую пленку и пролиться огненно-жидким, сжечь все внизу дотла...

Приснилось совсем непонятное: нарожала ему Ак-

сютка детей – полон дом; куда ни сунься, везде ребя-тишки, личики у всех веселые, смышленные и до боли сердечной родные; а он, Тимофей, нисколько этим не удручен, не озабочен, как бы всех их, ораву такую, одеть и прокормить, – ему весело ходить и узнавать в каждом из них своего родного, кровного. Он будто бы спросил Аксютку, что тоже ходила по избе с млад-шеньким дитенком на руках: сколько ж у них наро-жалось, ребятишек-то? – но она лишь рукой махнула, веселая: и сама, мол, не знаю, сосчитай. Иванов начал было считать, но детишки не даются в руки, разбега-ются; вот один забежал в чулан, Тимофей заглядывает туда, но там его уже и следа нет. Должно быть, под кровать или в пальто, которое в углу висит, запрятал-ся, поросенок, – соображает он, ищет, но мальчонки и там нет, не видно; а остальные смеются сзади, кричат ему что-то – хулиганят, значит, озорники... «А ну-ка, золотая рота, – потише! – командует он, посмеиваясь и оглядывая воинство свое родимое. – Сейчас я вам петь буду, не глядите, что старый уже...» А сам с недо-умением думает: какой же я старый, за пятьдесят еще только перевалило... И поет все ту же, их с Аксюткой:

На желтой песок садились,
Мылись чистою водо-ой...

И дальше, кажется, так:

На прелесть не взираю,
Одну тебя люблю.

«Будет уж тебе, реветь-то, – говорит ему Ксения се-рьезно, – совсем он обеспечалился, герой какой... А я тебе вот что скажу, Тимош: случись, ты или я, упаси Бог, пропадем – о детях не забывать!.. Если детей затронет беда, то уж совсем плохо будет, дальше некуда...» – «Твоя

правда, – соглашается он, – хуже нет, когда на дите жизнь навалится. Большому человеку она невпродых бывает, а уж дитю... вот уж кто не виноват перед нею, так это они, детишки. Все понял, молодец ты у меня». И опять поет, но уже легкости той, давешней, нету, забота подваливает к сердцу, тревога – действительно, надо как-то жить, растить их, в люди выводить... Святое этого дела Тимофей не знает; да и нет, наверное, такого, которое чтоб нужнее, необходимее человеку было.

11.

Проснулся он ввечеру. Было тепло, сухо и тихо, солнце клонилось за степь, гнало сквозь реденький подлесок остывающие свои пологие лучи, надо было торопиться со сборами. За лето он отвыкал спать днем и проснулся потому с некоторой неловкостью, тягостью в душе, помня сон свой – никак не отходил сон, и Аксютку помнил – ждет теперь баба, места себе не находит. И жалко вдруг, так жалко ее стало и отчего-то ребятишек этих, которых не народилось у них, которых нету...

Крохалевский двор был несколько на отшибе от двух других, на виду у реки, под огромной корявой ветлой: домик неказистый, с пустыми темными стеклами окон, постройки тоже не Бог весть какие – две саманных сараюшки да тепляк, служивший, видно, и амбаром, и все это даже не огорожено. У варка скакал на цепи, завидя чужого, здоровенный пегий с проседью псина и не лаял – хрипел нутром, такой был злой. На его сиплый голос вышла худая загорелая, с сухим костяным лицом и хмурыми глазами хозяйка двора – Тимофей встречал ее временами в магазине и на сельском их базарчике.

– С час, как приехал, – сказала она ему на вопрос, – голодный как пес.

– Поужинал, небось?

– Да нет, не садились еще, собираю вот... Павлушк, тут человек пришел к тебе, – сказала она громко назад и посторонилась, пропуская гостя, цыкнула на кобеля: – Цыть, злоба! Глотку готов порвать, дармоед чертов. Ну-кось, я вот тебя дрыной!..

Пригнувшись, чтобы не задеть притолоки, Тимофей шагнул в избу, под низкие потолки.

Крохалев сумерничал, лампу пока не зажег; подавшись к окну, с очками на носу, разбирал в свете вечерней зари какие-то бумаги, тут же на лавке брошен был его планшет. Бумаг ему начальник навез, видно, много, они валялись в полстола, даже на прикрытом дежником хлебе в углу под темной, в бумажных блеклых цветочках иконкой. Он так занялся ими, слюнявя палец и перелистывая, что не сразу обернулся; а завидев его, вскинул голову и опять отвернулся с самым раздраженным видом, даже не кивнув, – мол, черт тебя принес все-таки...

– Пришел вот, Пал Николаич, – сказал Тимофей; в горле у него будто царапало, когда он говорил эти нужные слова, и он кашлянул в кулак, перемогая себя, готовясь. И оглянулся, ища, где бы присесть. – Ты уж не гляди, что так... Поговорить надо, вот ведь какое дело.

– Говорил ему – не приходи... так нет, пришел он все-таки. Что вот ты пришел, ну?

– Ну, как же так... дело-то надо решать.

– А его и без нас решат, не бойсь, – сказал, кривясь недовольно, Крохалев и тут же усмехнулся – и не злобно, а скорее с досадой какой-то, с грустиной. – Ты

што ж думал – там решать некому, что ли? Решат, за этим дело не станет.

– Да я знаю, что решат; так надо по-доброму как-то, по-людски. Посидим, поговорим... – Тимофей, помешкав, достал одну бутылку, за ней другую и, не глядя на будто бы неприятно удивленного хозяина, шагнул по за скрипевшим половицам к столу, поставил их помягче, не стукнув, за бумаги к хлебу. – Ты уж не гляди, сколько выпьем... Сам понимаешь. Я уж думал: с кем поговорить, как не с тобой. Дело-то оно такое, жизненное – так надо и поговорить, Пал Николаич, незачем с плеча рубить...

Он все это сказал поспешно, боясь, как бы хозяйину не попала с чего-нибудь шлея под хвост. Черт его знает, что вот он за человек – встанет да и пошлет куда подальше, а то и выгонит. Тогда каюк всему делу, второй раз сюда не придешь. Вся надежда пропадет, потому что какая надежда на Авдеенко, когда тот не за голову – за книгу сразу хватается, выискивает, как бы самому чего лишнего не сделать...

– Зря ты это, – сумрачно проговорил Крохалев, косясь на бутылки, – ни к чему все, зря. Я ведь на штучки эти не продаюсь.

– Да-к какая тут продажа, Пал Николаич? Я к тебе как человек к человеку, какая тут может быть... Я уж по-простому, ты меня пойми. Не беда, если сядем, поговорим... может, присоветуешь мне что. Не обессуди, Пал Николаич!

Тимофей присел на лавку и глянул хозяину в глаза тревожно и торопливо – лишь бы не погнал. И добавил, уже тихо, руками развел:

– Иначе пропаду я ведь... за так, как вошь какая-нибудь.

Крохалев засопел, повернулся к открытой в сенцы двери, крикнул возившейся у керогаза жене:

– Ты скоро там соберешь, копуша, сколь я ждать-то буду?!

– Успеешь! Ты вон с человеком поговори, к тебе человек-то пришел... Всамделе пропадает ни за что. Сам говорил – браконьер; а какой это, к шуту, браконьер, это мужик Аксюткин, я его знаю. Сроду этот твой Беленький что-нибудь удумает!..

– А ты молчи... молчи, не твоего ума это дело. Тоже мне влезла. Твое дело вон кулеш варить – вот и вари. И лучку, яичек принеси; нечего встревать, тебя тут никто не просит.

– А я без спросу! – совсем взъелась из сеней хозяйка и неожиданно появилась в дверях: с половником, в сатиновом грязном фартуке, глаза злые – будто только и ждала этого. – Ох уж и вора вы нашли с Беленьким этим, ох и герои... Людей постыдитесь! Что-то вон приймака этого, Заводского, вы не тронули – когда он пудами с реки носит, полселу продает... А к мужику прицепились. Заводский вон свиней – и тех рыбой кормит, сама его хозяйка сказывала... у него там полон холодильник рыбы всякой – а вы на мужика!

– Ну, я к нему в холодильник не полезу, – пробормотал Крохалев, стал собирать бумаги. – Его поди, поймай – черта с два! Он саму «гэпэу» обведет, старый... сатане в шапку наложит. Отстань.

– А вот человек к тебе пришел – а ты пойми! И так бирюками живем, Бог-знат где от людей хоронимся, а ты их ишшо принижать... Чем ты их лутше? Чей мы тоже среди людей живем!..

– Без тебя знаю, отстань... Вот бабы! – хмуρο, неопределенно кому сказал он, когда жена его махнулась юбкой наружу, во двор. – С живого не слезут.

– У меня своя такая, – подтвердил Иванов, покивал. – Это уж по штату им положено, заседать... Ну, что там, Пал Николаич, – в районе?

– А ничего... В суд Беленький на тебя строчит, документы оформляет. Залез в свою гостиницу и строчит.

– Так что ж – все теперь?..

– Откуда я знаю, все или не все... – Он наконец собрал, сгреб все бумаги, с досадой сунул их в планшет. – Конечно, не все. Главню дело впереди.

– Ты уж мне, Пал Николаич, присоветуй, как и что, – не поминай утрешнего. Знамо дело, горячка у нас вышла, каюсь... ну так что ж теперь, всю жизнь это помнить, что ли?! Надо по-доброму.

– Ладно, поговорим.

Хозяйка собрала на стол по-быстрому, на скорую, видно, руку: горячий кулеш, яйца, лук, огурцов малосольных на закуску, а под конец принесла большую закопченную сковородку, на ней шкворчали обваленные в муке куски рыбы. Собирала и все жалеюще поглядывала на Иванова, будто даже угодить ему хотела, и от этого Тимофею вдвойне связно было, неловко, не знал, куда руки-ноги девать.

Есть начали молча. Крохалев, взявши на себя хозяйские обязанности, тоже, видимо, торопился избавиться от вдруг возникшего этого неудобства, то и дело подливал в маленькие граненые стаканчики; Тимофей не ходил в себе смелости да и желания отказываться, и сам не заметил, как захмелел. Хозяйка пригубила, поморщилась и все ж выпила с ними первый стаканчик и ушла ужинать в переднюю, к двум их сыновьям, диковатым хуторским парнишкам.

Наконец Крохалев по-ребячьи облизал ложку и от-

ложил ее, налил из второй бутылки и за весь вечер впервые, может быть, глянул Иванову в лицо:

– Вот я тебе что скажу: пиши заявление на имя прокурора. Так, мол, и так, акт этот неправильный, и ни в какую, мол, не согласен, а подписался, что ознакомлен, потому, что... ну, что заставили, пригрозил Беленький, а я даже и этого не хотел. Так и пиши: не согласен, не по своей воле, да и не знал, мол, что всерьез.

– Ну да, так – а как же еще? – согласился Иванов поспешно. – Думал: поймут, уладят, то-се...

– Вот так и пиши. А еще надо общественность на ноги поднять, – Крохалев хмыкнул, – с карачек. Сельсовет, колхоз там. Пусть они тебе характеристику напишут. На войне был, ордена-медали имеешь?

– Есть одна, как же.

– Что так мало? – поинтересовался Крохалев и усмехнулся невесело и будто даже с пренебрежением.

– Ее и одну надо заработать, за так я не получал. Кому-то, может, и слетали, а мне нет. Два ранения, а медаль одна. Это когда нас в Трансильвании на перевале остановили, когда...

Иванов запнулся, поднял глаза – слушает его рыбинспектор или нет; а то, может, и не стоит рассказывать, досаду разводить. И рассказать неплохо бы, все живее разговор пойдет. Крохалев слушал, тяжело уставившись в пол, внимательно слушал, даже головой кивнул.

– Да оседлал, понимаешь, его немец один с крупнокалиберным, к ночке поближе, ну и держит целый полк – как в узде, голову не поднять. Он потом нас часто так останавливал на перевалах: днем идем, а как ночь – стоп, ночуй, на плечах не дает, не дурак... Тыкмык, ничем его оттудова не вытуришь. Я и попадись

ротному на глаза, лейтенанту нашему Фадееву, он как раз, так тебе сказать, добровольцев набирал. Шутник был лейтенант, часто шутил. Што-то, говорит, серый ты у нас Иванов, сроду тебя не отличишь среди других. Всегда ты, мол, в середке, как плохой баран в стаде. Ну, я не стерпел. Почему ж, говорю, в середке; как в атаку, так я всегда впереди вас, товарищ лейтенант, бегу, вон и другие подтвердят. Гляжу – озлел он. Ладно, говорит, вот столкнешь фрица сверху, тогда и разберемся. А все-таки у тебя даже фамилия такая, маскировочная, – это все равно, что среди серых серого найти... Ну-ка, мол, отличишься! Ну и послал наверх.

– Одного, что ль?..

– Да не, целый, считай, взвод. А там кругом камень, рикошет страшный, пули на все голоса кричат. Как пройдет по проходу, долбанет – ребят аж переворачивает, катит... как ветром гонит мертвых. Нас человек двадцать послали, а целыми вернулись я, да Ильичев Микишка вернулся, да еще один, из другого взвода, не помню фамилии. Две гранаты кинул – да разве докинешь, вверх-то. А тут меня этим рикошетом по каске так шарахнуло... думал, значит, что все. Сознание потерял. Ну, немец еще прошелся поверху, причесал все как следует, патрон не жалел, и командиры наши решили: привал, ночевка. Да и в самом деле: куда, на ночь глядя, поперешь на крупный калибр? Весь полк покалечит.

– Ну, и как же?

– Да вот так. Очухался, значит, лежу, не шевелюсь. Часа полтора так пролежал, а с темнотой уполз, темнеет там быстро. Утром проснулись: тишина, воздух чистый такой, каждый камушек на том перевале видать – а немца уже нет, смылся, окурки одни с гильзами на том месте. Фадее-

ев мне опять: ну, повезло тебе, серому, опять ты в самой лучшей середке оказался. Награждать тебя, говорит, вроде незачем, ты и так награжден, жизнью то исть, – ну, ладно, выпишем тебе «За отвагу», носи... Взяли и выписали.

– Ну, а эти... юбилейные?

– Медяшки, што ль? Есть. Так они ведь не в счет, вроде того.

– Все пусть пишут, тебе теперь всю жизнь надо в кулак собирать... И трудовые тоже. А теперь по чести скажи: как все у тебя вышло, с рыбой-то?

– Как говорю, так и было, Пал Николаич... Христом-Богом!

Тимофей замолчал, не зная уже, что еще сказать, как поклясться им всем, сволочам... Навалился на стол – сказать бы им. Ну не верите, мол, так сажайте, черт с вами со всеми! Что ж вы думаете, я не отсижу?! Отсижу, не бойтесь, я и не такие страсти видал... только вы-то вот куда свою совесть денете, я не знаю!

И не сказал ничего, начал шарить по карманам, курево искать, угнулся – показалось, что на глаза наплывает...

Рыбинспектор что-то понял, завозился на лавке, вздохнул.

– Ладно, я что-нибудь постараюсь. Мне оно тоже, при моей работе... Ладно. Пиши завтра, к прокурору езжай, а я, может, с Беленьким...

– Я вот сама ему скажу, этому Беленькому, – встряла, громко и по-прежнему зло, хозяйка из передней, загремела там чашками. – Что ж ты, скажу, на мужика такое валишь – разуметь ведь надо!.. У него ж как-никак семья, сам всю жизнь работал, жена тоже...

– Не моги!.. – будто отрезвел хозяин, бросил бешеный взгляд туда, к передней, ударил кулаком по столу;

бутылка подпрыгнула и стала валиться, растерянный Тимофей еле успел ее подхватить... – Ни слова, слышь... укатаю тады, как валенок! Моду взяла – лезть! Не моги. А то я т-те раз и навсегда отучу, пилу поперешную, – пенька бояться будешь!

Баба там заплакала, захлюпала носом, это он явно слышал, и что-то такое приговаривала, до Иванова только отдельные слова доходили: «Семой год... бирюками, Господи... людей не видим, а рази так надо бы?... А ему хоть бы хны... паразитство!»

Крохалев тяжело встал, с маху закрыл, стукнул дверь в переднюю, чтобы не слышать. Постоял, глубоко о чем-то задумавшись; и очнулся, провел широкой, толстой и сильной ладонью по устало набрякшему лицу, сказал:

– Ну, все. Об этих наших посиделках никому... ни к чему это. Что смогу, то сделаю, а остальное как Бог даст... А эту, – добавил он, ткнув в сторону початой бутылки, – убери, чужого мне не надо.

– Может, мы еще...

– Нет, забери.

12.

На западе слиняло, смеркло. Едва подсвеченные, словно там пыль висела, брезжили туманно-тусклые пласты закатного воздуха, нечетко означали собой гривку пойменных осокорей, по всему глубокому небесному своду небогато, по-летнему, вызвездило. Ночь наступала душная, изморная, с полей наносило ровным, как из хорошо протопленной печи, жаром. Именно этот устоявшийся жар земли и не сулил ей ничего хорошего, был ненормальным, опасным, как жар больного

человека – его, Тимофея, жар... Так это показалось ему, слишком уж обузно был он одет по такой погоде: сапоги, рубаха фланелевая да еще пиджачок. Но уже на подходе к низким редким огонькам села он и впрямь что-то вспотел, а тут еще и выпитое сказалось – будто устал, притомился за этот долгий день, ноги как одеревенели, и пот был не пьяный, легкий, а липкий какой-то и никак не просыхал. Все к одному, думал он – а-а, шут с ними со всеми. Главное дело – поговорил хорошо. К прокурору съезжу, бумаги представлю – что уж, не поймут, что ли. Хорошо бы и этого... Беленького этого повидать, поговорить; не должно, чтобы не понял. А штраф придется заплатить, не без этого. Жалко было ни за что ни про что отдавать свои трудовые – ну, лишь бы выкрутиться, освободить душу. Вдругораз будешь знать, где горячо. Хоть Аксютку-то успокою, подумал он, а то вся теперь извелась, изждалась дома. Успокою, а там будь что будет. Нам горе, а бабам вдвойне.

В эту пору обыкновенно и Аксютка, и он, прибрав дома и во дворе, уже спали – ночь коротка, не успеешь головы приклонить. Войдя во двор и проходя мимо освещенного окна, Тимофей увидел, что она сидит за собранным к ужину столом; что-то там приготовлено и накрыто рядниной, а она сидит, уронив простоволовую, со сбившимся на плечи легоньким платком голову на руки, – спит, бедолага, намучилась...

Аксютка встретила его в дверях, услышала, должно быть, стук калитки.

– Слава-те, пришел... Да что ж долго так – иль опять что случилось?

– Да ничего не случилось, Ксюш... ничего, все хорошо. Из району он поздно вернулся, ждать пришлось.

– Господи, а я тут все глаза проглядела, все жданки съела – вдруг, думаю, на дороге встретят, не покажут?.. Что ж ты мне, Тимош, сердце-то рвешь... с полден ушел и не показывается! Мне-то какво ждать, каждый стук ловить?! Ну, как он, сам-то, – как принял?

– Да как... Вроде б хорошо поговорили, советы он давал. Человек он тоже подневольный, что с него возьмешь.

– Обнадежил?

– Есть маленько.

– Ты вот садись давай, ешь, рассказывай скорей... Все уж простыло – подогреть?

– Ни к чему, – сказал он, невесело усмехнулся, – в гостях, чей, был. Две, считай, бутылки усидели. Чаек согрей, чтой-то знобит меня.

– А все река, – не выдержала, сорвалась Аксютка, судорожно как-то, будто наплакавшийся ребенок, вздохнула. – Она все, проклятая, – о Господи!..

Когда легли, было уже за полночь. Духота не спадала, в открытое во двор окно с недвижными занавесками шел слабый, но внятный запах политой в саду земли, тяжело пахли, дышали у соседского плетня помидорные кусты и свиристели, будто на кусочки дробили отяжелевшее время полевые сверчки-цикады, томяще и длительно до изнеможения. Село глухо спало, ни звука, и от этого тоже было почему-то тяжело, горько: все отдыхали, спали, а они не могли.

– Как будто год тебя не видела, заждалась...

Ксения лежала, тяжело привалясь к нему, прижавшись, спрятав как всегда руку свою, грубоватую и нежную, у него под мышкой; в который раз вздохнула в плечо ему, глаза ее сухо блеснули в темноте – не спалось.

– Вдруг взаправду увезут, что я тогда без тебя делать буду?..

– А ничего. Гляди, замуж еще выскочишь... не стены же стеречь.

Он это, по обыкновению своему, грубовато пошутил, недовольный, что разговор опять все о том же, или хотел так пошутить – и понял, что это почему-то слишком уж всерьез у нее вышло, слишком похоже на нее, чтобы шутить... В самом деле, что она делать будет – в четырех стенах маяться, лямку тянуть, ждать?

Ждать, а что ж еще. Она, что ли, первая?

А сам уже, кажется, знал, уже почти уверен был, что все будет хорошо лишь тогда, когда он вот так, при ней, лежит с ней рядом – и уверен; а остальное как-то неопределенно все, темно, мутно и наперед ничего не скажешь... Он вот – что он может сказать? А ничего. Одна в избе, а тут праздники пойдут, а она во всем селе одна, потому что и родственников-то кот наплакал, разъехались все и повымерли, сотняшки несчастной не у кого перехватить, и праздники нынче пьяные, пьяней вина пошли, а она легко пьянеет, с готовностью, еще не выпила, а глаза уже блестят, бабы – они все такие... «Я бабе верю, пока она со мной лежит». Ты где-то там, а у них природа, вот так. Что-то уже и утром было, среди мужиков, он тогда просто не додумал, Авдеенку ждал и надеялся, что тот все как-то разрешит, всю бестолочь эту, нелепость, которая порой наваливается ни с того ни с сего на человека, отбивает руки и охоту ко всему именно нелепостью своей, несообразностью с обычной твоей жизнью... Побоялся додумать, вот что; ну, а теперь как?

Ксения завозилась, как бы устраиваясь поудобнее, привалилась еще, руки стали жестче и нежнее и не

скрывали уже, что это значит. И ему стало так тяжело, что он тоже заворочался, отстранился от палящих под скользкой рубашкой бедер ее – и вдруг приподнялся, скинул ноги с кровати и сел.

– Ты чево? – Ксения нашла горячей рукою его плечо, потянула к себе, голос ее, несмотря на тревожность, не остыл, не остывал от ознобного, требовательного, теперь почти необходимого, что хотели они себе позволить сейчас. – Что ты, Тимош?!

Известно, что вы делаете... что делать будешь. Захотелось ударить по этим рукам, по лицу – чтобы мигом слетела, в страх превратилась вся эта до противности теперь ему знакомая истома ожидания, руки эти, дрожь, в темноте глаза – когда она, казалось, и его самого, и себя забывала, беспомощной становилась, торопливой и только ждала истово, каждый миг свой ждала... Побыстрее спустил ноги на гладко крашенный – ледяной, показалось ему, пол и молчал, студил ноги и себя.

– Тимош, ну что ты?.. – говорила и тянула его к себе Ксения, торопливыми руками ласкала и опять тянула, приподнявшись и дрожа. – Ну, ляжь, иди.

– Ну-ка, обожди, Ксюша... подожди, – глухо сказал он. – Ну, не надо. Не могу я, неможется что-то. Видно, простыл все ж... Ну хочешь, я на диван тогда пойду?

Она отрывисто вздохнула, упали ее руки, и сама она медленно легла и затихла, ничего больше не говоря. Потом повернулась к стенке, и ему почудилось, что она плачет.

13.

Проснулся он, когда жена встала доить корову. В окне понемногу светало, стало прохладнее; и Тимофей видел с дивана, как накинула она юбку и теперь

торопливо, резко застегивала кофту, приглядываясь к часам, с лицом припухшим и злым. Теперь все, весь день наперекосяк, памятьлива на это. Ему на минуту стало будто жалко ее – и раздражало: ей-то что, встряхнулась и пошла, а его беда только начиналась...

Часа два-три, что он спал, будто отяжелели его, сделали непослушными глаза и тело. Это он сразу понял, когда еще попытался взглянуть на ходики, – так и есть, простыл. Да где простыл – вправду на реке, что ли? И на реке, а что ж ты думал? Или когда спал там, на берегу. Стареешь, и оттого как ребенок, никакой пустяк даром с рук не сходит. В другой раз, смотришь, весь насквозь прокалишься, намерзнешься – и хоть бы что, а здесь сквознячка с реки хватило...

Он думал так, тяжело и безразлично, пока чуть не наугад искал в комодке коробку с лекарствами. Были всякие тряпочки, скользкие чулки, наперстки, баночки с кремом, пахло ими, нафаталином и почему-то йодом – пролилось, наверное. Нашел аспирин и пузырек с порошком ветеринарного пенициллина, развел водой из чайника, разом выпил и лег, было муторно. И, кажется, только глаза сомкнул, как затрясла его за плечо жена; он разлепил набрякшие нездоровьем глаза, было утро, раннее солнце слепило в кисею занавесок.

– Ты вроде ехать собирался – вставай-ка... Семь уже. Што лекарство-то пил, иль в самом деле приболел?

Он еле кивнул, сел на диване; все качнулось, будто поплыло в глазах. Ксения, сложив руки на груди, внимательно смотрела на него, смотрела даже настороженно, и это было неприятно Тимофею, опять раздражало, хотя и не до этого уже было. Тело с неохотой, с трудом ему подчинялось, суставы скрипели, разламывало их

усталостью и пугающим бессилием – как же он поедет? Медлить нельзя. Вчера еще, засыпая, решил: хоть в ноги этому Беленькому упасть, а не допустить... Нельзя допустить.

– Да ты, Тимош, и вправду чтой-то разомлел... – неуверенно сказала Ксения, обеспокоилась, опустилась рядом. Тронула за плечо, потом быстро, словно боясь, ко лбу ему руку приложила. – А жар, жар-то... Да где ж ты схватил-то, миленок?

– И сам не знаю, Ксюш... – проговорил он; это было примирением, все ночное, значит, отошло и надо было ехать, не допустить.

– Я тебе молочка сейчас, я скипачу... а ты уж разгуляйся, Тимош, – ничего, пройдет. Ты не сказал, а мне и невдомек, дура, что захворал мужик, – расстроено говорила Ксения, хлопотала у примуса. – Господи, вот дура-то... Ты что ж ничего не сказал?

– Да как не сказал... я говорил.

– Говорил он... А у самого жар, хуть спички прижигай, глаза вон какие. Надо говорить.

Он кое-как оделся, умыл тяжелое, чужое словно лицо. Чернил в доме не оказалось. Аксютка побежала к соседям за авторучкой и вернулась совсем расстроенная, с еле сдерживаемой слезой в глазах – все уже знали, что случилось. Стала было рассказывать, что говорят, но Тимофей сразу, как с ним еще не бывало, озлел, бросил на стол ручку; и она поняла, замолчала, принялась ходить по избе, прибираясь, поджатые губы ее то и дело поводило. Бабы, подумал он, – ох, бабы!..

Писалось трудно, труднее, может быть, чем когда-либо. Он зачеркивал, писал дальше и опять видел, что получается как-то не так, не то, что надо, и не с такой

ловкостью и строгостью, какую он всегда замечал в документах или газетах – хоть и не часто, а в газеты заглядывал. Можно было сходить к старому учителю физики, неподалеку тут, грамотный и строгий человек, или к студенту Рябухиных, те бы живо написали, их всякому научили в институтах, натаскали; но представил, как и там все надо объяснять, среди рябухинских-то баб, – нет, пиши уж сам, как умеешь. Сумел натворить, умей и отвечать. И продолжал писать, клонясь тяжелой головой, поглядывая на часы, до автобуса в райцентр оставалось немного и надо было успеть.

Начисто переписывал, старательно сдерживая руку, боясь второпях сделать какую-нибудь ошибку: «Товарищу районному прокурору Худякину Н.М. Заявление. 8 июля сего года я, Иванов Тимофей Васильевич, села Кузьминки, рыбачил на реке с двумя донками и одну на голавля и зацепился удочкой за шнурок. Когда начал тащить, то оказался это перетяг неизвестного мне лица, я не знаю чей. На перетяге оказался осетр уже снулый, я его вытащил, не бросать же в воду. А когда хотел перетяг назад поставить, он же чужой, то появились товарищи рыбный инспектор Крохалев Павел Николаевич и товарищ из области Беленький, не знаю имя и отчество, и обвинили меня, что это я ловлю государственных осетров. А я не ловил, он попался нечаянно, я сам не знал. И пьяный я не был, потому что как таковой непьющий и никогда в пьянстве замечен не был, тем боле с утра. Тогда они составили акт, что я поймал запрещенного осетра и сопротивлялся и пригрозили мне участковым товарищем Быковым. А я не сопротивлялся, просто обидно стало, так как винят в государственном во-

ровстве. Потом мы все пришли в сельсовет и там говорили с председателем товарищем Авдеенко Афанасием Григорьевичем. Он сказал, что мы примем меры, но товарищ Беленький решил подать в суд. Потом они сказали, что если не подпишу акта, то будет еще хуже, то есть угрожали. Тогда я подписал акт, в чем сейчас отказываюсь, так как не хотел подписывать акта. Товарищ Авдеенко велел мне подождать, как все будет дальше, но я решил написать заявление как документ, что я не хотел подписывать акта и не виноват в хищении государственного осетра, которого забрал с собой товарищ из области. Я участник Великой Отечественной войны, имею боевые медали и всю жизнь работал на тракторах, какая уж тут рыбалка, и числюсь как нормальный колхозник колхоза «Вперед к коммунизму». Прошу вас разобраться со всем этим делом и помочь мне, иначе пострадаю, как невиноватый. И арестовывать меня не надо, никуда я не убегу. Очень прошу в моей просьбе не отказать. Подпись. Колхозник колхоза «Вперед к коммунизму» участник войны механизатор второго класса Иванов».

14.

Прокурора Тимофей не застал, тот был где-то в отъезде. Пришлось подождать и секретаря его, он должен был вот-вот подойти, как сказали ему, спросившему, два сидевших на деревянном крыльчке прокуратуры мужика. Этим мужикам тоже, видно, имелось дело до прокурора, но были они вовсе не в заботе, один даже весел: покуривал и цикал слюной в лопухи палисадника, разглядывал с прищуркой окна учреждения. Под ногами другого стоял плотницкий ящик с инструмен-

том – похоже, что-то подлатывать или на новый манер переделывать пришли.

– Куда как старо, и говорить нечего, – соглашался с веселым другой, постепеннее. – С мальчонков помню, еще тогда его все переиначивали, дом. Сначала атаман, потом уисполком тут размещался. Батю, помню, сюда вызывали, чуток не порешили на Беломорканал. А дом все стоит, люди только меняются.

– Новые пошли, – сказал веселый, скосился на ближнее окно, в котором сидел, склонив голову набок, и что-то быстро писал учрежденец. – Ишь как строчит, за ним куда... не угонишься. Задаем мы им работку.

– А и новые-то, – опять согласился степенный. – Нам не привыкать.

– Так он что, – спросил Тимофей еще раз, – обещал вам, что придет?

– Было такое, грозился подойти... Да вон, кажись, и секретарь, легок на помине. Что, дело какое?

– Да есть.

Молодой секретарь принял бумагу. Быстро прочитал, посунул пальцем очки на переносице, хмыкнул и посмотрел на него долго, почти ласково. То ли еще не успел попривыкнуть ко всем этим судейским, таким разным делам и потому смотрел на всякого с любопытством, то ли такой человек, что все ему в интерес было.

– А вы быстро, однако, работаете, – сказал он, положив руку на одну из папок. – Вот уже и Беленький принес, только что ушел. Все честь по чести оформил, состав налицо. Передадим следствию. Давно у нас такого не было, браконьерства-то, давно... То ли дичи с рыбой не стало, то ли плохо смотрят... Так, значит, водится еще рыбешка?

– Да откуда ж я знаю, товарищ... Первый раз в лето вышел, сазанишку было достал, обрадовался. А тут зацепило как назло.

– Ну-ну, – усмехнулся секретарь, повертел его бумагу. – Так, значит, ждите, следовательно вас вызовет. Арестовывать вряд ли пока будем, дело покажет.

– А может, не надо, следовать-то... – попросил Тимофей. То ли от слов, то ли от снисходительно-ласковой усмешки этого малого опять стало ему одиноко и тяжело, пусто кругом – как одному в буране, когда идти некуда. Так еще бывает, когда видишь глупую улыбку у человека, балующегося с чем-то опасным, серьезным, с чем и баловаться-то нельзя... Что вот ему сказать, и кто ему, колхознику, поверит? Он ведь и одет-то – стыд один, как одет, понял вдруг, будто со стороны глянул на себя Тимофей: костюм простенький, мятый, ботинешки, побриться даже не успел – и, главное, сам он, лицо и глаза больные, будто припыняные от мути этой в голове. Господи, еще и это... – Что там следовать, и так все ясно. Авдеенко сказал, что, мол, сами разберемся...

– Ясно?! Да я бы так не сказал... А для него вот, – он кивнул на папку, – другое ясно. Со стороны посмотреть, так вы все правы. Следовательно и разберет. Тем более, что вам тут инкриминируется и сопротивление в пьяном виде... впрочем, нет еще, не инкриминируется, но будет. А вы говорите – ясно.

– Да не был я пьяным и не противился, я только...

– А этого я не знаю, – опять с улыбкой и долго посмотрел на него секретарь, помолчал. – Значит, ждите.

Спускаясь деревянной скрипучей лестницей прокуратуры, Тимофей уже знал, куда пойдет – к Беленькому,

в гостиницу около чайной. Поторопиться надо бы, за-
стать, вдруг куда уедет.

Райцентр сделали из такой же бывшей станицы, как и Кузьминовская: те же рубленые и саманные домишки, сады за разномастным штакетником, только меньше травы и на дорогах асфальт кое-где – недавний, новый, и старый, в колдобинах и морозобойных трещинах. В центре высилась трехэтажка профтехучилища, где обучался Василий, новенький райком с райисполкомом и еще несколько административных зданий белого силикатного кирпича и с голыми большими окнами. Там же была и гостиница. Иванов скорым шагом, прибавляя себе этим решимости, натываясь иногда глазами на плакатные с бараньими глазами олицетворения труженников, пошел туда. Солнце палило уже по-обеденному, ни ветерка, он весь взмок, ослабел, и платочек, сунутый Аксюткой ему на дорогу, не помогал, весь мокрый был и только раздражал. По шлаковой хрустящей дорожке через пустырь прошел на зады чайной-ресторана, торкнулся в двери гостиницы, такой же новой и голой. В вестибюле было чуть попрохладней, пусто и гулко, и его сразу услышали: из двери с табличкой «Директор» выглянула женщина в синем рабочем халате, накрашенная, с белыми пышными волосами; а за ней в глубине кабинета он тотчас узнал Беленького, копавшегося в нагрудном кармане и что-то с улыбкой говорившего ей. Женщина посмотрела на вошедшего пустыми глазами, что-то хотела сказать и не сказала. И Беленький тоже увидел Тимофея и, кажется, сразу узнал: с остывающей улыбкой шагнул к двери, нахмурился и закрыл ее, даже пристукнул.

«Уезжает, что ли, – со злостью и усталостью подумал

Тимофей. – Ишь прихлопнул, глядеть не желает... А я все равно тут, мне теперь идти некуда. Я не гордый, подожду, нам не в первый раз. Подожду, не привыкать. Мне бы дело сделать, а там ты мне не нужен, хоть век потом не приезжай... хоть сдохни где-нибудь там, все равно».

Он сел на единственный в фойе дерматиновый диван, оставшийся со старинки, похоже, – так, чтобы дверь была на виду. И закрыл глаза, слушая свою тяжелую, будто гудящую кровь, сразу же ощутив в покое, как разламывает ему тело болезнь...

Да как же это с тобой случилось все, как попал ты так? Из жизни своей выбился почему, толкал тебя кто, что ли?.. Жил ведь и не ведал, что хорошо живешь, и не знал, что такое вот может быть, что как пес будешь ходить выпрашивать, свое же выпрашивать, заработанное, вроде того, заслуженное. Пятьдесят лет жил как все, семью кормил, государству доход давал, а теперь вдруг не то сделал, провинился – и, значит, садись в кутузку, парень, учись, исправляйся... Чему меня учить-то, не пойму, в какую это сторону исправляться, правленому? Почему на меня-то – меченый, что ли, я?.. А видно, меченый, раз уж на то дело пошло. Виноватый. Видно, виноват, не досмотрел за жизнью, за собой, а жизнь взяла и напонила, что ты есть собой... трава, а пришла корова и съела, вот и все дела. Ты ж и виноват, кто ж еще. Других тут нечего винить, у них у каждого свой интерес, они доглядели, а ты нет, они за жизнь двумя руками держатся, а ты забыл, отпустил... Загляделся, тебя и махнуло. Вон аж куда замахнуло, в гостиницу; сидишь вот, поджидаешь какого-то чистоплюя, виниться хочешь. Ты перед жизнью винись, перед ней виноват, перед Аксюткой, сынком своим единственным, им через тебя разве сладко?.. Что вот на нее вчера разби-

делся, ее тоже обидел? Она баба, ей тоже свое надо, ждала тебя. А ты черт знает что, из себя весь вышел. При ее-то естестве другая бы давно все ворота растворила, только б и глядела... а она верная, в ней другой характер есть: со смехом, небось, а Киргизенка-то отмахнула, не больно с ней нашутишься, сам ведь знаешь...

Открылись дверью голоса, и он будто очнулся, привстал, глядя навстречу выходящему начальнику; а затем и вовсе встал, дожидаясь, тот шел к лестничной площадке.

– Здравствуйте, – сказал Тимофей. – Я вот тут вас жду...

– А меня не надо ждать, зачем я вам? Все, кажется, сказано. – Он окинул Иванова сощуренным взглядом, скорбно сложенные губы его чуть дернуло. – Я не хочу больше с вами разговаривать.

– Я ж воевал, работал... зачем вы меня так?

– Меня это, знаете, меньше всего касается. Я имею факт, что вы нарушили закон, который мне... выполнение которого я обязан наблюдать, вот так. Вы нарушили, я увидел и доложил – что тут сделаешь? – Он почему-то волновался, раздражен был, говорил как-то неправильно и все оглядывал Тимофея, губы и вовсе сложились скорбно-презрительной скобкой. – Суд решит. А вы, очевидно, опять подшофе.

– Как? – не понял Иванов.

– Ну, выпили – так?.. Нет?

– Что вы, зачем это я буду... Приболел, это верно, простуду схватил где-то.

– Простуду, говорите? – Он покачал гладко зачесанной, но с висков все равно курчавившейся головой. – Простуда, понимаете... Нет, мне нечего сказать вам. До свидания.

– Товарищ Беленький, я прошу... Истинный вам крест говорю, не мой перетяг, по нечаянке все вышло. Зацепилось – ну и вытащил, не бросать же...

– Не надо мне никаких крестов, зачем? Вы пожилой человек, войну прошли – и такие слова! Какой крест?.. Кто нарушил закон – вы или я? А теперь вы мне говорите, просите, небриты и... вы посмотрите на себя!

– Так ведь торопился...

– Не надо было торопиться, я вам все сказал. А суд рассудит, – сказал он нервно, обошел его и стал подниматься. – И нечего просить, Москва слезам не верит.

– Так я же к вам как к человеку – а вы што?! Неужель понять нельзя!..

– Нельзя и не хочу. Это, извиняюсь, прерогатива суда, вот пусть он и понимает. До свиданья.

– Нечистый ты человек, – хрипло и громко сказал ему вслед Тимофей, сплюнул, повернулся и пошел к дверям.

И не дошел. Директорская распахнулась шире, и та самая женщина с белыми волосами встала на пороге, возмущенно закричала:

– А что это вы тут безобразничаете? Что ты расплевался здесь – дома, что ль?! Ты дома жене плюй, нелюдь... убирай еще за тобой! Напьются, оскотинеют, приличным людям от вас покою нет. Муж-чина... Проваливай давай!

– Да ты что, тетка... – Иванов обернулся, посмотрел мутно и недоуменно – что это она, как с цепи сорвалась... – Ты подожди... чево ты кричишь?

– Тово! Проваливай, говорю, дома себе плюй! – Она разозлилась и покраснела, еще разлохматилась, глаза смотрели прямо-таки с ненавистью. – А то милиция живо разберется. Нелюди! Шатаются по задворкам, бу-

тылки собирают... бутылошники! Плевки твои поганые буду подтирать – еще чего не хватало!..

– Ничего, ничего... пусть уходит, – сказал Беленький с площадки второго этажа; он, оказывается, еще не ушел, слушал. – Бросьте, Антонина Федоровна, зачем это вам?

– А вот милицию сейчас, она рядом... чтоб знал! Проходу от таких нет, дожили, на улицу хоть не выходи!..

Она глядела с такой смелостью и ненавистью, что Иванов отступился и пошел к дверям, преследуемый голосом. И, взявшись за ручку, опять остановился: неожиданная, незаслуженная ненависть ее поразила, нашла-таки больное место – он поганый?! Почему это он поганый, за что? Что он такого этой дуре сделал?

– Ты вот что... – сказал он; и шагнул к ней, тотчас дрогнувшей. – Ты если сейчас не замолчишь, я... Пожалей себя. Ты дура, а кричишь. Нельзя так.

И вышел, сзади него не сказали ни слова.

15.

Вечером Аксютке пришлось сбегать за фельдшерницей. Та первым делом поставила градусник и велела разжечь примус, иголки прокипятить. Дом у нее, огород, хлопоты с дочерью, которая куда-то там поступала, – замоталась, мол, первый раз пришла на вызов без готовых иголок... И ведь врет, всегда так вот врет. Они ушли в заднюю половину, готовили там укол, и одно Тимофей мог уловить: что фельдшерница хочет выпытать подробности, все село, видно, только и говорит о нем одном, всякой новости рады, без разбору... Он слышал, как она юлила, подкатывалась то с одного, то с другого боку, как жаден был голосок ее на вопросы, и ему стыдно и плохо было, беспомощно, и ненависть разбирала тем больше, чем

наглее выпрашивала, лезла им в больное фельдшерица и врала – про иголки и еще что-то, про горе свое и людей по его, тимофееву, случаю... Загорюют они, жди. Он завозился на диване, сел, хотел было встать; и не сделал этого, только позвал жену – голосом неожиданно слабым, скрипящим, будто и не подчиняющимся ему уже:

– Аксют... Ксень, поди-к сюда...

Она мигом услышала, появилась, замахала руками – лежи уж, мол, куда разрогатился. Иль что надо? Принесу, долго ль мне.

– Ничего не надо, что ты... Я сам. – И шепотом, морщась зло и кивнув на ту половину, сказал: – Ты этой... нечего им говорить, ну их всех к черту.

И лег, не глядя больше ни на что, – хоть здесь упредил. Да разве он упредил, разве упредить это? Нет, позор теперь навек. Ах, как некстати все это с ним, как не надо бы хворать сейчас – а ходить, стучать в двери, метрики эти собирать... Видно, все к одному, в который уже раз подумал он – зачем, кому это нужно-то? А никому, жизни. Жизнь это его требует отвечать сполна. Он думал, она прошла, а она – нет, свое стребывает, налог свой, никому не ведомые проценты эти... Знать бы, что это за процент такой; везде знаем, а здесь нет. Большой процент, невмоготу.

Было душно, ночь наступила такая же, как и прошлые. Опять завели свое, засвиристели полевые сверчки. Время делилось, дробилось ими до мельчайшего и не кончалось; едва лишь замолкал один, справившись со своим кусочком, как начинал другой, надсадно звенящие заунывные трели их низали и низали на себя темное ночное пространство, пронизывали его и шли уже высоко, над черными садами, полями, в самое небо, к острому и холодному звездному сееву, и не было это-

му конца. Диковинно рос, тяжелел процент. Вроде бы уже и некуда было расти ему, а он все рос; и чудом не падал, не крушил, вконец отягощенный, что-то хрупкое, человечески незащищенное, которое чувствовал в себе и берег Тимофей Иванов, около которого ютилась, грелась и радовалась его душа... Он вдруг узнал, страхась, что пропади эта стеклянной хрупкости частичка его человеческого – и сам он пропадет, сгинет неведомо куда, будто и не был, и никто не спросит и не пожалеет, забудут, был ли он вообще и зачем был.

Надо было как-то спастись, потому что процент рос и грозил обрушиться – каждый миг, каждую секунду жизни его, отмеренной сверчками времени. Жаркая тяжесть, облепив плечи и голову, гнула его, клонила, он упирался, чувствуя, как деревенеют обессиленные руки и ноги, все мышцы его, заходятся в последней истоме усталости, слышал испуганный голос Ксени – «что ты, что ты, Тимош?!» – а тяжесть была не только сверху, извне, а и в нем самом, это казалось самым страшным, здесь он ничего не мог сделать, только молиться и надеяться... Господи, Боже, молил он, не урони. Сбереги, я все сделаю – только скажи. Вели, я любой процент отработаю, не урони, чему ж я радоваться тогда буду, зачем был?.. Не за себя молю одного, за всех, всем тяжело – спаси нас. Тимофей молился этому хрупкому, он знал, что это и есть Бог, и если он молится за Бога Богу, то так это и надо, в этом было его и других спасение и ни в чем другом больше. Прости, если погрешил, не могу я не грешить, человек потому что. Процент потому что большой, не по силам; а ты не поможешь если, то пропаду, все пропадут, все тогда к одному концу будет, без Бога, – зачем мы тогда, для чего? Сил уже не оста-

валось, а он держал, продолжал еще что-то непосильно тяжелое, нещадное удерживать, и пели кругом цикады, славили время, вознося свои трели высокому и темному, открытому для всех молитв небу.

16.

Наутро пришел кузьминовский их врач Пеннер, высокий хмурый старик из поволжских немцев. Наскоро осмотрел, прослушал и сказал, раздраженно выдернув из ушей блестящие трубочки стетоскопа и бросив его на дно чемоданчика:

– Абсцидирующая пневмония, будем вызывать «скорую».

Иванов молча покачал головой, натянул одеяльце.

– Что, чем недоволен – болезнью? Болезнью никто никогда не бывает доволен.

– Не поеду, – сказал Иванов. – В район не поеду, нельзя. Пусть фельдшерница тут колет... скажите ей, пусть приходит.

– Ну, мне лучше знать, где и как тебя лечить, оставь свои капризы.

– Не капризы это – нельзя мне! Что мне просить-то всех вас приходится... – Тимофей чуть не плакал, стало обидно вдруг донельзя. – Куда ни сунься, везде просить... Что я задолжал-то вам всем, не пойму? Иль я что – не так живу, мало работаю? Везде укор, сторожа... едоков поразвелось. В город приедешь, там этих едоков тьма и все недовольны: плохо, говорят, нас кормите... А сами, доведись, навстречу шажок не сделают, улицу не покажут, как пройти... Не поеду я в эту казарму, зачем мне? Мне тут надо быть, нельзя, оставь меня здесь.

– Ну, хорошо... хорошо, я ей скажу. За таблетками

пусть жена придет, у меня хорошие есть таблетки для тебя. А прокурору позвоню, я слышал. Он здоровый мужчина и должен... Да кто мог поставить его, это... э-э, орудие? Это же варварство.

– Господи, да откуда мне знать?..

И отвернулся к стенке. Ему было сейчас почти все равно, как там все кончится. Ему просто хотелось, чтобы все оставили его, дали бы покою хоть на время, надо было что-то додумать, понять, а они все мешали.

В этот же день от Авдеенко принесли повестку. Пошла Аксютка, пробыла там долго и наконец вернулась: составляли бумагу прокурору, чтобы загодя, прямо сегодня же подать. Обсказали все, как было, председатель колхозный, Красавин, характеристику хорошую обещал приложить. На всякий случай попросили взять на поруки: коллектив, мол, ручается, что больше ничего подобного не случится, человек жизнью проверенный... Аксютка рассказывала это и видела, что не так что-то, не то она говорит: Тимофей бледнел на глазах, испарина высыпала на лбу, глядел зло и беспомощно, а потом остановил ее, сказал безнадежно:

– Вот и помогли, спасибо... На какие такие поруки? Зачем на поруки-то, я что ж – виноват?! А-а, да сделайте что хотите, сажайте с глаз долой... Видно, не отвертись, процентуйте.

Аксютка, напуганная этим «процентуйте» – всю ночь она слушала про какой-то процент, – опять побежала в сельсовет. Но бумагу уже сдали попутно с Васюковым, повезшим предколхоза на какое-то срочное совещание по нынешней бескормице, а на слова ее Авдеенко лишь кивал и говорил: «Ничего, ничего... мы знаем, что делаем, – учены. Это пусть с Крохалевым он разбирается,

кто виноват. Нам человека вызволить надо, вот наша задача, – а здесь, понимаете, все средства позволительны... Человек наш, все на нас падет, если что; надо выручить – так поставлен вопрос... А я говорю, нам виднее. Не покаешься – в рай не попадешь. Да и вообще, что за ребячество – виноват, не виноват?! Иди домой и жди, а его успокой, мы тут смотрим... Лишнего времени, понимаешь, ни минуты, людей на веточный корм собираем, бумаги тут всякие... но смотрим, сам смотрю. Иди».

Пеннер все-таки настоял на своем, уговорил лечь в свою, кузьминовскую больницу и, говоря наперед, в три с небольшим недели поставил Тимофея на ноги: досаждал горячими и всякими уколами, самолично съездил и выпросил, привез «консервы», сделал переливание крови. Он был явно, по-детски как-то, доволен, что не дал запуститься болезни: «Выбил сразу и со всех позиций – так и только так с нею надо, иначе капут: уйдет в хроническую, тогда инвалидность в твоём возрасте обеспечена...» Но с остальным, с главным, было худо, делу давали ход. В то лето и газеты почему-то больше обычного шумели об охране природы, о губительном браконьерстве; у них там, говорил Пеннер, велась какая-то очередная кампания, все к одному. Аксютка старалась, как могла, разрывалась в хлопотах по дому и в районе. Прокурор один раз принял ее и сказал немного: постановление о возбуждении уголовного дела передано следователю Логунову и говорить пока не о чем, обратитесь к нему. Обратилась. Тот пообещал, что арестовывать, конечно, пока не будут, хотя по характеру дела, может быть, и следовало бы, и что скоро приедет сам, начнет разбираться.

17.

Следователь прибыл дня через два – молодой и статный, уже солидный в чем-то и поначалу не больно разговорчивый, с грубоватым властным лицом, которое он иногда, впрочем, старался смягчить. Выслал из палаты всех тимофеевских соседей и приступил к делу не мешкая: достал из портфеля папку, велел расписаться на подписке о невыезде и следом стал читать ему постановление о привлечении его, Иванова Тимофея Васильевича, в качестве обвиняемого по делу о браконьерстве, статья сто шестьдесят третья часть вторая, и о насильственном действии по отношению к должностному лицу рыбоохраны Крохалеву Павлу Николаевичу, статья сто девяносто третья, часть тоже вторая...

– Да не насильственное... он вам скажет, что ничего там не было, просто погорячились оба.

– А он уже сказал, его заявление в деле. – Следователь не расположен был толковать об уже ясном для него, дел и без того хватало. – Вы сейчас как – в состоянии ответить на мои вопросы, рассказать все, как было?

– В состоянии, – сказал Иванов. – Да не может быть, чтоб он так. Неужель подал?

– Подал, в тот же день. Заявление приложено к материалам товарища Беленького, датировано... – он заглянул в папку, поворошил, нашел одну из бумаг, – датировано восьмым июля, в тот же день. Приступим к вопросам?

Это он еще до их разговора, понял Иванов, утром еще написал. Но оттого, что он это понял, радости не было, бумага пошла уже в дело. Аксютке надо сказать, пусть сходит на хутор, попросит: может, заберет он бумагу эту.

Он заберет, должен забрать, зачем мне лишняя статья какая-то? Лишь бы отдали. Господи, а если не заберет?..

– Да, чуть не забыл, – проговорил следователь и по-медлил, глянул в больничное окно. – Будет вам известно, что по этим двум статьям закон предусматривает... В общем, вам грозит срок до семи лет, по совокупности, конечно... я имею в виду лишения свободы. Это, конечно, при том условии, если статьи будут использованы в полную свою силу. Дело, как видите, серьезное.

Тимофей изумленно глянул на него – что это он такое говорит? – и глаза его, еще до того, как все стало вконец понятным, налились вдруг невольными слезами.

– Да вы что там все... с ума сошли? – сказал он и заплакал, забыв отвернуться.

– С ума сошли? – повторил за ним следователь, быстро встал, прошелся, не глядя на Тимофея, по скрипучему рассохшемуся полу между койками, лицо его стало враждебным, непримиримым. – Да нет, не сошли мы с ума... Ну, ладно, об уме надо было раньше думать. Ладно. Не верю я особенно, чтобы вы... Будьте откровенны, и я вам обещаю, что никаких семи лет, конечно, не будет. Но это все к тому, что дело тем не менее очень серьезно, улики налицо – серьезные улики. И потом: зачем вам еще надо было дебош в гостинице устраивать, не пойму, – зачем ты туда-то, извиняюсь, приперся, после всего этого?!

– Какой... дебош?

– Как это – какой? Такой. Беленький с директрисой гостиницы, Гришанькиной, вслед делу еще настрочили... Что пьяный был, безобразничал – жалко, мол, милицию не успели вызвать. Зачем это-то еще на себя вешать?!

– Да товарищ Логунов!.. Да ведь врут они все, ведь я не дебошил... Какой же пьяный, когда я наутре еле встал!..

– Ну, ладно – разберемся, дай срок. А теперь рассказывай – все, с самого начала. И давай без утайки, раз уж на то пошло.

Тимофей, стыдясь недавних слез, глядя в сторону, еще раз попросил, чтобы он, Логунов, уж постарался с этим разобраться, нельзя же так – за всякое место хватать, не судом выдумывать, цепляться... И стал рассказывать, сглатывая иногда подступающие к горлу комки, – с ума сошли, семь лет... Следовательно он не верил, не верил заигрывающему этому «раз уж на то пошло» и той горячности и будто бы огорчению, с каким Логунов сказал вдруг о новой бумаге из гостиницы. Да и как им было верить – им, за нечаянность его, за грешок спустившим на него все свои законы, как собак. Нет, дорожки у нас разные, думал он, рассказывая и глядя, как быстро бегают по листу толстого блокнотика авторучка в крепких и властных его пальцах, как хмурится Логунов и иногда внимательно и тяжело взглядывает на него, – и чувствовал, что и следователь перестает верить ему и, наверное, вряд ли поверит, потому хотя бы, что он, Тимофей, говорит сейчас явную неправду о том, что не был он пьян там, на берегу, а Беленький с Крохалевым явно унюхали, и о том, как он нечаянно зацепился за перетяг и вовсе не схватывался, не хотел схватываться с инспектором, что тот попросту оступился... Логунов не мог верить ему еще и потому, что наверняка понимал: правда у любого, у каждого, своя, сколько людей, столько и правд, и каждая по-своему права; а правда закона выше и не хочет особенно-то

знать всех этих маленьких правд, они ей больше мешают, хватают за справедливые карающие руки, потому что правда закона однажды и уже навсегда объединила в себе все эти маленькие правды, уже разрешила все по своему высшему понятию и теперь знать их всех не хочет, – так ему казалось...

18.

Крохалев своего заявления так и не забрал. Два раза ходила на Никифоровский хутор Аксютка, и оба раза он обещал, что возьмет обязательно, если ему, конечно, отдадут, – и не забрал. Во второй раз, незадолго уже перед судом, шли с хутора вдвоем: Аксютка домой, а хозяйка Крохалева, Марья, в магазин – выкинули пшенку, надо было запастись. По дороге разговорились, как водится; инспекторша ругалась, обзывала своего и бирюком, и по-всякому – и ни с того ни с сего расплакалась повинно, не удержалась, и так вот рассказала все. Беленький, оказывается, как-то догадался обо всем – следовательно ему, что ли, сказал что-то; стал выпытывать у мужа и ничего не выпытал, ругался и пригрозил: ты мне, мол, дела не порти, обязанности давай свои выполняй, нечего хвостом перед сельскими вилять – и так уж семьи не вижу, мол, второй раз в вашу дыру приезжаю. Мы их тут, мол, живо отучим, шарахаться будут от реки, тебе ж облегченье. Так и сказал: не вздумай мудрить. Павлушка хочет теперь на суду выступить, отказаться – а как он откажется, кто ему разрешит? И зачем они только согласились, уехали со старого места, что им там – плохо было, еды-питья не хватало?! Марья плакала, грозилась: дня жить на хуторе не будет, если засудят, лишенкой среди людей не жила и не будет, не

последний кусок доедает... Стыдливая бабенка, по всему видно.

На суду, которой состоялся недели через полторы после выхода Иванова из больницы, общественным обвинителем выступал Беленький, прокурора не было. Загодя подал заседателю кипу газетных и журнальных вырезок, а председателю недавний номер «Правды» с большой статьей; и горячо и долго заговорил об их, рыбнадзорских, проблемах – так, что председателю суда пришлось даже сделать ему замечание в уходе от разбираемого дела. Говорил громко, складно, как умеют они это делать; помянул значительно специальные постановления бывшего Бог знает как давно казачьего правления о зонах на реке во время нереста осетровых, в которые запрещено было выходить даже на веслах, прибавил тут же, что выловленный подсудимым осетр оказался маткой, то есть с икрой, остановился на важном народнохозяйственном значении и даже на международном; и следом – о возмутительном порой непонимании их рыбоохранных задач органами местной власти, о равнодушии общественности – право же, пора положить этому предел... Слушали его хорошо, особенно сначала – переглядывались, кивали согласно, кто-то в зале один раз даже сокрушенно крикнул. В живейших красках, досконально рассказал, что произошло на реке в то «удивительное, какое-то беззащитное утро природы», как шли они, разговаривали мирно – и вдруг внизу торопливый, боящийся всего, света утреннего боящийся человек, готовый, однако, на все... Какая, товарищи, нужда, необходимость заставила его это сделать – детишки голодные, отсутствие хлеба или куска

материи, чтобы которым прикрыть тело, или, может, товарищи, строжайшая диета, когда ничего не дозволено, кроме как осетринку с икрой под водочку?!. В зале оживленно хмыкнули, заседатели с интересом поглядели на Беленького. Зачем ему осетрина – чтобы перед соседями похвастаться удачей своей, излишеством? Так ведь и похвастаться, товарищи, нельзя, могут донести. И уж, конечно, не по соображениям гурманства как навязчивой идеи, этот порок явно не для подсудимого... Тогда зачем?

Между тем факт браконьерства и неукротимой агрессивности по отношению к органам здесь безусловен и налицо, орудие (он вытянул руку по направлению к столу с вещественными доказательствами – полюбуйтесь-ка!) недозволенное, более того – варварское, рыба ценнейшей породы поймана и умерщвлена – хотя, как известно по извлечению из постановления пленума Верховного суда нашего государства о практическом применении судами законодательств об охране природы, уголовная ответственность за производство рыбного промысла наступает независимо от того, была или не была добыта рыба, – важно явное намерение... А недостатка ни в намерениях, ни в самих фактах нарушения мы, товарищи, не испытываем: с мая месяца товарищем Крохалевым обнаружено около полутора десятка сетей и других средств незаконного отлова ценных рыб, и, таким образом, ваш район в нынешнем году вышел на первое место в области по браконьерству, с чем вас и поздравляю. А где хозяева этих сетей, перетягов, всяких там самоловов, спросите вы? Нет их – настырен и хитер пошел браконьер, а тот же товарищ Крохалев у нас один на тридцать верст, хоть и старается. Зачем же он тогда,

опять спросите вы. Как это – зачем, спрошу я! Вот вам, товарищи, результат его работы: с большим трудом, с ночными бдениями, с борьбой выловлен браконьер – вот он сидит, перед вами. Не какой-то там любитель утренних красот и ершиной ухи, а самый настоящий, вооруженный неплохими-таки средствами для незаконного отлова, вооруженный темным умыслом человек, которого ночка кормит...

Он еще много, убежденно и, как казалось иногда и самому Иванову, убедительно говорил, как по полочкам все раскладывал – особенно когда задавал этот вопрос: «зачем?» Уже не верилось, что кто-то после может сказать нечто другое, новое, тем более поперек ему, так вот обвиняющему. Его слушали, кивали вон даже, хмыкали, пораженные будто, что под их носом такое творится, а они знать не знали, не ведали. Ведь и в самом деле упустили, недосмотрели, ведь не знали же ничего – кто тут виноват? А сами же и виноваты.

Слова все же нашлись. Долго выступал защитник Иванова, вызванный из области адвокат Столповский, маленький светлоголовый человек в очках; читал, не глядя почти в редкую публику, иногда только обращившись мельком к суду. Особенно упирал на то, что утверждение обвинителя, будто «подсудимому ничего не остается делать, как только упорно отрицать свою принадлежность ему перетяга, а вместе с тем и свою вину», не может служить доказательством, тем более что следственные данные, по его мнению, довольно расплывчаты, несмотря на всю их категоричность. Докажите – адвокат блеснул очками на Беленького, – что перетяг именно его, именно им изготовлен и поставлен! Нет у вас таких прямых доказательств, не вижу. Объяс-

нение подсудимого вполне естественно, случай вполне обычный: зацепился, пытался как-то освободить крючок, пригляделся – а это, оказывается, не что-нибудь, а снасть чужая стоит. Но свой-то крючок дороже любой чужой снасти, вот и вытащил. Дальше – больше: на снасти оказалась рыба, не выбрасывать же, в самом деле. Интересно, кто бы из нас выбросил такую рыбу?.. Столповских сделал паузу, оглядел всех задумчиво, деликатно кашлянул. Нет, товарищи, это не доказательство. Потом эксцесс этот – он ведь тоже хорошо объясним: тут и страх со стыдом, и обида нынешнего моего подзащитного, что его вина в таком вот воровстве, и явная, товарищи, несдержанность рыбинспектора Крохалева – очень все это понятно, когда начальство становится свидетелем недосмотра подчиненного во вверенном ему деле. В результате такая вот цепь случайностей и недоразумений, человеческих слабостей и гордыни как привходящих факторов, которые все вместе, соединившись и переплетаясь, привели моего подзащитного в нынешнюю ситуацию... Никто ведь не спорит, что охрана природы, той же рыбы – вещь безусловно необходимая, нужная. Все это верно, так. Но мне кажется – более того, я убежден в этом, – что в любом судебном разбирательстве речь прежде всего должна идти о человеке, о людях, об их охране и охране справедливости между ними, любому суду это надо постоянно держать в центре своего внимания. А человек этот, товарищи, неплохой, рабочий человек, воевал и награжден, достаточно заглянуть в характеристику от коллектива, во всю его прошлую жизнь. Причем – и это тоже немаловажно – достаточно хорошо известно, что мой подзащитный ранее не только никогда не при-

влекался, но даже не занимался рыбной ловлей более или менее профессионально, о чем вам может засвидетельствовать каждый житель села... За последнее, мол, время он, Столповских, достаточно присмотрелся к своему подзащитному и вполне уверенно может свидетельствовать о глубоком его чувстве стыда и раскаянья, о переживаниях, которые вполне законно и обоснованно могут быть положены на чашу весов как своего рода факты, доказательства в пользу невиновности или, по крайней мере, непреднамеренности всех действий товарища Иванова...

– Подсудимого, – поправил его один из заседателей.

– Да-да, подсудимого...

После двух этих больших выступлений суд наконец раскатился, заработал живее, налаженной. Беленький, в пику защитнику, держался своего, основного: принадлежность перетяга – не главный вопрос, хотя следствием, обвинительное заключение которого безоговорочно утверждено прокурором и направлено нам сюда, он решен положительно. Главное, что преступление совершено, совершено при отягчающих его обстоятельствах, и наш долг – наказать за преступление, ответить на него имеющимся у нас ясным законом, неприменение которого тоже есть своего рода преступление... И потом: уважаемый защитник, видимо, забыл об одном небольшом, но весомом факте из следственных материалов. Дело в том, что в момент обнаружения преступления, когда осетр был еще только снят, мокренький еще, удочки-то у подсудимого были смотаны – не в переносном, а в прямом смысле слова смотаны; следовательно, что ж выходит – он сначала вытащил перетяг, отцепил крючок, удочку смотал, а потом только занялся осетром?

Нет, конечно, – до удочек ли ему тут было?! Удочки были уже смотаны, ничем и ни за что он не цеплялся; смотал и решил наконец проверить, что там попалось... Сразу? Ну зачем же сразу? Утро, самый клев, рыба на кормежку выходит – пусть постоит снасть, посторожит рыбку, насадки крепкие... Все принялись слушать вежливый и поначалу интересный спор защитника с обвинителем по вопросу о том, когда мог снять эту снасть и как снял ее подсудимый. Спор затянулся, стало скучно. Крохалев, который до этого давал показания, сказал, что он в общем-то несколько погорячился тоже там, на берегу, а причин для горячности у них, конечно, хватает, сами сейчас слышали. После чего сразу встрял с заявлением Беленький. Черные, немного масляные глаза его блестели, он живо слушал всякого, кивал или качал головой, прикрывая скорбно глаза, или же грустно улыбался себе; несколько более оживленный, чем обычно, он был там, похоже, как рыба в воде, своим среди своих, понимающим, но строгим, – Марья говорила Аксютке, что он не в первый раз в судах выступает. Встрял он, чтобы повторить заявление, уже будто бы сделанное раньше следователю: живем мы, товарищи, не в вакууме – среди людей, потому и не хочет сейчас Павел Николаевич помнить зла; но тут, к сожалению, дело принципа, тут уж давайте без соседских предрассудков... Еще во время следствия у товарища Крохалева замечались – как бы это выразиться? – позывы, так сказать, поползновения забрать свои письменные показания относительно насильственных действий пьяного подсудимого по... э-м-м... отношению к нему, инспектору Крохалеву, – зачем, чтобы отвести правосудие? И сел, укоризненно взглянув на своего подчиненного.

Иванов, сгорбившись, сидел на своей скамье, слушал, поглядывал иногда на первый ряд, где прямо перед ним были Аксютка и Василий. Последние несколько дней он провел в предварилке (следователь решил, видно, не рисковать, прислал за ним Быкова), спал плохо, все тело его отчего-то болело, как изломанное, будто его через зубья огромной машины пропустили. Аксютка ездила сюда каждый день: измучилась, изревелась, должно быть, там, дома, и никогда он, несмотря на всю эту пустоту внутри себя, так не жалел ее, как сейчас, и так жалко стало теперь все, что было у них и могло быть, не случись такого. Вот она, цена-то нашей жизни, вот когда мы ее узнаем. Хорошая была жизнь. Он уже не верил, что все может обойтись по-хорошему – иначе зачем было тогда заводить всю эту махину? Нет, ее теперь не остановить. Он сам виноват, он это лучше всех судей знает – не сберег, оплошал. На никчемном, на пустяшном оплошал – вот что стыдно.

Его спрашивали, и он поднимался, чувствуя, как отоцал за последний месяц, штаны не держатся, и как много времени успело пройти – целый месяц прошел, август в окне, солнце и пыль, а здесь сумеречная духота, строгости всякие, красноперый за спиной, а перед ним жена с сыном, к ним теперь не подойти; она с припухшим, одичалым каким-то родным лицом, на коленях сумка их, брезентуха, а сын хмурый, катающий молодые желваки, и на отца он тоже смотрит хмуро и как бы вопрошающе. Ему жалко Ксеню и стыдно перед сыном, стыдно и тяжело, что пришлось ему, недавнему Васюте, увидеть отца при всеобщем позоре, на этой вот самой скамье, услышать всякое такое... Быстрее бы. Надежды почти нет, так все это строго, угнетающе-торжествен-

но и всерьез заведено – кроме разве что совсем дикой, несбыточной мысли, что вдруг все эти люди встанут, вздохнут с облегчением и скажут: «Ну ладно, хватит – сколько можно... Соберемся еще как-нибудь, а сейчас хватит, отпустим, дома дела ждут». Ждут, это верно. И у него, пронадеявшегося, что целое лето впереди, тоже их накопилось, дел. Да они всегда у него были, только в тот день вдруг не оказалось. Не нашлось работы, что ты тут поделаешь. Выступает как представитель общественности Авдеенко, сосредоточенно, старательно хмурит лобик, рассказывает о фронтовых и рабочих заслугах подсудимого, разводит руками: «никак, понимаете, не ожидали... да знать бы – мы бы...» И затем торжественно, с несокрушимой, кажется, уверенностью в силах общественности, хмурия значительно брови, просит суд отдать им его, Иванова, на поруки, особенно ссылаясь на то, что работу Кузьминовского сельсовета по борьбе с пьянством и алкоголизмом знают по всему району – это, как известно, много раз подчеркивал в своих выступлениях сам первый секретарь райкома Целищев...

Тимофей видит, как с надеждой, пытаясь улыбнуться, моргает ему Аксютка, кивает на выступающего сельсоветчика; как сидящий на другой стороне от суда за отдельным столиком Беленький высоко, удивленно поднимает брови, что-то записывает у себя и протестующе, со стуком, откладывает ручку, обращая этим на себя внимание сумрачного и спокойного, в тяжелых сильных очках председателя. Затем с последней репликой выступает Столповских, особо обращая внимание суда на социально-нравственную целесообразность предложения общественности взять подзащитного на поруки,

и следом Беленький, предупреждающий и скорбный, давший ясно понять, что рыбнадзор, отстаивая государственные интересы, в случае необходимости не остановится на одной инстанции – иначе он не видит смысла существования рыбоохраны вот так вот, со связанными руками...

– В соответствии со статьей двести девяносто седьмой уголовно-процессуального кодекса РСФСР, – сказал, холодно поблескивая сильными стеклами очков, председатель, – подсудимому предоставляется последнее слово.

Иванов встал, посмотрел на своих, потом на судейских, сейчас повернувшихся к нему; один из народных заседателей был свой, механизатор, он его помнил еще по МТС. Он не знал, верить им или нет. И проговорил, глядя в спокойное, несколько торжественное лицо председателя:

– Не знаю, что и говорить... я не виноват. Поймите мое, я ведь не хотел. А если засудите, то грех на вас будет. – Помолчал и сказал: – У меня... все.

И сел, чувствуя, как дрожат у него губы.

Часть II

19.

Мы с ним познакомились случайно, вместе ехали на попутке из райцентра. День был сентябрьский, солнечный, уже клонился к вечеру, и я спешил добраться к месту своего назначения до темноты. Я сел в центре, у наспех переделанной в ресторан сельповской чайной, а Тимофей Иванов махнул рукой уже на самом выезде, где за редкими кладбищенскими крестами простирался выгоревшей к осени травой местный аэродром и поник в безветрии полосатый чулок на жердине. Шофер был

из молодых, еще в дембельских суконных галифе, и ездить привык, видно, по-армейски – так тормознул, что меня привалило, больно притиснуло спиной к борту, а единственная пока моя попутчица (в кабине, впрочем, тоже кто-то сидел – то ли экспедитор, то ли вообще начальник), старушка с темным лицом в крашеной серым бязевой кофте, пиджачке и с узелочком из платка на коленях, охнула и судорожно, из последних старческих сил вцепилась в доску сиденья – к чему, как умудрился парень этот загнать старуху наверх? Торопилась, сама напросилась, что ли?..

Долговязый, в простеньком мятом пиджаке мужик не стал дожидаться, пока пройдет тонкая и душная осенняя пыль, поспешно вскарабкался на борт, закинул в кузов ногу в огромном ссохшемся кирзовом сапоге, потом другую и тут же, не глядя на нас, уселся на соломку в углу, в ногах у старушки. Был он иконно как-то, по-русски тонконос, не породист лицом, плохо выбрит, бледно-голубые глаза невыразительны, пусты от блеклого раздумья, застрявшего в них и, как потом я увидел, не дававшего проходу никакому оживлению. Песочного цвета клетчатая рубашка его то ли грязна, то ли застирана до серости неумелыми руками, того же материала, что и пиджак, штаны, все по-деревенски обмято, обжито – это лишь одежда, прикрывающая наготу и хранящая необходимое тепло, без всяких там условностей и символов. Впрочем, символ, знак и тут был тоже – нынешнего крестьянина, какой он есть, по-прежнему без особых внешних затей в одежде и в еде, но себе на уме подумывающего, как и все теперь люди, о большем. И Тимофей Иванов имел тот же обычный вид мужика лет пятидесяти с лишним, че-

ловека пожившего и нажившего себе за жизнь все, что ему по его классу положено, – дом, скотинку, мотоцикл с коляской в сараюшке или даже в гараже, степенную жену и детей не без смысла... Но опять я увидел это серое раздумье в его глазах, эти скукоженные, отполированные на носках жестким окраинным ковылем сапоги, рубаху застиранную и все другое – тягостные приметы людского неблагополучия, которое, как это ни странно, определяется не по застиранным рубашкам и даже не по выражению глаз, а по какой-то необжитости человеком самого себя, когда он не привык еще к себе, неблагополучному, со своей какой-то неурядицей не обвыкся, – так в момент мы понимаем, входя в дом: жилой он или нет...

– Что ж не спросил, куда едем? – сказал я, подождь. – А то завезет.

– Куда-нибудь приедем, – проговорил он, уставясь на свои сапоги, поковырял черным пальцем отпорوشую кирзу на заднике. Потом, догадавшись, видно, что я издалека, чужой здесь, поднял на меня спокойные, с красниной глаза, посмотрел без любопытства и отвернулся.

– Одна она здесь, дорога-то. Как одна положена, так и лежит. – Это сказала старушка. Из молчаливой, с поджатыми терпеливо ко всему губами она сразу как-то сделалась живой, разговорчивой; и лицо, и руки в истончавшей, с кофейными пятнами пигмента коже задвигались, будто до сих пор связаны были молчанием. – Уж куда удобный, большачок-то, скоротил нам дорогу. А то все крюком, бывалоча, все крюком ездили. В Кузьминской и будем. Мы как-никак соседи с Ивановыми, с Тимошкой-то, – она показала мне глазами на мужика. – Сызвеку соседимся, он меня и углядел,

небось, в кузове. А ты-то по какой надобности к нам, касатик?

– Да по делам, бабушка, – по сельсоветским... Посмотреть надо кое-что у вас.

– А-а... ну-ну, – сказала старушка и закивала головой. – Надо, как же. Чей, и сельсоветских надо проверять, такие же люди.

В планы мои вроде б не входило проверять сельсоветских, но я промолчал. Главное, поняли, что я не просто так еду, а по делам; ну, а какое там дело – это неважно пока.

– Через часок, глядишь, и дома будем, – говорила старуха. – А то, поди, соскучился мой старик, лежма лежит. Коза тоже недоена. Это вот Тимоше теперь вольна жизнь... а у нас кака ни маленька, а все равно забота.

Иванов равнодушно глянул на нее и только крепче ухватился за борт. Шофер гнал безбожно, с разболтанной какой-то лихостью. И нас порой так подшвыривало, что и говорить приходилось с опаской, не прикусить бы внечайку языка. А старушка уже заметила мои взгляды на Иванова и к ней; несколько помялась, но решала недолго и с охотою сказала:

– Опустело, вишь, Тимошкино-то подворье, вот ведь как. Бывалоча, как улей гудело, старым нам на радость... От лиходея! – присказала она сокрушенно, когда машина с разгону нырнула в балку – так, что холодная легкость схватила за душу, а потом вымахнула наверх. – Тольки и хорошего, что быстро, а так... – И не досказала, лишь губы поджала, пересиливая страх. – Ну, вот... отшумела соседская-то жисть, вот мы и остались: он да я со стариком своим, болезным-то. А ведь как жили-то мы – душа в душу, не ругамшись никогда. И хозяйка его... приветна была, что тут скажешь, – да вот приветила не тово...

– Как же так? – серьезно спросил я, скорее Иванова, чем старуху.

– Да-к вот так! Жисть-то – она ведь не спрашивает, как, мол, тебе: все ль хорошо или ишшо чего надо... Вот так и повернула, что хошь – гляди, хошь – так иди.

– Ладно-ть тебе, Егоровна, – сказал Тимофей Иванов, не оборачиваясь к нам, – хватит.

– Што ж ладнать-то теперь, Тимоша-а, – протяжно-жалеющее, будто ждала того, подхватила Егоровна и ничуть не смутилась, только больше загоревала. – Хватай не хватай, а до конца все одно не хватит. А человек-то пусть спрашивает, за спрос не бьют... человек-то добрый, не со зла ведь, ну и пускай себе спрашивает. На-страстится, может, на тебя, да и сам вдругораз остерегетца так-то делать... Ить он в тюрьме был, – повернулась она ко мне, и я даже слезинку увидел в ее промытых годами до водянистости глазах. – Как милай отсидел два годочка, слава-те – живым пришел... Притти-то пришел – и тут голо, разор, душе уцепиться не за что: жена Бог знат где, сын в сибирску сторону подался. Только и добра, что дом еще по бревнышку-то не раскатали...

– Ладно, ладно... тебе-т какая забота, старой, – по-прежнему не глядя на нас и с досадой сказал он. – Ты вон свои горя сначала разгреби, а мои мне и самому не нужны. Все к одному.

– Вот то-то и оно, что к одному... Ведь и пить-то как зачал – ка-быть с цепи сорвался, вот как! Сроду, с малых лет за ним такого не водилось, чтоб людей не слушать, – говорила она мне, будто его и рядом не было или он вдруг потерял всякие свои права между людей. Что-то было в этом почти материнское, горькое, матерински назойливое, от которого, как и от беды, не знаешь,

куда деваться. – Уж вон пришла надьсь, а у него и кровати большой нету, пропил, и дивана тож... Разве так делают, Тимош, – чтоб нажитое спускать, глаза людям тешить?! Люди все в дом нороят, а он – из дому, возьми ты его...

Старуха начала сердить себя, и теперь надо было ждать укоров без конца, увещаний, все это, видно, не в первый раз – когда грузовик резко затормозил и на остатках скорости выкатился на обочину.

– Все, хана, – сказал шофер сидевшему с ним в кабине молодому, толстому и в очках мужчине с папкой из кожзаменителя, это было слышно и у нас наверху. – Грется мотор, м-мать его!.. Придется поостыть, посидеть малость на травке. Накипи до шута, что ль, в радиаторе... ниче не пойму! Новую, Сергей Климыч, надо – а? Лайбу-то!

20.

Окружение вечеряющих полей, только сейчас замеченное нами, неожиданно наступившая после гуденьев мотора и ветра тишина, в которой что-то едва потрескивало (кажется, вода в радиаторе), да из высокой стерни доносившаяся томительная, давящая в уши свирь кузнечиков – вот все, что было вокруг. Первое после уборки забытье царило над полем, и хотя весь горизонт чернел полосами зяби, трактора сюда еще не дошли, земле дана была передышка.

– Ну, как вы тут? – сказал наш возница, выбираясь из кабины и глядя весело; у него было свойское конопатое лицо, немного безалаберное, но приятное. – Порастряс вам жирок-то?!

– Вот и дожиганился, милоч, – ворчливо сказала старуха. – Не токмо жир – душу, то и гляди, вытряхнет. Ты бы вот потише, оно б и доехали.

– Ничего, бабка, без паники, – доедем. А не доедем – пешком дойдем, какие наши годы?..

– В кабину надо бы мать, – негромко сказал я.

– Да, – впервые заговорил сам Иванов, глаза его будто блеснули. – Бар-то ведь давно нету, это и в газетах пишут.

– А начальство чем не баре? – безбоязненно хохотнул шофер. – Что ж я его, на верхотуру пошлю, что ли?.. Да и с ногой у Сергея Климыча что-то не в порядке, – фамильярно добавил он и ухмыльнулся нам, – прихрамывает. Это ведь нам ничего не деется.

– Ни черта б ему не сделалось, – сказал Тимофей Иванов, сплюнул под ноги. – Забыл, небось, на чьем хлебе вырос.

– Да будет уж вам, – сказала Егоровна и обеспокоено оглянулась, перешла на шепот: – Я и тут посижу, а человек-то ить слышит... неловко-то как, Господи!

– Ты мой хлеб не трогай, – подал вдруг из кабины голос начальник. Он выбрался на приступку, тяжело сосутил в траву и поднял крепкое, простецкого происхождения лицо к кузову, раздраженно похлопывая папкой по колену. Маленькие острые глаза его остановились сначала на мне, но тут же переметнулись к Иванову; и так, не спуская с него глаз, он потянулся в кабину, достал свою трость. Хорошо, что не наш это начальник, успел подумать я, а то мало хорошего мы бы от него дождались. – Не ты его растил, не тебе и говорить.

– Не я? – глухо переспросил Иванов. – А кто ж тогда, если не я?! Папа твой, что ли, – который всю войну пером проскрипел, директиву давал, как кур щупать?! Я мальчонкой штурвал у трактора крутил, подшипники на снегу перетягивал, на фронт потом пошел... и ты мне

тут не щурься, гражданин Колыхалов, не у себя в кабинете. Я тебе не позволяю тут.

Он совсем негромко это сказал, без всякой вроде злобы, но тишины хватило, чтобы услышать. Начальник еще раз остро глянул; и тут же глаза его как-то потухли, он бормотнул сквозь зубы, скорее себе, чем нам, и круто повернулся, пошел по зашуршавшей стерне, давя и ломая ее, пересохшую. Он и вправду прихрамывал, но не слишком; отошел метров за семьдесят в поле и сел на кучешку неприбранной соломы.

– Надо было тебе связываться с ним, – сердито зашептала старуха. – Пошто вот зазря человека обидел?

– Ничего, – сказал за Иванова парень, он, кажется, и во время перепалки не переставал лыбиться. – Ничего ему не подеется, сердитому... На сердитых у нас воду возят.

– Все равно нехорошо. Ехал – ну и ехал бы себе, Бог ему судья.

– Плохой, бабка, из Бога судья.

– Никудышный, – подтвердил я; мне понравилось, как он это сказал, просто и со вздохом. – Так рассудит, что за голову иной раз схватишься.

– Ну! – сказал парень, тоже довольный моей поддержкой, и залез к нам в кузов, сел на борт, неизвестно отчего мигнул мне. – Знал я одного такого... Лет десять на машину копил, пивка себе не позволял после полочки – купил все ж. Обмыли они это дело, «москвичонка» своего, а наутро полез он с похмелья искать у жены, чем бы полечиться. Ну и нашел – сулему, что ли, или еще что-то лекарственное, за самогон принял. Живьем сгорел мужик, как не был, двух пацанок оставил... У него и наколка такая на руке была, сам видал: «Ах, зачем я на свет появился...» Во как бывает!

– Да я ничего, сынки, не говорю... есть и такое, – вздохнула старуха и, помедлив, перекрестилась. – А тольки все ж Богу виднее, как и што... Мы ить все знаем – а грешим, вот он и карает. Тижала рука Господня.

Она снова перекрестилась; и что-то в самом деле тяжелое было в этом «тижала», тяжесть какая-то незримая, карающая неслухов, и мы согласно замолчали. Тимофей Иванов то ли задремал в своем углу, то ли забылся в мыслях, тоже молчал и нашего разговора, казалось, не слушал. Я видел его бурую, в глубоких, почти старческих морщинах шею, побитые грязной сединой волосы и две жесткие, сейчас безвольно отпущенные складки возле рта, рука уронена подле, на солому.

– Да, – сказал шофер, – с полчаса еще надо позагорать, иначе издею мотор... И шут его знает, что за места: едешь, едешь, а воды все нет! Нашли нас куда засунуть на уборку. Залились бы сейчас по новой и поехали.

– Да-к как это нету?! – встрепенулась Егоровна, обрадовавшись перемене разговора. – Как же нет, когда мы и Урюпинский, и Стояны, и Осокину-т лошкинки проехали, и везде вода, только нагнись!.. Есть. Мне бы и сказал. А што машина твоя сломалась, так места не виноваты.

– А близко отсюда нет?

– Близко-то?.. Близко нету, теперь тольки в селе.

– Ладно, – примирительно буркнул шофер. – До вас дотянем, там и залью. Айдайте под машину, в холодок.

– Да уж нет, – сказала старуха. – Отсигалась я, лезьте сами.

Иванов никак не шевельнулся на приглашение, и мы с шофером слезли и расположились у колес на теплом гладком ковыльке. Сосед, недолго думая, уткнулся носом в снятую фуражку; вскоре слышно стало его мерное здо-

ровое дыхание, он уже спал. Я не спеша покурил и, глядя, как разохотился парень на сон, тоже решил вздремнуть, при такой жаре мотор вряд ли скоро остынет. В самом деле, места не виноваты, что радиатор у тебя забит. Смотреть надо было, а потом места винить. Все-то вам виноваты, кроме вас самих.

– Ты ай спишь? – сказала наверху старуха. – Спишь ай нет, никак не разберу я?

– Нет, – ответил Иванов.

– Што вызывали-то? Неужель что еще хотят?

– Да так... документы.

– Хоть бы уж в покое тебя оставили, Тимош, – жалобно сказала старуха. – Уж так треплют, как будто-й человека прибил. Небось что-нибудь опять говорили?

Иванов промолчал, что-то повозился там, а старуха продолжала, торопливо и робко:

– Ты б уж не перечил им, Тимош; а то, глядишь, возьмут да ишшо...

– Кто им перечит, – грубо сказал он. – Никто им не перечит, нужны они!..

– Да-к как же-ть не перечишь!.. А ты пошто там-то буянил, в тюрьме – поневоле, што ль?! Ты им, сам скзывал, окошки, што ль, колол или еще чего... С начальством обходительну надо быть. Что ж делать-то теперь будешь?

– А ничего. Жить, что ж я еще делать буду.

– Бабу добру – вот што тебе надо. Настьку вон брал бы да жил, нечево хозяйство потрошить.

– Еще чего! – Голос Иванова стал злым. – От одной опамятоваться не успел, а она... Как-нибудь перемогусь.

– Так ить как-то надо, милоч, – жить-то.

– Ничего мне не надо, – сказал он.

21.

До Кузьминовки мы добрались уже к вечеру. Станция, по всему судя, была когда-то обширной, богатой, теперь частью разъехавшейся в места поживее. В центре еще с тех времен стояли приземистые купеческие лабазы, сложенные из плитняка и литого вековечного кирпича, сейчас побеленного известкой, с кованого железа двустворчатыми дверьми; полукругом, образовывая с ними бывший майдан, расположилось еще несколько двухэтажных деревянных домов с нижними торговыми помещениями из того же камня, а чуть поодаль, отступив в дикую, тревожимую лишь мальчишками гущу заглохшего сада, высилась над всем церковь – присадистая, тяжелая и от старости угрюмая на вид. Оцинкованное потускневшее железо местами было содрано с лукавки, сиротски проглядывали стропила, светился в прорехах закатный воздух. Дальше местность шла книзу, там виднелось только небо да еще по сплошным верхушкам пойменного леса угадывалась большая степная река. Само село, низенькое и тенистое, застроено было белеными саманными, пореже деревянными и кирпичными домами с широкими дворами, с широкой гравийной дорогой посередине.

Парень высадил нас, проехав какие-то склады, в уютной от нависших пыльных деревьев улочке. Старуха начала было копать, развязывать зубами натуго затянутый носовой платочек, но он разом прекратил это:

– Ладно тебе, бабк... я тебе не частник с «жигулями». Заготзерну будешь должна. Счастливо оставаться, – и запылел, хлябая кузовом, дальше по дороге, перепоясанной вечерними тенями.

Я был в затруднении. Сельсоветских искать сейчас

было делом не то что невозможным, но затяжным наверняка, и неизвестно, с каким еще концом. За день до роги я успел устать, самое лучшее бы теперь – поскорее найти угол себе, крышу над головой: перекусить чем придется, папироску перед сном в тиши выкурить и до утра на покой. Егоровна как будто догадалась об этом.

– Тебе-то теперь куда ж, касатик? Это ить мы в дому – а тебе чужа сторона... Где ночевать-то будешь?

– Где придется, Егоровна... – Мы шли вместе, они к домам своим, а я наобум, неизвестно куда. – Председателя бы найти сельсовета – где он тут у вас живет?

– Да-к ты его не знаешь?

– Откуда ж мне его знать?

– Во-он што... А он ить отсель далеко живет, аж на Ранском концу. Туды ходьбы только час, не вот найдешь... Как же ты так, не знаючи, поехал?

– Да вот так... работа такая. В музее работаю, разъезжать приходится.

– Либо уж к нам тогда иди... Потеснимся, чей, со стариком, – в раздумье добавила она, – крещеные никак. Избы хватает.

– А то ко мне, – вдруг сказал Иванов. Он шел чуть впереди и теперь оглянулся, сбавил шаг. Это было мне до того неожиданно, что я как-то даже растерялся, не зная, что сказать. Тимофей посмотрел на меня, прямо в лицо, и тут же отвел глаза на старуху и в сторону, по сторонам. Он вроде бы усмехался – напряженно, неловко, стараясь усмехнуться понебрежней, – и я понял, что весь он сейчас натянут как струна. – Так придешь – гостем будешь, а с этим... с винцом если – так и за хозяина. У армян это слышал, – со смешком проговорил Иванов, ненужно кашлянул в кулак. – Переночуешь, что ж...

– Кому что, а шелудивому – баня... – горестно сказала Егоровна. – Опять он за свое. Ты хоть бы отдохнул маненькую, ить уж сам на себя стал не похож... не просыхаешь.

– Все б ты нянькала меня, старуха, – с той же усмешкою, но все больше раздражаясь, сказал Иванов. Он не глядел на нас, в голосе его явно чувствовалось уже нетерпение. – Тебе-то что? Ну, посидим – эка беда... Мы ж не пьем, только лечимся.

– Дрыном тебя, такого, лечить, – рассердилась она, обернувшись ко мне, сказала: – Вот он, весь тута. Хоть и тихой, когда выпьет, – а по мне, так все они, пьянчужки, одинаки... ото всех беда.

– Ты лучше, Егорн, огурчики там, помидоры принеси – что лишнее-то болтать, – с неожиданной, какой-то болезненной энергией уже напирал он на Егоровну и через нее на меня. Он вдруг нервно оживился, как подменили человека, даже в движениях суетливой сделался. – Чево тебе искать где-то там... пошли.

Положение стало ясным. Первой мыслью было отказать от ивановского предложения и к старухе пойти – либо двинуться на поиски председателя на Ранский какой-то конец. Но последнее меня никак не устраивало. Я бы непременно и не меньше часу проплутал между беленых этих домишек, а затем предстоял бы разговор с этим самым председателем, который уже дома по двору ходит, растелешенный по такой жаре до майки, и поначалу никак в толк не может взять, кто я, что я и чего, собственно, мне от него надо... какой, вы говорите, музей? Ага, краеведческий – это где соха, бивень этого... мамонта, да, одежда там всякая – знаю, бывал. Покряхтит, почешет затылок – куда бы это мне вас пристроить? – а затем сделает широкий приглаша-

ющий жест: что ж, мол, проходите, не на улице же вас оставлять. Скорее всего мы бы разговорились, бутылка на столе так или иначе, а появилась бы – какая разница? Еще хуже, если председателем окажется баба: так спеленает заботой, что дыхнуть нечем будет; перины начнет стелить, извиняться Бог знает за что...

Не хотелось причинять хлопоты и старикам, им теперь самим до себя. У Иванова во всех смыслах вольнее было бы, тем более что «тихой». Что-то у него случилось там – ну, что ж, посидим с устатку, поговорим: что мне, пятерки жалко, что ли, подумал я. Посидим. Я ведь, если раздумать, и сам выпить не дурак – не последний питок на селе, как отец говаривал. Главное, меру соблюсти.

– Ну что ж, спасибо, – сказал я им, а больше Иванову, и тот благодарно, без прежней своей усмешки и заискиваний посмотрел на меня и кивнул, будто даже вздохнул облегченно. – Спасибо, Егоровна, на добром слове. Я уж у него переночую, неохота вас беспокоить. А с устатку немного можно, чтоб крепче спалось.

Старуха только головой покачала.

Переулком мы прошли на соседнюю улицу, Егоровна торопливо засемила к своей широкой и низкой хате, а я вслед за Ивановым прошел калиткой во двор его справного, пятистенной постройки дома с поблекшей веселостью наличников и карниза и с фальшивым, никогда не используемым, видно, крылечком, за крашеной дверью которого, во дворе уже, шел к сенцам настил из почерневших неструганных, не подогнанных даже друг к другу досок – мыслилась тут, наверное, галерея, но до ума так и не была доведена. Поместье было хорошее, уютное какое-то: поблизости, слева от мощной плитняком дорожки к сеним, потихоньку опадали

в ожидании предзимья несколько яблонек, необрезанные кроны их были еще вроде зелены, там светились мелкие ранетки, а понизу в гуще чернобыльника и лопухов нападало уже много желтой листвы. Дальше, в глубине, были видны два основательных сарая, варок, теремком встал на горушке небольшой рубленный амбар – поработали здесь тимофеевы руки, оценил я. Только со стороны подворья стариков не было забора, здесь их делил всего-навсего невысокой плетень; на кольца надеты были для просушки несколько банок и сразу меня заинтересовавший глиняный горшок с небогатой росписью, прост и хорош...

Дверь была незаперта, лишь приткнута палочкой. Тимофей Иванов ее вынул, откинул, и мы вошли в дом.

– Не боишься, что вынесут?

– Некому у нас, – без особой охоты, лишь бы не молчать с гостем, ответил он, – разве цыганам. Да и они чтой-то перестали захаживать, уж лет пять как не видно. Нечего у меня взять, в хоромах таких. Парнишки ранетки трясут, боле ничего.

В обеих половинах действительно было пустынно. Русская печь в первой, будто отсырелая, стол под изрезанной клеенкой да лавка, в углу на табуретке ведро с водой. В передней врос в пол громоздкий, темного облупившегося лака комод, стол тоже, над ним на установленном месте блеклая современная иконка, отштампованная на картоне. Не было главной sprawy всякой сельской избы – семейной большой кровати. У голландки за полузадернутой, захватанной руками занавеской увидел я на полу что-то вроде топчана из старого тулупа, подушки и серого, старого тоже, грубого одеяла. Как-нибудь переночуем, не век вековать. Я вынул пятерку и протянул

Иванову. Тот молча принял ее и уже на выходе, словно только сейчас вспомнив, что он хозяин, буркнул: «Располагайся, чего там...»

22.

Приняв это как разрешение особо не церемониться, я достал из походного своего портфелишка все нужное, умылся, ноги, нажатые дорогой, помыл, сходил за свежей водой к колонке на улице. И сел на дворе на доски покурить. Ветерок, днем еще как-то шевелившийся, стих совсем, было тепло и сухо, и опять меня охватила тишина, с каких уже пор мною не слышанная, – как сегодня в поле. Закатные лучи из-за сарая теперь еле достигали сюда, слегка лишь обжелтели верхушки яблонь, под ними и в траве залегли предпочные прохладные тени, и уже слышен стал в воздухе тонкий могильный запах увядания – будто вправду стоишь на дне глубокой, светлой от материковых глин ямы, и отовсюду идет на тебя, идет запах земли, смиренней и покойнее которого на свете нет. Можно все позабыть, все простить – если б только не пошумливал, не звал на краю могилы этой ветер в ковыле и небо голубое не гнало наверху далекие недостижимые облака... Может, потому и продолжаем жить, что есть на свете недостижимое, непостижимость большая есть? Кто его знает – может, и так.

По улочке, где нас высадил шофер, прогнали скотину: сначала валом прошло овечье бляение, матки скликали отбившихся в гоньбе ягнят и сами ягнята плакали, жалобно очень, жалобней человеческого; потом протяжно замычали, просясь во дворы, коровы, за сараями в воздухе встала недвижная золотистая пыль, едущая от запахов коровьей мочи, острая, но по старой памяти чем-то приятная, привычная... В любой летний день, если уж не

очень разнепогодится, настает здесь к закату высокая, до самого неба тишина, и никакой, кажется, шум, как бы человек ни старался, разогнать ее не в силах. Запускай любой мотор – все равно он в тишине будет работать...

За спиной моей стукнула калитка, это возвращался хозяин. Шел он торопливо, придерживая рукой пазуху, отчего-то оглянулся раз-другой, словно кто за ним гнался, и суета его никак не подходила к этому вечеру.

– Курим? – сказал он неопределенно и будто застенялся хмурого своего оживления, стал.

– Ну, – так же неопределенно ответил я. – А хорошее у тебя поместье, жить да жить.

Он оглянулся на нажитое, посмотрел смутно и сказал:

– А знаешь, я ить на всю пятерку и взял – утехи-то...

Слава Богу, успел, еще открыт ларек. Так на все пять и взял.

– Это как же? – поинтересовался я весело.

– Ну, цельную поллитру, а на остальное вразлив... в другу бутылку. Грамм семьдесят так выпил, чтоб ходить веселей – а так все принес.

– Да ну и правильно, что ее разменивать. Варят еще у нашего брата котелки.

– Варят, – согласился он, повеселел. – Я тут сейчас картошечки, то-се... мигом соберу, ты подожди.

– Давай уж вместе, – предложил я. – Гость – он как в горле кость... А я как-то не привык так, не умею. Вместе сделаем.

Иванов посмотрел на меня, усмехнулся, и я впервые увидел настоящую его усмешку, самую обычную, – что ж, мол, берись, коль назвался.

Скоро в сенях заиграл на все голоса примус, потом выправился, зашумел весело, я сидел на досках и чистил картошку. Иванов прошел к плетню, окликнул:

– Егоровна – а, Егоровна? – И когда соседка вышла, попросил: – Ты это... подбрось нам живности-то. Гость как-никак.

Старуха ушла и через минуту вернулась, неся чашку с помидорами, с парой соленых огурцов сверху; зашла в маленький, тут же на дворе устроенный огороδικ за ржавой проволочной сеткой, выдернула из грядки несколько головок некопаного еще лука и молча передала все это через плетень.

– Старик-то как – все лежит? – заговорил было Иванов, переминаясь, ему неловко было так вот взять и уйти; но старуха опять промолчала, повернулась и пошла прочь.

С характером бабка, подумал я.

Расположились мы за столом в передней, под желтоватой тусклой лампочкой. Иванов сноровко, как-то поспешно налил стаканы, поднял свой:

– Ну, за встречу. Как тебя звать-то, за делом не спросил?

– Дмитрием, – назвался я. – За черепками вот, за разной старинной утварью к вам приехал, от музея. Станица ваша, говорят, богата была этим?

– А-а... Что ж, тоже дело. Ну, давай.

Мы выпили, похрустели огурчиками, я, недолго думая, принялся за жареную картошку, проголодался в дороге. Хозяин жевал нехотя: то ли не хотел есть, то ли ждал еще приложиться.

– Погоняй лошадей, – сказал я ему, – а то и картошки не хватит по моему аппетиту. Как же это тебя угораздило?

– Что?

– Ну, в тюрьму эту?... Сейчас ведь там порядочные, считай, не сидят.

– Вон ты о чем... – Иванов разлил в стаканы, повертел бутылку, отставил. – Да как... взял да и сел.

– Нет, вправду?

Он не ответил, глядел в смеркшееся окно, ничего уже за ним не видя, лицо его заметно отяжелело, захмелел. Это я заметил сразу: Тимофей Иванов тяжело пил и быстро хмелел. Таких у нас хватает, и кто их разберет, с перепоею или с тоски они чумеют...

Я все посматривал ожидающе, он это чувствовал; и наконец заговорил, но без особого на то желания:

– Сказать тебе по чести, добрый человек, так и... не знаю, неловко как-то. За рыбу.

– За рыбу?

– Да вроде того. За глупость свою... за рыбу деньги.

– Ну-ка, выпьем... Что-то я не слыхал такого.

Мы потом сидели и курили, Тимофей Иванов отошел малость душою, не то что добрее, а как-то рассеянной сделался – будто передыхал, сложив на время ношу на землю. Не скоро, но мало-помалу разговорился. Рассказывал Иванов сперва неохотно, решил, видно, на коротке объяснить, что и как. Но то ли увлекся, то ли дополну накопилось всякого – подряд начал. И хотя многое потускнело, потеряло остроту жизни и в нем самом успело перегореть, частью и саму душу превратить в пыльной золу – он то и дело мрачнел, забывался, но разговора не прерывал, нет. Так и говорили, табачили, коротали уже в ночь перешедший вечер. Вряд ли он врал, потому что очень я понимал, хотел понять то, что он говорил или никак не мог выговорить; и это понимание – мое ли, чье ли – всегда было, показалось мне, и остается между нами единственной меркой человеческой правды – которая одна на всех и у каждого своя.

23.

Проснулся я, по городской уже привычке, поздно, в девятом часу. Соломенный матрац, который мы вчера при лампе отыскивали с хозяином в амбаре, сбился в одну сторону, спина у меня затекла, да и голова побаливала – не столько, может, от выпитого, сколько от табаку. Солнце ушло уже из окон, выше поднялось, было тихо, в открытое во двор окошко слышалась из садика воробьиная драка, потом проехала машина, завесив улицу пылью. Не успел я подняться, как на подоконник прилетел, буквально упал воробей – взъерошенный, мокрый отчего-то, возбужденный: повертелся, скандально почиликал, кое-как перышки себе прибрал, капнул – и опять ринулся куда-то... И тут же, следом, появился другой, но, видно, семейный уже, с подобранным где-то ватным тампоном в клюве. Передохнуть, должно быть, сел, освоились они тут... Тоже повертелся, будто хвастался находкой, подергал хвостиком, без страха и с любопытством скакнул к внутреннему краю подоконника. Тампон был в крови. Господи, какое им дело до всего нашего жестокого, запутанного, как хорошо они живут. Не будет нам этого, никогда.

Иванов с топором в опущенной руке стоял возле варка, задумчиво и бесцельно. Меня он не заметил. Потом шагнул к поставленным в углу стоймя жердям и бревешкам, стал неуверенно перебирать их. Выбрал одно, толстое и короткое, метра в полтора, кинул к сараю: один из дверных его косяков, врытых в землю, совсем подгнил, выперся наружу и еле держался. И все постройки, несмотря на первоначальную их ладность и крепость, обветшали без рук, без хозяйского глаза. Тимофей опять остановился, огляделся, увидел меня.

– День добрый, – сказал я. – Что, пасынок, что ль, хочешь врыть?

– Да надо... а то придавит еще. Все к черту сгнило.

– Не работаешь, значит, нынче?

– Какая там работа... Собрались, побалакали. Трактор все не дадут никак, а на скирдовку не зовут. Да и на что она мне, солома – печь топить? Скотины-то нету.

Он сел на один край старинной каменной, посередине двора, колоды с сухим мусором на дне, оставив мне другой – садись, мол. Мы закурили. Тимофей успел где-то опохмелиться, это было видно по угрюмому, уже знакомому оживлению глаз его, речи и еще жестов, нервных и неловких.

– Как голова-то – выспался? – заинтересованно, отводя глаза, спросил он. – А то и полечиться можно.

– А что, есть?

– Да-к откуда?.. Это только в магазине всегда есть, не переводится. Можно сбегать.

– Нет, пока терпимо, потерплю. У меня тоже как-никак работа. К председателю в сельсовет надо сходить, с людьми переговорить... В музее филиал у нас открывается, новый, вот и решили еще по казачьей части что-нибудь собрать.

– Так Авдеенки нету, уехал.

– Куда?

– Сказывали, в район, на какое-то совещание. Он еще утром с плащом был; а если в плаще, значит – в дорогу, какая бы ни была погода. Хоть в землю от жары лезь, он все равно с плащом. Все у него по закону.

– Он отставной, ты говорил?

– Оттуда, из армии. Списали. Где-то на пожаре отличился, пострадал, ну и проводили с честью. Отчего-то

в сельское хозяйство решил, на природу; сначала в районе был, теперь вот у нас.

– Да-а, это похуже...

– А ты не больно горюй, успеешь, – сказал успокоительно Иванов. – Иль торопишься? Я, если хошь, сам тебе расскажу, что у кого по старинке имеется, – велико дело... Хоть вон у Егоровны; она, попросить, и за так отдаст. У деда и мундир казачий был, давно – может, уцелел. К Рябухиным можешь сходить, у них в амбаре до сих пор лаптей пара висит, сам видал, еще самовар какой-то зеленый...

– Ну, ладно. А пасынок давай вроем, а то и вправду рухнет.

– Да я уж и то... взялся вот. К черту все сгнило, за два-то года, – повторил он медленно, блекло-голубые глаза его так же медленно прошлись по двору, будто натываясь иногда на порушенное временем и непогодой. И глянул наконец на меня и сказал откровенно, в сердцах на себя и на все: – Руки, Митрий, не лежат – хоть отруби и брось... Ну, что я и кому буду делать, зачем?!

– Василий-то пишет?

– Да пишет, обещался побывать скоро. Ему к октябрьским праздникам в армию – а здесь, видите ль, не хочет жить, тоска, мол, ему. Будто их на этом «баме» пряниками кормют. Знаю эти «бамы», – он усмехнулся, – сам, чей, на ударно-комсомольской работал... Да и то сказать: что вот он со мной жить-то будет, как? Пить в два горла, что ли?.. – И помолчал, посмотрел кругом. – В жизни, как в диком поле, дорог много... иди куда хошь. А мне так не надо, не смогу так, пропаду. Мне чтоб если дорогу, так одну, свою, чтоб я с охотой шел по ней, с раденьем, вроде того. А нет раденья – нет и творенья, русскому тогда хана: иль, глядишь, сопьется, иль сбесится, один черт...

– А ты погоди хоронить... Не ты первый, не ты последний. Глядишь, все еще наладится.

– А что годить?.. Я уже все, – сказал он с веселой будто миной, – чай я выпил, сахар съел... Побыл в гостях у хорошей жизни – и ладно, на том спасибо. Запроцентовали. Ну, сам виноват... меня туда на веревках никто не тянул, сам залез.

– Это ты уж слишком, – сказал я, меня почему-то разобрало зло. – А Беленький, а следователь твой?! Незачем на себя наговаривать слишком-то.

– А что – Беленький?.. Мы, если хошь, сами больше себе вредим – сами... Нам помогать дюже не требуется.

– Да брось ты! В несуразицу, под колесо попал, вот и смяли.

– Попал, смяли... Ты-то что в этом понимаешь?! – озлился вдруг и Тимофей, глянул сурово, будто даже презрительно. И быстро, моментально одумался – о чем, собственно, спорим-то? – Ладно, што теперь... У нас поговорка давно ходит: умнее был бы – лес не валил. А я его перевалил – дай Бог.

– Что, так-таки в леса попал?

– Ну. В самую середку. На трелевочном работал, доверяли; но лишь по просеке, не дальше зоны, шалишь. Да так работа ничего была, дружная – особенно когда захотим. Меня там, – он усмехнулся вдруг, повернулся ко мне, глаза его, еще с пьяниной, испытующе были сощурены, – безменом кликали, колхозным – как, а?! Додумаются же, суки!.. Ну, заболтались мы, дело ждет. Да и позавтракать надо. И раньше, понимаешь, с похмелья всегда хвачу хлеба побольше – щей там, лапши – и больше ничего, ни-ни. А сейчас вот уже не помогает... старею, што ль?

– Ну, ты тогда собери что-нибудь, сбегай давай, – предложил я и полез за деньгами, – а я пока яму эту выберу – идет?

– Что ж, и так можно. Только вот что... – Он замялся, но смотрел мне прямо в глаза. – Слышь, Митрий: я с тобой схожу до магазина, покажу – только ты сам возьми.

– А что такое?

– Да понимаешь, от Мани неловко... от продавщицы. Баба она хорошая... скажет: глот какой стал, по два раза на дню бегаешь, все мало ему. Я уже брал седня, с ребятами на последние сообразили. Неловко.

– Что, задолжал?

Он хмуро посмотрел, качнул головой.

– Не, в долг не люблю... Дом продам, а в долг не полену, научен. Ну, неловко мне, что говорить... Пошли вдвоем, тут рядышком.

24.

– Тимофей Василич, – сказал я, – плюнь... Нам как-то жить надо, за нас никто не будет. Да и обидно кому-то ее отдавать... жизнь-то хорошая, это она только хоронится от нас, прячется иногда. В прятки свои хреновые играет.

– Я понимаю. Вот о-очень все понимаю, – он кулак приложил к сердцу, прижал... и не выдержал, стукнул им по столешнику и вроде заплакал, постекленел глазами. – Не знаю только – как... вот убей Бог, Мить, – не знаю! Аксютка – она, с-сука, меня убила. Я ить любил ее без мала... Бывало, не нашепчемся, как издалика приеду. Ноги готов был ей мыть, а она...

– Ну, Бог с ними, с бабами. Я свою вон спровадил... ну и что ж, раз так – проживем. Наплюй побольше.

– Нет, ты подожди... раз уж начал – доскажу. Мы ж с ней двадцать четыре годочка как один день. Дочку похоронили, дом горел потом – ладно... А так все хорошо. Работали, вот это все нажили, каждой досточке в хозяйстве рады были, вместе. А как она ходила за мной – это перед судом-то!.. В ниточку вытягивалась, разрывалась – и дома, и в больницу, и к прокурору... усохла как щепка, одни глаза остались, я думал – упадет баба, глядеть сил не было, жалко. И на тебе!.. Я как получил вестку-то... зачем, думаю, жил-то? За каким?! Как не жил. А как раз весна, лес тихий стоит, ясный, свечечки повывставил – я, Мить, думал ведь тово... под лесину, думаю, и черт с вами со всеми! Если б не весна-то.

Тимофей замолчал, угнулся, глядя на стол наш с небогатой снедью. Я разлил по стаканам, подал ему. Опять завечерело, опять за окном был желтоватый прозрачный свет, пахло увяданьем лета и дня, слышна была небогатая, сдержанная по осени здешняя жизнь. Мы уже много выпили, хватит бы, я это понимал, – ну и пусть.

– А поначалу мне Егоровна написала со стариком своим – уж как они адрес нашли, не знаю: у братьев двоюродных небось. А потом и она прислала. Думал, труба мне будет. И всего-то месяц не дождался я до химии... а то бы приехал, посмотрел, как они тут милуются.

– Химии? Какой такой?

– Химии-то?.. А это нас, кто посмирней, условно освобождали, с этим, как его... с обязательным привлечением к труду на стройках народнохозяйственного значения, вот. Или вроде того. Комбинаты химические строили, недалеко отсюда – да ты слышал небось, по радио каждый день поминают... – Он назвал место, выругался. – Еще, считай, год оттрубил, а за што?! А-а, да

нас, «химиков», послушать – всяк ни за что сидит, всех укатали... Прибыли мы из зоны, из лесу свою – я первым делом к начальству: так и так, отпустите, мол, съездить... Пошли навстречу, отпустили. А их уж нет, уже увез он ее. Думал голову ему разбить, а там пусть опять потом сажают... я уже все прошел, этим теперь не испугаешь. Не застал. Я отгудова, а они туда, в леса. Он, говорят, уже был у нас в Кузьминке, при мне еще, – в смысле, не у ней, а вообще. Оне, вятские, наезжают сюда веснами, к концу зимы, шабашут, целыми бригадами прямо. Дома тут, кому надо, ставят, плотничают – плотняка они хорошие, что тут скажешь. По вдовушкам расселятся, так и живут, зарабатывают топорами. Ну и, видать, стретились, слюбились, бойкий тот был... говорят, любовь у них открылась такая – дня друг без друга не терпели. Под конец уже и у хозяев, кому дом ставил, не ужинал, прямо сюда бежал задами... торопился. И она как ошалела, сказывают... Народ говорит, он все видит. Это она-то. А я далеко, меня как нет. Разве бы я допустил такое? Юшку бы пил... топорами бы – нет, не допустил. А ты говоришь – не пей. Ты-то вот что со мной сидишь, пьешь?

– Ну, мое дело тоже... Не из-за бабы, конечно, а так... жизнь такая. Полоса такая у меня.

– Вон ты как заговорил – «полоса»... А у меня, добрый ты, Митя, человек, теперь без полос... все сплошь пошло, к одному концу... А ты мне говоришь. Што ты об этом знать можешь, когда вся, считай, жизнь... вся ведь жизнь – и как не была?! Зачем теперь? Я без смыслу теперь, ни то ни се. Сучок вон отгнил, так и я. И никому дела нет. Был сучок, и сколько на нем висело всякого... что хотели, то вешали. А теперь хрен с ним, молодых narosло. А я ведь живой, сучок-то...

– Ох и живые мы, – сказал я. – Заноза вот такая, не видно ее, а спать не дает. А бабы... а им сколько достается. Они ведь тоже всякие бывают, и верных много.

– Вот-вот... Им да детишкам, страшно подумать. Я, Мить, все тот сон свой никак не забуду, с ребятишками-то. В бараке всю зиму снилось, не могу. И все мстилось мне, что вроде б ребятишки эти... вроде б даже и не детишки это совсем, а души наши с Аксюткой бедные, вроде того. То вот ходили мы с ней за ними, пестали, берегли – а то забросили. И вот, как скажи, плачут они там... ждут нас.

Он поперхнулся, отвернул голову и глянул исподлобья в окно, сказал хриплым шепотом:

– Страх как жалко... И виноватых нету, кругом сам виноват.

– Опять ты?!

Господи, подумал я, да что ж это за племя такое, русское... сколько ж можно рубаху-то на себе рвать, каяться!

– Ты, Тимофей Василич, вот что... кончай! Ты потому так говоришь, что уговорить хочешь себя. Ты не нарочно это, но... Я знаю, я такие штучки повидал. Кончай.

Я думал, он сейчас взовьется, что-то там доказывать начнет, по-пьяному горячиться; но он неожиданно грустно, почти трезво сказал:

– Да-к какие тут штуки... все я понимаю, Мить. Все. Она вот здесь у меня, обида. Я ведь и войну прошел, знаю. Ну, война – она и есть война, Бог с нею. А сейчас и времена вроде другие, и люди отмягчели, друг дружку не хотят обижать, житво так легче... и души, глядишь, будто у всех полегчали от этого, попустели. Катают тебя по кабинетам, как колобок, все обходительно, честь по

чести. И так укатают, что, думаешь, лучше бы уж сразу, как раньше, – и делу кранты! Не-ет, они тебя лучше по-доброму...

– Ну а что ж ты тогда?!

– Да вот то... Не устерег свое, вот что. Не ходи я на реку тогда, ничего бы и не было. Жил бы, как все люди, поплеывал. Мы ведь все норовим других обвиновать, на других свалить – ну, а сами-то каковы?.. Что, уж больно хороши мы, что ли?! Нет, Митрий, народец мы тяжелый, неподъемный прямо иной раз народ. Нас раскачать – семь потов пролить... а раскачаешь – так не остановишь потом, тоже беда. Потому что большой народ. Я вон немцев повидал, с ими куда легче управляться. А мы ить упрямые, без понятия. Натворим делов, а потом разбираемся – што, да как, да кто виноват... Оглянешься вот так, осмотришься – а сам, оказывается, и виноват, не кто другой. И вот должен теперь понимать всех, не только там себя.

– Да как ж ты зацепился, крючком-то?! Вправду, что ль?

– А то нет, – грубо сказал он, нагнулся, поднял упавшую ложку, бросил ее на стол. – Зацепиться недолго... тебе-то какая разница? Дело не в том. Меня никто не понял – а я теперь всех понимай, вот в чем дело. Потому что виноват. Я ведь и Аксютку... стараюсь вот понять – а никак, сердце, вроде того, мешает. В другой раз убил бы, не пожалел; а потом раздумаешь – нет, что-то не так. Не то. Всерьез, видно, зацепил ее тот, раз все так вышло. Нетерпеливая она была, не то что я... С-сучка! Что вот теперь делать?

Он поднял на меня злые, беспомощные глаза, и я уже не знал теперь, что ответить ему, и никто на свете, наверное, не знал.

25.

Мы сидели и молчали. Солнце почти зашло, садик за окном полон был прохлады и вечерних теней. Была в нем смиренность, отрада, травяной и лиственный покой, все это жило рядом с нами, но жизнью какой-то непонятной и недоступной нам, такую же, как вечерние облака там, в медово-прозрачной глубине и далях неба, – высокие, недоступные и чистые... Горько от этого было и беспокойно.

– Мы вот сейчас еще... – сказал Тимофей Иванов, мотнул головой. – Ты это правильно сказал – плюнь! К черту все – а там что будет... Люди мы маленькие, проживем как-нибудь; а из нас, маленьких, вся Россия состоит, большая – вот так! Мы, что ль, последние?

– Нет, Тимофей Василич, – отказался я, – давай это... подождем, погодим чуть-чуть. И так хватит. Пошли на воздух, посидим.

– Давай, – тут же охотно согласился он. – Всю не выпьешь, точно. Ее много делают. Ты не гляди, что я так... я за компанию. За компанию, говорят, и жид удавился. Правда-ть, Беленький не удавится – не-е, не жди... Пошли. Я ведь как не хотел, боялся ее – а привык. Нужда, вроде того, заставила, братцы-химики помогли... Оне настырные, любят на чужбинку, а мне все легче, не одному. Посидим, бывало, душу отведем. Оне такие. Как я туда попал, к чему там был – шут его знает. Я мужик, вроде того, а там собрались всякие такие... ни городские, ни сельские, а все какие-то червивые, с изъязном. Психовые все, изломанные, как через молотилку их пропустили. Но, – он тяжело встал на ноги, покачнулся и сам усмехнулся мельком этому, поднял палец, – но утешать они – мастера-а... Никакой поп, скажу тебе, не

утешит, как они. И послушают, и поймут... слезами с тобой рядом обольются – и ведь, считай, не врут, вот ведь как! Ведь не притворяются, а всамделе плачут... чудеса! А по мне, так все они, считай, подпорченные, мало-мало кто с толком, по нечаянке, как вот я... Послушаешь, пожалеешь, а потом себе на уме думаешь: правильно, так вашу мать, засадили вас сюда, дураков... не мешайтесь под ногами, не портите добра – его и так мало. А вдругораз подумаешь опять: жалко, свои как-никак, в одной упряжке ходим. Не судите, да не судимы будете... так один армянин там у нас говорил – у-умный человек. А я и сам психоваг стал, разве я не понимаю? Мужики вон наши: как вернулся, так меня вроде б и обходят, с опаской, вроде того, с уважением – черт его, мол, знает, чему он там научился, тюремщик... А чему я научился? Психовый малость, это точно. А так ничего, какой был.

Он говорил так, пока мы выходили и усаживались на досках галереи, накинув на плечи телогрейки – холодало. Закат светился ровно и высоко, чистый сумеречный свет шел оттуда, сеялся над притихшей бывшей станицей, над садами ее и порушенной маковкой церкви, четко виднеющейся за темными уже крышами. Люди, должно быть, еще работали, прибирались перед сном, но работы их не было слышно теперь. Все это делалось уже в своих стенах, под крышей – так неслышно гнездятся на своих местах перед сном птицы.

– Зарплата завтра, – сказал Тимофей, отчужденно-пьяно глядя на все это, – рублей тридцать, чей, наскребут... Ты не гляди, выходы у меня были. Ничего, проживем.

Во дворе стариков, за плетнем, прошла с ведром в сарай, припадая на обе ноги, Егоровна – видно, козе вечернее пойло понесла. А я опять заметил тот горшок:

он так и не снимался, наверное, с кола, выжаривался на осеннем солнышке. Я потревожил Тимофея локтем, кивнул на горшок.

– Что, горшок? Это мы... м-мигом, – сказал Иванов. – Пошли.

Мы подошли к плетню. Егоровна, слышно было, разговаривала с козой: «Стой-стой, говорю... Ну, куда? Вот так-от, пей, нечево кобызиться. Хорошо ныне дала, молодка... хорошо, миленька. Всегда б так». Еще что-то поворчала и вышла, увидела нас.

– Егоровна... мы тут, вроде того, с делом к тебе – ты как?

– А никак, – сердито оглядела нас старуха. – Я думала – свежи, а они все те же. Ишь, спарились – и не стыдно?!

– Да-к че ж стыдиться, не на ворованное пьем.

– А ты-то, парень, – вот уж не думала, что наянный такой, – сказала она мне прямо, без церемоний, качнула головой. – Нельзя так.

– А ты подожди... обожди, говорю: человек вот к тебе с делом – што ты ругаешься? Не ругайся, старух. Горшок мы у тебя сторговать хотим.

– Это какой горшок такой? – подозрительно спросила она, передником вытерла сухонькие губы, глядя уже на меня. – Че вы мелете?

– Да вот этот. Для музея, Егоровна. Человека спецом из области прислали, старинку вашу занюханную собирать... Гордиться должны!

– Да-к што ж я – без горшка должна?

– Ну, заплатят тебе... заплатют? – обернулся он ко мне. – Люди ходить будут, дивоваться – оне ведь там культурные все, им сладко посмотреть, как мы проживаем... умудряемся как жить. Весь город твой горшок

придет поглядеть – честь-то, едрит-твою, какая! Я бы, доведись, штаны с себя последние снял – пусть смотрют, жалко, что ль!

– Правда, Егоровна, – сказал я серьезно, – как раз за этим я приехал. Ты уж не серчай, что мы так... мы немного. Я вот поговорить хотел – может, еще что со старины осталось у вас, например, иль у соседей? Я бы посмотрел, а потом с оценочной комиссией вернулся, закупили бы, заплатили, как полагается... Мы неплохо платим. Горшок и сейчас можно б захватить, в музее показать. Он хорош, нам подойдет.

– С области человек... вот! – втолковывал ей, как мог, и Тимофей, наваясь на плетень и переступая ногами от нетерпенья, делая глаза строгими. – Я што ж – врать буду?! За тем и прислали – для истории, вроде того...

– Да-к я што... – неожиданно растерялась старуха, враз будто застеснялась, поглядывая на меня уже с опаской. – Отдать бы можно... только как же мне без него? Очень уж уваривается в нем все, томится и пахнет духовито, что ни стоговь. Без него нельзя.

– А мы тебе, бабка, что хошь, хоть скороварку купим – есть тут такая в магазине кастрюля, скороваркой называется... Хочешь?

– Бог с вами, зачем мне кастрюля? Разве чугунок какой, полведерной...

– Будет тебе чугунок! – торжественно сказал Тимофей. – Это мы счас... давай горшок. Как не уважить человека? Хороший человек, Егоровна, – ты мне верь. А чугунок я счас принесу, нужен он мне...

– Тимофей Василич, – сказал я.

– А ты мне не перечь... я знаю, что делаю. Она вон там наоставляла мне – к черту! Глядеть не могу. Все бы

повыкинул к шуту, сжег – да сил нету, жидковат стал...
Была б сила – вы бы узнали!..

– Господи!.. – охнула тихо Егоровна, перекрестилась. – Да ты што, Тимош, опомнись... што говоришь-то?!

– Да вот то... Ладно, – покривился он то ли в усмешке, то ли еще в чем. – Не бойся, Егоровна, – ничего-то я не сделаю. А чугунок счас принесу, подожди.

И пошел, спотыкаясь в нарощем бурьяне и жесткой осенней повилике, к дому.

– Я, Егоровна, завтра зайду, порасспрошу – ладно? – сказал я старухе. – Помоги, дело тоже нужное. Может, сходим к кому, узнаем – можно так?

– Коли надо, да-к что ж... я дома буду. – Она вздохнула, глядя вслед Тимофею, тихо попросила меня: – Вы уж там помене ее пейте-то... Видишь, горе-то какое – разве можно?! Не надо бы. А он с тобой еще хлешше. Ты-то, чей, образованный – вот и смирай, не давай ему... А то перейди к кому другому, на постой-то.

– Да мы вроде ничего, – неловко сказал я. – Сошлось так. Он мужик тихий, неплохой, мы больше говорим.

– Знамо дело, неплохой, – протянула она. – А пьет-то?! Не-ет, неладно это все, непутем. Ой, ребята, – глядите...

– Ничего, как-нибудь... Так я завтра зайду.

На дворе уже нечего было делать, стемнело. Небо потухло, словно приспустилось, на западе быстро, почти на глазах опадал последний пепельный свет. Мы еще постояли, покурили и опять зашли в темный, словно чего ожидающий дом Ивановых, зажгли свет. Подвешенная к матице голая желтая лампочка не могла высветить пустых углов. Мне показалось, что Тимофей будто уже и не замечает этого, и я сказал ему:

– Слаба, лампочка-то.

Он посмотрел на нее и потом, будто угадывая мои мысли, на углы, тяжело кивнул:

– Да... – И еще раз глянул на матицу. – Так она с тех пор еще, так и висела. Тогда хватало. Такие дела. Ну, за горшок. Любая безделица сейчас – за дело... и то ладно, пусть.

И, тяжело и жадно глотая, выпил.

Сидели, говорили, пытались вроде бы даже петь.

– Полоса ль моя да уж полосынька,

Полоса ль моя да непаханая...

– заводил Тимофей не по-мужичьи высоко, привалившись к простенку, уставясь тусклыми своими глазами в угол.

– Непаханая, не боронена!..

– помогал я ему, смутно вспоминая слова песни этой, которую в нашем селе бабы пели только лишь где-нибудь на вечерках. Для свадеб или еще каких праздников она вроде не годилась.

– Зарастай, д-моя полосынька,

Д-частым ельничком да березничком,

Еще-д горьким да осинничком...

– А в шашки... ты в шашки умеешь? – Тимофей клал тяжелую свою руку на плечо мне, потряхивал. – Н-не пробовал?

– Да в мальчишках...

– И я тоже. – Он согласно кивал, серые от седины волосы его тряслись. – А почему я спрашиваю – не знаешь? Не знаешь. А у нас на химии играли... да, играли. Комендатура – знаешь? – комендатура, менты эти, Ступак у них капитан... Взяли и объявили. Шахмат-ношашечный, – он поднял палец, усмехнулся, – турнир, понял!.. По всем баракам. А я не умею. И никто не умел.

– Так и никто?

– Не умели. А награду, приз этот первый, знаешь какой? Назначили знаешь что?! Нет, ты не знаешь... Свободу. Кто выиграет – тот ко всем чертям домой... на все четыре стороны! А никто не умеет. Понимаешь? Никто. Не захотели – грех. Ве-еликий грех, слышишь ты?!

– Давай спать, – сказал я.

– Счас, Мить... погоди. Дай сказать. Я говорю: зачем все это? Смеетесь над нами, да?! А оне говорят: не хочешь – не играй... что, мол, бузишь? И в парную меня – это меня-то! Чуть возвратом не пошел, опять в лес. А я человек, у меня, вроде того, права. А они говорят... ты лучше про обязанности помни – почаще, вроде того. Ну, пусть. А Богомаз мне, за иконы сидел, – плюнь, говорит. А я... Мне, Мить, выгить надо.

Я сводил его во двор, с трудом поддерживая; потом вернулись мы назад, Тимофей Иванов тяжело наваливался мне на плечо, говорил неразборчиво, силясь что-то сказать, и не мог, вздыхал и тряс головой:

– Мить, ты погоди... молод ты, а я... Ты молодец, вроде того, понимаешь... а молод. А я уже все. Мне за мою жизнь уже столько перед носом грозили... наманывали, гнали куда-то за надом и ненадом, матюком агитировали... все, запроцентовали. Надорвался, да. Хана, за рыбу деньги. Ты обожди... ты куда меня?

– Давай-давай... спать. Все, Тимофей Василич, спать.

– Спать? Ну, давай спать... Хрен с ними со всеми. А мы вот рыбачить завтра пойдем... а што?! Сходим, плевать. Чем мы хуже?..

Он еще бормотал что-то ругательное, жалостливое – и наконец затих. И я засыпал, день нас отпускал, обоих.

26.

Наутро старуха ждала меня; все было прибрано в их низенькой хате, на столе чистая скатерть, только что вынутая из сундука и пахнущая потому какой-то знакомой травкой от моли, и даже чулан, где лежал старик, задернут был занавеской. Первым делом я познакомился с хозяином, дедом Алешкой, – высохшим, бледным уже, хотя слег он, видно, не так давно: был еще все сердит на себя за это и подвижен даже лежа, с тонкой длинной палочкой-забавой в руке, которой, верно, пододвигал к себе необходимое, занавеской управлял. Он покивал, сказал, что слышал, о чем дело идет, и тут же приказал старухе показать их старый ткацкий стан – годный еще, только разобран стоит в амбаре, место зря занимает: «На кой он ляд нам теперь?..» Егоровна отмахнулась: да покажу, успеется, пусть берут. И с недовольной участливостью, какая водится в стариках, глянула на меня:

– Глаза-то у тебя... Чей, так и не завтракали?

– Да чайку попил. Хозяина нет, с утра ушел. Ничего, я не хочу пока.

– Ох, ребята, да разве так мысленно, как вы-то?! Праслово, говорю вам – остановитесь. Жизнь пропиваете, не што-нибудь.

– Ладно, ладно – взялась она, – сказал из чулана дед Алешка. – Они сами большие, пусть и думают. Нехорошо это, конечно. Тольки и Тимошке несладко. Ты лутше покорми человека, подай, пусть похмелится, што ж теперь... Запас у тебя всегда есть, я ить знаю. Подай. И занавеску как следует отодвинь – што я, доходяга какой?

Не ломаясь особо, сел я за стол; опохмелился за их здоровье и пока ел яишню с непривычным козьим молоком, старик говорил с кровати слабым, медленным

сквозь болезнь, но ровным голосом, поперхивая иногда и замолкая:

– Ничего, умный проспится, а дурак – никогда. Хорошая кровь себя всегда окажет. А Тимошка – человек не дурных кровей, отца-мать, деда его знал... не казачья хоть кровь, а добрая, што тут говорить. Это он ослаб.

– Да какое ж «ослаб», когда не просыхает?!

– Ниче, девка... это он с перепугу, сразки. А оно всегда так бывает. Ежели бы русский тольки пил, да не закусывал – оно что ж бы тогда было? Матушку-репку тогда пой, больше ничего. А мы-ще живем, слава Богу; другой и позавидует, как живем... Хорошую мы жизнь завоевали, да. Другой дело, што нас самих на нее не хватило – ну, это ладно... Вот и Тимошка: может, последний он такой горюн, кто-е знает... Люди счас другие совсем пошли, полегше, у них и горя-то небось полегчали. А винцо – дело такое: дурака валит, умному силу дает. Ты вон спомни, как жили... мы што ее, шутейно пили?..

– Да ты-то уж попи-ил... – пробормотала старуха.

– Нет, не шутейно, – продолжал он, не обращая на нее внимания. – Всерьез. А ить ничево, живы.

– Тольки и живы.

– Да што ты за бестолочь такая, – рассердился, разозлился даже дед, занавеска колыхнулась, будто от этой его сердитости. – Тольки и живы... што ты понимаешь в этом?! Нам по всем статьям давно бы спиться пора, мне бы первому – а ить ниче, живы! Ты меня много раз домой мокрого притаскивала? Всегда сам на ногах приходил и ума николи не терял, слава Богу. А теперь и вовсе как отрезало, всему свой срок. Дешево бы стоили, ежели по-твоему... – Он покашлял там, передохнул. – Ты

его как-нибудь зазови, Тимошку, я с им поговорю, он всегда разумел. А ума нет, так ничево не поможет. Ты лутше скажи, куда мы колодки для валенок запсотили? Помню, складывал в мешок; а куда сунули, не знаю. Я теперь какой вальщик, – пожаловался он мне хму-ро, – отошла малинка. Бывало, всей станице валял, в ноги приходили кланяться... теперь все. А надьсы приносили мне фабричные показать: жесьть, а не валенки. Покажи колодки человеку: может, заинтересуется.

– Так их Федька просил, у нё своих не хватает... Я, грит, заплачу, колодки старинные, хорошие.

– Все равно покажи... ему интересно будет, как жили. Парочку-другую, если надо, пусть возьмет, а остальные Федьке... Скушная жизнь мне пошла, добрый человек, – как на цепь посадили. Детишек Бог дал одного, и того войной убило, коротаем век одни. То хоть на людях был, а теперь вот... Ниче, может, отлежусь еще. Один свет в окошке, что старуха: придет, расскажет, где и как, – я маленько взбодрюсь. Да радиво. Бо-ольшой свет Божий, чего тольки нет. Раньше вроде б как не знал: ну, живет там кто – ну и пусть живет, у меня своя жизнь, со своей бы управиться. Мне и дела нет, как они там. А счас вроде б как проглянул, наружу высунулся – много всего... Ох, много. И до чего ж не любят все друг дружку: ругаются, обзывают друг друга как хотят, дерутся, грозят – как им земля мала... Как бы, думаю, худа не вышло. Худо – оно всегда под рукой, искать не надо. Взял да промеж глаз. Што у вас-то говорят про это, в области?

– Да все то же, дядь Леш, – как бы войны не было. Боятся.

– Так она кого хошь испугает... У нас, помню, один военком ее не боялся, кулаком все дрочил. И того убили, дезертиры. Он их в нашей уреме шарил, а оне его взяли

и положили, как раз в голову, – оружие-т, гляди, и сейчас есть, с гражданской... Шуму было. А так все боятся.

27.

На квартиру я вернулся уже после обеда, Иванова не застал и решил зайти в сельсовет, власть уведомить, чтобы облегчить будущий мой приезд сюда с оценочной комиссией. Дело свое, себе на удивление, я сделал необыкновенно быстро, за каких-то полдня: сходили с Егоровной в несколько дворов, поговорили, посмотрели, покопались в пыльных с мышинными запахами амбарах и кладовках. Слазил вместе с чьим-то внучком на чердак, там стояла трехведерная пивная корчага уральского литья, с проломленным дном и очень старая. «Ишшо деды нам оставили, попито с нее...» – говорила, глядя перед собой, товарка Егоровны, ослепшая совсем старуха. Дивен, с каких пор не видан был мною высокий под соломенной крышей темный чердак, подлавок, где со всего, казалось, дома сошлись, собрались жилые запахи – печной золы и пыли, старой соломы, дегтя, сухих березовых веников, чего-то домашнего, теплого и едкого, от которого щиплет в глазах... Была дубовая резная кровать, от древности вся в продольных сухих лопинах, но вполне годная, недавно перестали на ней спать. Много набиралось по мелочи. А свой казачий мундир, оставленный ему отцом, дед Алешка отказался даже показать – «вы это не трогайте, нечево...» Опись, адреса и фамилии были у меня в кармане, хозяев я на всякий случай попросил приберечь отобранное, большего с меня не требовалось.

Держась палисадников, теней матерой пыльной зелени их, я дошел до бывшего майдана. Нынешним днем осень была во всем явственнее, чем прежде: на солнце

грело еще тепло, но уже неровно; но стоило только зайти в тень, как охватывало отрадной, зябкой, как память об утренних заморозках, прохладой, настоявшейся уже во всяких укромных закутах земли. Сельсоветский широкий бревенчатый дом, в котором с другой стороны помещалось колхозное правление, угадал я сразу. Внутри шел небольшой коридорчик с большим питьевым баком и кружкой на цепке, со скрипучими, старыми еще полами и обитыми где дерматином, где клеенкой дверьми. И так же, сразу, узнал председателя. Короткий и плотный, то ли седоватый, то ли от природы белесый волосом, лицо крепкое, с мелкими грубоватыми чертами.

– Так это вы, – сказал он, вставая и протягивая через стол короткую руку, с озабоченной достойной приветливостью в лице. – Слышал, знаю, садитесь. Ну, как вам наша местность, люди?

И, не дожидаясь ответа, укоризненно, грустно покачал головой, поглядывая на меня и в окно, все это быстро и неловко, проговорил:

– С ночлегом вы поторопились, однако, да-с... Слышал, понимаю; ну, так вы бы к нам обратились, мы бы... Не беспокоит?

– Да нет, спасибо. Он, по-моему, человек неплохой – какая разница.

– Разница?... Ну, как: вы все-таки культурный человек, с области, вам приготовить надо, то-се... Мы обязаны содействовать, наша задача... э-э... выполнять нашу задачу. И потом: как вы, наверное, уже знаете, он вернулся недавно из этого... вы в курсе дела?

– Да в курсе.

– Ну так вот, все это не может не накладывать. Он вам, должно быть, рассказывал? – Я кивнул. – Ну, вот

видите... а жалко, работник был. И поверьте, мы все меры приняли, чтобы отстоять его, взять там на поруки... не дали. И его посадили, и нам, понимаете ли, оргвыводы – неофициальные, конечно, за это официальные не дают, но, сами понимаете, неловко.

Авдеенко развел руками, склонил голову – так, мол, вышло. И сказал доверенно, с озабоченностью:

– Трудный, знаете, все-таки человек: работать разучился, пьет – третий месяц уже пьет. С женой у него еще это... а мы отвечаем. Он ведь опять наш теперь, приняли, так сказать, по эстафете. Говорили уже с ним, меры пытались принять – нет, не помогает.

– Ну, раз уж об этом речь зашла, – сказал я, – то помогите ему трактор получить. Неужели уж не хватает для него?

– У нас-то? Да есть они у нас, – поморщившись, сказал председатель. – На днях вот новые подошли, два «дэтушки» – есть... Но ведь новый-то ему не дашь. Старый – и тот дать опасно, вдруг по пьянке опять что-нибудь содеет?! Конечно, с предколхоза можно поговорить, но... А он что, сам выразил такое желание?

– Мне говорил, что ждет: засиделся, мол, без дела. Я с ним говорил много, он понимает. Не надо бы тянуть с этим.

– Да?! А со мной, знаете, молчит... да, молчит, слова не добьешься. Упрямейший человек и анархист вдобавок. И у председателя всего раз был – нет бы настоять. Так вы так и полагаете?

– По-моему, да. Работать он может, должен работать.

– Ну, хорошо... Я вам, прямо скажу, верю, сам так думал. Хорошо. Решение принято, – Авдеенко одобрительно посмотрел на меня, – а там посмотрим, что будет. Цацкаться не будем, в случае чего, это наш долг. У нас

государство, а не какой-нибудь там бардак. Я даже могу сейчас позвонить.

Он потянулся к новенькому, недавно смененному, видно, телефону, встопорщив пиджак с орденской планкой, набрал двузначный номер; и так, перегнувшись и отвалившись, стал ждать, морща брови и глядя на стол свой с бумагами, отчужденный и серьезный, готовясь.

– Алло, Катя? Катя, где там Сергей Николаич? У экономиста, да?.. Да нет, пригласи. Попроси, да. Дело, без дела мы не звоним... Красавин, предколхоза, Сергей Николаевич, – сказал он мне, перебирая на столе короткими пальцами, как четки, бирюльку из скрепок. – Советую познакомиться. Сейчас как раз качка меда закончилась... Алло, Сергей Николаич? Да, я. По делу. Помнишь, об Иванове говорили... да, о «ээке». Так я полагаю, что надо уже дать ему технику, пусть хоть на зябке попашет, потренируется, так сказать. Старые два освободятся... Как, уже решили? Когда? Ага, ага... Конечно, попашет, что он – первый раз замужем, что ли. Может брать, так ему и сказать, да? Ладно, поговорю, настропаю... Лады. Да. Ладно, заходи или пошли кого. Давай.

– Ну вот, – сказал он, кладя трубку и что-то вспотев, но довольный, – дело сделано. Оказывается, они только что решали, кому новые дать, а куда старые... У нас, как видите, оперативно. Так и передайте Иванову. Впрочем, нет: скажите, пусть зайдет сюда, я с ним сам... Ох, народ: глаз да глаз нужен!

– Ну, а вы, – обратился он наконец к моим делам, – как тут вы? Может, вы еще по какому делу? А то, знаете, из области по разным вопросам приезжают... всяко бывает. Я помогу, если что потребуется.

– Нет, спасибо, – отказался я. – У меня к вам только два вопроса...

– Да, я вас внимательно слушаю.

– Первый: я приеду сюда в ближайший месяц с оценочной комиссией. Я могу надеяться на вашу помощь с бытовым устройством? – Он кивнул. – И еще хотел я у вас узнать...

– Да?

– Может, вы мне посоветуете как местная власть: к кому тут зайти, старинные вещи посмотреть. Нас интересует история, казачий быт, его принадлежности... Дело нужное, государственное.

– Да-да, я понимаю... Нет, – он развел руками, покачал головой. – Человек я приезжий, даже... э-э, городской, служил в гарнизоне – нет. Но постойте, посидите, я сейчас.

Он быстро встал, прошел, прихрамывая, к двери, выглянул в коридор. Из-за двери напротив слышался женский смех, мужской голос что-то сказал и опять залилась женщина, тоненько и задыхаясь: «Ой, не могу-у!...»

– Нюшка! – крикнул председатель.

Смех мигом замолк, наступила выжидающая тишина. Потом из-за двери ответили:

– А ее уже нет, Афанасий Григорич, прибралась и ушла. Вы что хотели?

Председатель не ответил, притворил дверь и прошел опять на свое место.

– Ушла, а жалко. Она бы порассказала, большой мастер на это дело.

– Кто – «она»?

– Да уборщица, техничка то есть. Мастерница болтать. Вы подождите, я ее призову. Она вам все расскажет, что, когда и как.

– Да нет, не надо, я уже виделся с людьми, говорил, смотрел... Не надо, ладно. Не буду вас больше отвлекать.

– Ну, смотрите, смотрите, как вам виднее... А то призову, – говорил он, провожая меня до двери. – Приятно познакомиться с культурным человеком. Заходите еще, гостям всегда, понимаете, рады. Посодействуем.

28.

У магазина, выставив на солнышке ящики, сидели двое, и к мужикам этим, по всему видно, присоединился Тимофей Иванов. Увидев меня, махнул рукой – подходи. Я поздоровался, мне сдержанно ответили, любопытства особого не проявили.

– Квартирант мой, Митрий. Из области человек, а так наш, сельский, – сказал им Иванов не без довольства; и взял из кучи сзади еще один ящик, поставил. – Садись давай, не побрезгуй – опохмелись. Музей они там затевают, вот он и приехал за старинкой. Дала што Егоровна?

– Да есть кое-что, приедем покупать.

– А чем же, например, вы интересуетесь? – спросил с неожиданным любопытством рыжий, с такой же рыжей щетиной небольшой мужичок, востроносый, в телогрейке и калошах на босу ногу. Рядом с ним, полуотвернувшись, сидел, равнодушно щурил и без того узкие глаза старик в брезентовой куртке и тяжелых литых сапогах – уж не Заводской ли? – Какой-нито одежей, снаряженьем, или как?

– Да всем, старинным. Что постарше вот тебя, – сказал я весело, решив не церемониться, Бог нас как свел, так и разведет. – Утварь какая, снопряхи, справа казацкая – старое нам все годится.

– Тады забирай мою старуху, – серьезно сказал вдруг За-

водской, до того будто и не слышавший разговора, пустого любопытства соседа. – Надоела, всю шею переела. Забирай!

Все дружно, не торопясь, посмеялись, по-доброму усмехнулся и сам Заводской; глянул, хозяйски налил в стакан, а Тимофей сунул мне его в руки:

– Давай.

– Ну, будем знакомы.

– Знаком ни на ком, – поддержал разговор Заводской. – Опохмеляйся.

– У Авдеенки я был, – сказал я Иванову. – Он говорил с председателем, дают тебе трактор. Ты только зайди к нему, велел.

Иванов равнодушно кивнул, сказал, обратившись к рыженькому:

– Ну, так и что ж?

– Да ничево, потолковали мы тогда, на том и делу конец. Никак, говорит, не могу, ребята. Вот свезем сенцо на базы, взвесим, посчитаем – тогда, может, что и выделю... Ему хорошо считать, у него, у красавчика, скотина всю зиму на сене лежит.

– Дураки вы дураки, – сказал Заводской с некой презрительностью, полез в карман куртки и, словно подсластить сказанное хотел, вынул несколько сушеных рыбок, бросил на ящик, служивший столом. – Я бы у него из глотки вырвал эти проценты... Моду завели – обещањьями кормить. А это вы все допустили, распустили ихнюю братию. Легко им с вами, дураками, жить.

– Не всем же такими умными быть, как ты... – Иванов вдруг поднял глаза – злые, тоскливые и решительные, посмотрел так. – Что ты тут ума-то всем даешь – своего, что ль, излишек?!

– А что с вами лук чистить, коль вы свое взять не мо-

жете?! А они видят такое дело, сели на вас да погоняют, посвистывают... Глядеть тошно.

– Куда как ты умен – уме-ен, со стороны-то... Ну, а если я вот встану, возьму да твой ум немного об стенку постукаю – это как?!

– Ты... ты что, Тимошк, сбесился, что ль? С чего ты?!

– С тово! Знаю я вас, захребетников, перевидал на своем веку, гадов. Наш хлеб жрут, да еще поучают!..

– Ты это брось – какой я тебе захребетник... Я, парень, на заводе работал, целину, это, брал... ты брось!

– Знаем мы эту целину, ты не рассказывай – рядом, чей, с ней живем, с целиной. Все знаем! А я... я за твой перетяг, если хочешь, два годочка оттрубил, за твое паскудство – ты и это знаешь, ты не прячь глаза! Ты, паскуда старая, рыбку ел, а я трубил!..

– А ты б не тянул – ты что тянул-то?! – ощерился по-младому Заводской и встрепенулся, весь вдруг растопырился, насел голосом: – А что ты тут клепаешь, ты откуда взял...

– Оттуда!.. Не знал бы – не говорил... комедию мне не ломай, не мальчик тебе. Мне парнишка один все рассказал, как ты с лодки ставил!

– А ты б не тянул... не трогал, говорю, чужого. Виноватых он ищет! Тоже мне честный нашелся, работяга какой – на чужой счет лакать... Ты что ж тянул-то, милоч?

Тимофей встал, вскочил и Заводской, старчески поспешно, однако готовый на все. Мужик в галошах глядел на это, открыв рот, изумленный и будто чем обрадованный.

– Дай ему, Тимох, – сказал он радостно и мстительно, – сучку!

– Я-то в нечайку, Бог видит... я-то испустил – а вот т-ты!..

– Кончай, Тимофей Василич... ну, не надо, брось, – говорил я, придерживая его за рукав; а он сделал шаг другой вперед, резко и все же обессилено как-то отпихивался и все глядел на старика. – Толку теперь... Брось! Садись, хватит вам кричать.

– Старость твою... а то б ты поплясал у меня, узнал, почем оно! Коз-зел! Ты жить потому умеешь... мы потому что не умеем. Давай вали отсюда, заметайся, не трону! Сам скоро околеешь.

Заводской постоял мгновенье, глаз его в прищурке совсем не было видно, лишь поблескивало что-то там. Потом глянул на ящик с бутылкой и рыбой – то ли с сожалением, то ли презрительно, повернулся и пошел. И оглянулся, сказал на ходу:

– Ты, Тимошк, не больно гордись, я еще тебя переживу.

– Что у вас тут за шум, мужики? – выглянула из тамбура магазина продавщица, оглядела нас жалеюще, с укоризной. – Вы все тут? Шли бы уж домой, чем шуметь зря.

– Да ничего, Мань, ничего... выясняли тут. Один тут было уму-разуму начал учить – пошел он вон!

– Кто, Заводской-то?.. Ты бы не надо, Тимофей Василич, – сказала она и посмотрела ему в избегающие глаза, долго и с жалостью. – Он, видно, всю жизнь такой, что с него возьмешь. А вы бы шли лучше домой, делом бы занялись.

Голос у нее был тихий, и сама она была невзрачная, неяркая: лицо простое, жалостливое, морщинки усталости у губ, у широко расставленных серых глаз. Она все не уходила с порога.

– И то, – покорно согласился Тимофей Иванов. – Што ж тут сидеть, без дела... Сейчас пойдём.

Манька ушла, а рыжий мужик подергал Тимофея за

рукав, показал на импровизированный столик наш – садитесь. Мы сели.

– Так во-он оно что значит – Заводского перетяг... А мы тут судили-рядили, на кого только не думали. И на приймака тоже грешили – да-к кто ж знал?.. А чей же это мальчонка тебе сказал?

– Да есть тут один, узрил вечерком... что об этом говорить? Сказал – и сказал.

– А где ж раньше он был?!

– Отец-мать не велели. Нечего, мол, другого впутывать, грех на душу брать.

– Ну, а ты что?!

– А што – я?! Ругаться, што ль, пойду? Их тоже, вроде того, понять надо. А Заводской жирует, сучок.

– Правильно, что не дал ему, – сказал мужичок, наливая. – А то бы нажалился, опять бы ты загремел. Дело такое.

– Не больно боюсь. Кто там побывал, того не испугаешь, – с пренебреженьем, так не шедшим к нему, бросил он, глядя вдоль улицы, где еще мелькала брезентовая спина приймака. – Мараться неохота.

– А он ить и вправду переживет – а, Тимох? Такие до ста лет живут.

– Смерть все равно не обманет... это тебе не рыбнадзор. Налил? Ну, давай. Мы вот что, Митрий, – мы завтра на рыбалку давай сходим, что нам... Манал я их всех. Посидим, реку поглядим, какая она стала. А то когда еще доведется?

– Тогда с этим завязывать надо, а то утром не подыдемся. Тебе к Авдеенке еще надо, ты не забывай.

– Э-э, работа не медведь, в лес не уйдеть, – сказал он, махнув рукою; и рука еще возбужденно подрагивала, когда он взялся за стакан. – Успеется, надоест еще. А мы сходим. Крохалев, значит, уехал?

– Убыл, – ответил ему рыженький, хмыкнул. – Баба его, сказывают, сдвинула. Быстро они снялись.

– Ну и черт с ним, лупоглазым. Может, еще сообразим?

– Нет, – сказал я. – И не думай, незачем. Что нам, заняться нечем, что ли?

– Да это я так, – он вдруг с некоторым смущением почесал затылок, неопределенно усмехнулся, – по инерции, вроде того. Ни к чему сейчас, это верно. Другое дело, когда нужна она.

– Это когда же?

– Ну, как сказать... бывает, что нужна.

29.

По дороге Тимофей решил зайти в правление, после обеда обещали выдать зарплату, потом уж к Авдеенке; а я пошел на квартиру, надо было хоть чаек вскипятить. Вернулся он быстро. Вошел, сел у стола, ничего не говоря, беспокойный, с какой-то думой в глазах.

– Ну, что – поговорили?

– Да что тут говорить... целыми днями говорить можно, делов-то.

– Дали что?

– Дали... Раздолбанный весь тракторишко, знаю его. На нем еще Мишка – с нами вот который сидел, рыжеват... он еще на нем пахал, будь здоров. Его теперь только на капиталку – ни заработку путевого, ничего. Да шут с ними со всеми, это все ерунда. Что-то делать надо, вот что...

Я молчал – что я мог ему сказать, посоветовать такого? – и он тоже ничего больше не сказал, понимая, видно, что другие тут ему не советчики. Взялись мы варить какой-нито супец, «без хлеба нельзя...» Впервые

пообедали без выпивки – и, кажется, оба сейчас об этом подумали, Тимофей, глянув на меня, даже усмехнулся. А отчего мы, собственно, пили-то?.. Да кто его знает, отчего. Оттого, может, что душа еще жива, что больно ей бывает. По причине души, так сказать.

– Нет, что-то делать надо, – опять сказал Тимофей. – Картошку на зиму надо, то-се... На мельницу съездить. Зерна полон ларь, мыши теперь, гляди, все поточили. Скотины вот нету, – он глянул мне в глаза, озабоченный и чем-то вроде стесненный. – Скотина, знаешь, всему смысл дает – что вот без нее... Она тут все продала, Василию деньги отделила, себе... всем распорядилась. Ну, ладно. Давай-кося мы на реку, а?

– Сейчас?

– Да хоть и сейчас. Я, чей, и по реке соскучился, ни разу еще не был. А трактор подождет, он железный. Ты когда думаешь ехать-то?

– Завтра, наверное.

– Ну, вот и сходим, посидим. Удочки, кажись, целы, видел в амбаре. Червей, конечно, не найдешь, осень – ну, мы на кузнеца. Попробуем, что нам...

Мы шли низом, светлым сейчас чернолесьем, и в воздухе, в тинистых запахах низинок и озерцов, то и дело видимых обочь за кустами, все сильнее и откровеннее чувствовалась близость большой медлительной воды. За лето подсохшая, прогретая, зрело желтеющая зелень уремы заметно поредела, сбросив под ноги лишнее, на падало уже много, винно-кисловатый запах начавшего глеть листа соединялся в одно с речной свежестью, с бледно улыбающимся этим небом. Тропка, спотыкаясь о корневища долинных бледно-серебристых осокорей, шла все ниже, огибала дикие сцепленные заросли бу-

зины, крушины, кленового подгона; высоким куполом стояла осенняя тишина. Стояли деревья в тихом воздухе, не слышно было даже птиц, лишь одна какая-то молчаливо перелетала в вершинах над нами.

Потом впереди, в прозрачной тени меж стволов, потянуло сырой прохладцей, увиделся далекий, освещенный солнцем противоположный берег, и лишь минуту спустя слева от нас блеснула наконец и стала все более расширяться полоса тихой небесно-пустынной воды.

Еще минут десять, обходя вышедшие на самый обрыв деревья, шли мы вдоль нее высоким берегом, бурой пожухшей травой, река плавно заворачивала куда-то на юг, подмывая и обваливая твердую глину материка. Другая сторона была отлогой, с песчаными отмелями и косами; нарощие там водоросли, сейчас оставленные водой, пересохшие и выгоревшие, ослепительно белой под солнцем каймой тянулись вдоль берега, подрезая тальниковую сероватую зелень, и тоже скрывались за поворотом. Прошли мимо безлюдного перевоза. Заводского не было, праздно мокла кормой наполовину вытасченная старая лодка, и трос, серединой провисший в воду, тихонько покачивало течением.

Тимофей замедлил шаг, подошел к заросшей бурьяном старой промоине. Внизу, под обрывом, виднелся небольшой осочный мысок с корягой. Медленное, ближе к берегу совсем лениво закружившееся на месте течение обходило его, образуя что-то вроде омутка, осока была частью примята, притоптана ногами рыбаков, валялась стеклянная банка – обжитое рыбацье место.

– Тут и будем.

– Так это что – здесь, что ли? – спросил я.

– Ну. Два годочка, как сидел тут... – Он огляделся,

будто примериваясь; что-то вроде усмешки появилось у него на лице, но выраженное через силу, и тут же сошло. – Вода течет, времечко летит... одни мы на месте, как были. Никак мы не меняемся, Мить. На што уж нас ломают, гнут через коленку и по-всякому, воспитуют – нет, мы как все те же. Я вот подумал: а что если не переделают?.. Это ведь так тогда и пойдет, все по-старому, как было, – эти всякие драчки наши, беды, война та же... так и будет идти без конца, друг дружке на мученье. За каким, вроде того, чертом мучились тогда, работали, себя клали? Неужель, думаю, все ни по чем пойдет, насмарку?.. Что ни говори, а жалко.

От неожиданности я не нашелся, что ответить ему; а Иванов еще раз глянул и стал спускаться сквозь бурьян вниз, пробуя осыпь ногой, подняв над головой нашу жиденькую связку удочек. Спустился и сказал оттуда:

– Кузнецы, Митрий, за тобой – ты молодой, оборотливый. Да тут, оказывается, еще обвалилось, работает вода... Мыску этому никак уж лет восемь, а все держится. А вода теплая, – продолжал делиться он, обследуя там все, – в случае чего и купнуться можно. Только не здесь, к шуту. На гальке где-нибудь, а тут не надо... Ты как там – ловишь?

Когда я спустился к нему, он уже забросил одну, на хлебный мякиш, приготовил и другие, меняя на них сгнившие камышовые поплавки.

– Есть? Ну и добре.

– Как ты говоришь – насмарку?.. – сказал я.

– Да вроде того.

– Не должно, чтобы насмарку, Тимофей Василич: не все ж проходит мимо, что-то и остается... По-моему, люди умнеют. Да и ты сам, все мы – что мы, не радуемся,

что живем?! Что-то делаем, живем же – почему ж на-
смарку?

– Я понимаю, сам вижу... я не про то. Это само собой,
что радуемся. Хотеть-то, может, и хотим. Я к тому, чтоб
ее побольше, радости, чтоб друг дружке не мешали, по-
нимали – вот что.

– Э-э, да ты вон куда, – засмеялся я. – Больно много
хочешь... Этот продукт, Василич, всегда дефицитом бу-
дет, даже при коммунизме. Радость – она... как бы это
сказать... в недефицитном состоянии не существует,
нет ее такой, чтоб в избытке. Ее ни на какой фабрике не
сделаешь, даже в светлом будущем.

– А и правда. – Он внимательно на меня посмотрел,
подумал, кивнул согласно. – Не будет хватать, ей-бо.
Люди такие. Получше, конечно, будет, чем сейчас, а...
А черт его знает, как будет. Лично я не доживу, куда там.
И ты тоже.

Мы, по нашей привычке, посмеялись, Тимофей под-
нял удочку – съели наживку, черти, и заметить не успел,
как съели. Не клевало и на кузнечика; так, шалила рыба,
но брать не брала – видно, не ко времени и месту была
насадка; мы это поняли и особо не досадовали. Солнце
уже коснулось по правую руку вершин чернолесья и
теперь заметно для всего вокруг западало за них, тени
вытянулись, легли по катящейся воде, по отмелям на-
против, под крутью у нас свежело. Помнилась речка
своя, маленькая – ну, а какая разница... Реки – как люди,
большие или маленькие, все похожи друг на друга. Даже
запахи те же – милые дождевые запахи чистоты и тины,
прибрежных лопухов и нашей баньки по-черному, тон-
ко-горьковатые, пряные от умершего березового листа,
конопляных зарослей вокруг. Далекая пора, чистая.

– А радости не прибавишь, – сказал я Тимофею. – Вся наша, какая в нас есть. Каждому по мерке отписано, не все только пользуются. Не все умеют. Сами у себя отнимаем.

– Это понятно... Ну, хоть бы горя поменьше.

– А не будет так: уменьшится горя – и радости тоже? Не зря ведь говорят, что не погорюешь – не порадуешься...

– Да нет, перевешивает горе, – твердо сказал он.

– Перевешивает...

С рыбалкой мы, похоже, прогадали, ничего тут теперь не высидишь, но уходить не хотелось. Надо бы искупаться, подумал я, хоть пыль смыть. Совсем запаршивеешь в этих дорогах.

– А вот Крохалев, – отчего-то сказал Тимофей. – Тоже бедолага. На свово кобеля похож. Вроде мужик как мужик, а не по своей воле жил. Я таких людей не люблю. Если не по своей воле, тогда добра не выйдет, не жди... невольник – не богомольник. На таких не выедешь.

Поплавок моей удочки дернуло, я замешкался подсечь, и небольшой голавчик, поднятый мной, сорвался, плеснул в закатную тихую воду.

– Не, это не дело... – Иванов глянул на добычу нашу из нескольких маломерок – кошке на жевок, сплюнул горькую табачную слюну, прикуривая. – Отошла малинка, осень на дворе. Сматывай. И кошки нету, чтоб отдать... Ну, ладно, птички склюют.

Он смотал свои, собрался было подниматься наверх; но вдруг вернулся, сунул удилище в воду и повел, обходя бережок и топча поросль, нашаривая им что-то. Я его понял, с интересом следил, что из этого выйдет. Удилище, подрагивая, резало воду, задевая иногда за что-то; Иванов уже почти обвел и корягу – и тут оста-

новился, стал что-то поддевать, найденное, с лицом будто замершим на кривой усмешке, остановившимся.

– Ну, как Бог свят...

– Есть?

– Тута. Сказано – святое местечко...

Удилище было жидковато для тяжелой той снасти; и он повернул его другим концом, комлевым, стал коленями на корягу, опять поддел, поднял над водою и перехватил бечевку другой рукой, подтянул к себе.

– Перетяг, что ли?

– А шут его знает... Нет, кажись, верша. Ну, что будем делать?

Он смотрел на меня снизу вверх, все с кривоватой своей усмешкой, а сам тем временем нашарил и вынул из кармана складной самодельный ножик.

– Што делать будем – а, Митрий?.. Шнур, вроде того, знакомый, с искрою – помню.

– Да хоть бы и не его, – сказал я. – Режь к черту.

30.

У первой же отмели под крутью я решил искупаться. Тимофей посмотрел, как я раздеваюсь, подумал и тоже стянул сапоги. Но ни купаться, ни ноги мыть не стал, так и остался на верхнем берегу: сидел, курил и о чем-то думал. Я зашел по колена, вода была не то чтоб уж очень холодна, но уже настывшая, с осенней внутри себя стынью – долго в такой не пробудешь, разве что ополоснуться. Дальше в ней виднелся обрывчик и надо было бросаться сразу.

– Слышь, Мить! – крикнул с берега Иванов, встал. – Ты обожди... давай, слышь, баню истопим, а? Дровец еще

осталось, воды натаскаем – ну ее, реку эту, еще простынешь. Вылезай, пошли.

– А что, дело хорошее!.. Ну, я сейчас. Зря, что ль, раздевался?

И шагнул в податливую глубину, вода студено охватила меня, плеснула и понесла – только огребайся. Руки в холоде не чувствовали усталости, я греб сильно, не экономя, все тело играло от холода и силы – порой лишь в воде мы вспоминаем, что молоды. Но река признавала только силу и умение, отмель все отдалялась, и как я ни греб, а вылезти пришлось метров за пятьдесят ниже.

– Это хорошо, что воды не боишься, – говорил мне Иванов, глядя будто с завистью. Он успел уже надрать березовых веток для веника и теперь вязал его, по привычке ладно и крепко стягивая ивовой шкуркой. – Я уже для такой воды не гожусь, разве когда летом отважусь. Раньше, бывало, первыми сезон открывали... А мы знаешь что – мы сейчас в ларек заскочим, есть тут такой. Мы мало, чтоб после баньки. Я-то всего раз в баньке побывал, как приехал, – соседи пустили Христа ради. А что в последний пар ходить, когда своя есть? Она у меня дельная, баня.

– С деньгами туго, Тимофей Василич, – сказал я, прыгая на одной ноге, стараясь попасть в штанину, – вот какие дела. Вышли мои командировочные.

– Ну, беда это малая... А на дорогу-то есть? А то дам.

– Завалялась пятерка.

– Пятерки мало, я дам. А то ни перекусить, ни чего, хоть руку протягивай. Ныне ведь без денег никуда, все за деньги – и просить, вроде того, стыдом считается. Я вон кровать, диван тот же отдал... ты думаешь, денег я бы не достал по-другому? Достал бы. Зерно целиком

бы пустил, то-се... дело не в том. Глядеть не могу на нее, на кровать. Лучше на полу. А в магазин зайдем, раз такое дело. Баня хорошая, дровишками мигом протопим. Дровец вот на зиму надо, брикету... все надо искать, доставать. Подваливает заботушка, мать ее за ногу!..

Наверху, поворачивая за угол плоского саманного домишка, каких здесь много, мы чуть не столкнулись в сумерках с человеком.

– О-о, Ивано-ов?! – Поджарый, с выпуклыми светлыми глазами старик в мятом костюме приподнял шляпу, легонько поклонился, явно порадованный. – Вернулся, значит? А я тебя вспоминал, вспоминал...

– Здравствуйте, Петр Германович, – сказал, неловко улыбнувшись, Тимофей, осторожно пожал ему руку. – Да прибыл вот...

– Ну, рад, рад, Иванов!.. Как машинки-то – не подводят? – Он ласково ткнул его в грудь. – Быстро я тебя отремонтировал?! Нагрузка, полагаю, там и сейчас немаленькая, сам бывал, знаю. Как экзамен организму, не меньше.

– Грех жаловаться, Петр Германович, – спасибо.

– Так-так... Где был?

– Свердловские мы, – тонко усмехнулся Иванов.

– Ну-у?! А я нет, я сибиряк. – Пеннер, довольный, оглядел его; мельком и на меня глянул, поклонился с достоинством, я ему ответил. – Изменилось что в том государстве?

– Да как вам сказать... Старого не видал, новому не радовался. А так ничего.

– Да человеку, знаете, все ничего... – Он посерьезнел, по-немецки, через меру, озаботился. – А про семейное слышал, слышал... Что ж, нет Бога, кроме аллаха, – и тому женщины непокорны, да. Не отчаивайся,

мой друг. В конце концов ты здоров, жив, тебе еще повезло. Осталось и хозяйство, это тоже большое, – он поднял палец, – большое дело! Но не надо увлекаться. Разменивать жизнь на спиртное – как это, знаете, немудно, глупо, попросту неправильно! Ты это должен понять. Я надеюсь слышать о тебе только самые хорошие... э-э... референции, вот так. Желаю здоровья.

– Здоровы будьте, Петр Германович.

Дома Тимофей сразу заспешил к бане, оставив меня на дворе собирать всякое щепье и досочки, все годное на топку. Вернулся он с задов расстроенный, мужик – и чуть не плакал:

– Всю каменку порушили, сволочье...

– Кто это?

– Да молодежь, кто ж еще... Кобелились, видно, – ну, ладно... каменку-то зачем трогать?! Все завалили, гады... запроцентовали!

– А что, наладить нельзя?

– Да можно наладить, не о том речь... Обидно.

Но все же решили топить. За каких-то полчаса наскоро выправили каменку, помыли котел, я натаскал воды и топки. Иванов собрал и вынес бутылки, всякую накопившуюся дрянь – были тут и драные газеты, грязные полиэтиленовые пакеты, даже рейтузы чьи-то. Вымел грязь и окурки и сразу взялся скоблить косырем и мыть полки. Уже разгорались дрова, щипал глаза первый нежилой дым, сначала клубами, а потом наладившейся тягой выровненный, затопивший потолок, – а он все возился там при свете керосиновой коптилки, иногда матерясь сквозь зубы и кричась. Раз взявшись, он уже не останавливался: помыл полы, прибрался и в предбаннике, принес от соседа и расстелил на полу берема новой соломы. И сел на

нее против устья, сторожа огонь, сумрачный какой-то и новый, таким я его еще не видел. Да и что особенного я знаю о нем, подумалось вдруг мне, – ну, что?.. Кому дано это узнать и понять? Приблизительно знаю, что вот здесь, рядом совсем – душа; а каково там ей, что в ней, какие такие помыслы – на это нас, видно, никогда не хватит, так уж устроены. И вот не знаем – а судим, пытаемся судить, огорчаемся или радуемся, хвалим там или ругаем в душе чужой то, что человеческому нашему суду вовсе не подлежит, непосильно. Принимаем все по-своему, через себя, – ну, а кто нам такое право давал?..

Баня настоялась часам к десяти. Иванов еще раз, уже наспех, ополоснул полок, ошпарил свежий веник и выбрался на воздух.

– Ф-фу ты... спирает. Ну что, гость, – в первый пар пойдешь?

– Нет, – отказался я, – погожу. Отвык в городе.

– Как знаешь, – сказал он, голос его из темноты был подобрешшим – видно, доволен был, что банька не подвела. – Да вы там, гляди, скоро уже и по-русски разучитесь говорить, в городу.

– Почему ж... другие парятся. Есть такие, что любому сельскому нос утрут.

– Не знаю, не знаю... – с сомнением сказал он. – Чтой-то не верю я этим городским, посмотрелся на них. Болтунов много. Уж как начнут болтать, то – все, спасу нет... Вон хоть Заводского возьми: его не пои, не корми, дай только поболтать.

– Всяких хватает, Василич.

– Нет, не люблю... Ну, пошли; полотенчик, что ли, захвачу.

Был он в бане чуть не час, вернулся распаренный,

расхристанный, сырое полотенце на шее, с пустыми, помертвелыми какими-то глазами; сел на пол возле голландки, выговорил, глядя в пустоту перед собой:

– Ох, дури накопилось во мне...

– Всю выгнал?

Он ничего не ответил, не глянул даже, сидел и дышал, прикрыв глаза, жил чем-то своим, далеким и никому не внятным.

31.

В Кузьминовку я попал только месяца через два с лишним, после ноябрьских праздников. День за днем дождало, потом пошел было, забелил пасмурные окрестности снежок, покружился, порадовал новизною и тут же растаял. Автобусик наш барахтался в этом слякотном проселочном межвременье почти полдня, вымотал и себя с шофером, и нас троих, составляющих авторитетную оценочную комиссию. Казаки, когда расселялись в пойме, ни сном ни духом, наверное, не ведали, что их река станет никому не нужной, что большая дорога пойдет совсем по другим местам, внешне, пожалуй, и неприглядным, голым и для жилья неудобным, но зато выгодным в каких-то других и, на первый взгляд, не совсем понятных отношениях. Да мало ль о чем не думали, не гадали они.

На этот раз я сразу же зашел в сельсовет, женщин, двух моих сотрудниц, надо было устроить поприличнее. Но Авдеенко на месте, как у нас говорят, не оказалось, уехал повышать квалификацию. Замещавшая его невысокая полная баба в рабочих литых сапогах и в розовом, непомерно ярком пальто проводила нас на постой к одной вдове. Женщины, слава Богу, быстро нашли общий язык, стали располагаться, а я пошел,

с горем пополам вспоминая улицы, к своим знакомым. По дороге заглянул в маленький тот магазинчик, куда наведывались мы с Ивановым в последний раз, взял после некоторых колебаний бутылку русской – взял и вспомнил тимофеевы слова: «бывает, что нужна...» Всю листву, так заботливо прикрывавшую Кузьминовку летом, теперь сдуло, смело и перемешало с грязью, было сыро и ветрено, в низине реки, мелькнувшей в проулке, виднелось, сквозило в холодном тумане чернолесье.

На двери Ивановского дома висел тяжелый, недавно из магазина, замок – уехал куда, что ли? Я пошел к Егоровне. Старуха что-то возилась в своем закутке у печи и не слышала, как я вошел; долго смотрела не узнавая, а узнав – обрадовалась, замахала руками, будто наваженье с глаз прогоняла:

– Господи, а я ить и думать забыла... Митрей ли?! Он, и пра – он! А мы уж и ждать перестали – ну, думаем, зажился он в своем городе, забыл нас, грешных... Проходи, милоч, проходи, я счас.

Как-то она свойски, по-родственному обрадовалась, и сам я радовался, глядя на нее, и пожалел, что не додумался захватить им хоть что-нибудь в подарок. У них никого не было, не было и у меня. В портфеле моем лежали бумаги, бритва с полотенцем, палка городской ветчинной колбасы да та же бутылка, вот и все.

– Ну, а дед Леша – лежит все? – тихо, чтобы он там, в передней, не услышал, спросил я. – Как у него со здоровьем-то?

– А в больнице он, милай, – в больнице, – все так же громко, будя застоявшуюся в доме тишину и радуясь этому тоже, говорила Егоровна и все оборачивалась ко мне, улыбалась, морщась и качая головой. – Вот так

и живем, хлебушко с бедой жуем. А ты-то как же – не женился вдругораз?..

– Да нет, по-старому все, Егоровна, – езу... Приехал вот, как обещал, с автобусом, завтра начнем закупать. Навещаешь старика?

– А как же не навещать – каждый день, а то и на дню по два разу, тут близко. Тоскует больно, мужик-то мой. А так ничо. Ты раздевайся, што ж одемшись? А я как знала, чаек на керогаз поставила. Я тебе наш, степной заварю счас, попробуешь – не пробовал?

– Приходилось. Чай этот у нашего дома на задах рос, только собирай.

– Тем боле. Я тоже всего насобирила, в заварку-то: чобору, вишеннику там, душицы особенно... духовит, куда-а! Садись.

Чаек скоро поспел, старуха рассказывала, как определяла своего в больницу: больно уж не хотел он туда, Петр Германович сам пришел, заставил. Всю жизнь, мол, не берегли себя, так хоть под старость обратите внимание, хватит жить торопыгами. Уговорил. Да там ему, раз уж на то пошло, веселее с людьми, вон сколь стариков лежит. А тоскует по жизни – жизнь, мол, быстро пролетела и порадоваться не успел, что живу. Я спросил о Тимофее.

– Не застал, говоришь? Он теперя либо на работе, либо у нее – у Маньки у Казаковой, продавщицы-то... А как тебе уехать, он как взялся пить! А пил, а пил-то, а што творил... недели, чей, три. Ну, думаем, все – скособочился мужик, пропал. У него и трактор было отбирали, и стыдили, и што ни делали – нет, совсем, кажись, сошел с рельсов мужик. Хлеб начал с амбара продавать – вот где горей-то... А потом, глядим, окорачиваться стал – это когда сыну приехать было. Окора-

чиваться, окорачиваться... на трактор это опять его посадили, сына честь честью в армию проводил: выпил, конечно, без этого нельзя – но уж не так, не до болятки. А то ведь до чего дошел: набуздаецца, ну и ходит по селу весь сопливый, ишшет... чего искать-то? Уж што потерял, того не найдешь. Перестал. А это все, говорят, Манька. Што-то у них сладилось там, бабы сказывали, и я так пока и не поняла – что у них, к чему?.. Спросила его как-то – молчит. Манька его вроде и окорачивает, баба она смиренная, настрастилась в одиночку-то жить... смиреньем берет. А что уж у них, как – не скажу, не знаю. Может, тебе что расскажет. Он о тебе вспоминал – умный, грит, парень, даром што молодой. Умный-то, говорю, умный – а зачем же вы пили-то?! Рукой махнет: что вы, мол, понимаете... Понимаем, век прожили. Ты его, Митрий, расспроси, как он думает дальше. Да не пейте, ни к чему это – боимся, как бы опять не стронулся.

– А сейчас он как?

– Да как... выпьет иной раз, не без этого. Попивает. Но уж меньше, что на мужика грешить. Кабанчика ему колхоз отписал – хлеб-то старый остался, надо куда-то девать. А надьсы брикету у шоферишек башкирских купил, на мельницу съездил. Это ему сын денег дал на хозяйство, добрый удался парень, весь в них. Тимошка теперь перезимует, не страшно... Да, а ить я не сказала тебе: письмо Аксютка прислала! Прислала, как же-ть... помнит старых нас. Это я вон забыла сказать, а она помнит.

– Счас я... где-то оно тут у меня прихоронено, прочитай. – Старуха, сама дивясь своей забывчивости, стала шарить за рамой зеркала, за внутренними наличниками окон, среди дратвы, каких-то узелков и тряпочек. Потом вспомнила: – Да-к на божнице письмо, ну-ка, достань,

сын. Я Тимошке уж и не показываю, не велела. Еще пишет, чтоб... ну, вот оно-тка, почитай.

«Здравствуйте дорогие соседи, дядя Леша с Егоровной, пишу вам одним, потому что вы за всю родню мою. Так сроднилась с вами, пока жили двор в двор, что никому не охота писать кроме как вам. Живы здоровы вы там или как, дядя Леша как, дай Бог ему поднятца за его добро. Я слава Богу хорошо живу, тово и вам желаю. Жалко конечно что так получилось, что уехала я с родных мест, наведатца охота ну видно пока ладно. Здесь темно у нас, места угрюмые маленько сплошь леса темные я уж вам писала, а так ничего и жить можно. Николай у меня дюже приветливый за таким не пропадешь, свекровка...»

– Ишь ты, хвалится... – встряла Егоровна. – Да не, я ничо не говорю; он у ней правда такой... ухватистый да веселай, глаза такие ясные. Таким бы и можно похвалитца, а... Не-е, грех. Она и сама, чай, знает, что грех. Ну-ну, дальше.

«...свекровка тоже старуха тихая сноровистая. Сестрице я писала как и что, пусть она не забывает и шлет что я велела, особо катанки пусть накажет чтоб сваяли побыстрей, зима на носу а здесь хороших вальщиков считай и нет. Василий сынок пишет из армии, у него все хорошо и с начальством сдружитца успел. Заслужу пишет отпуск и к тебе приеду, навещу как ты там. Он конечно обижаецца за отца, привык дюже к нему но молчит, а я все равно чую, сердце материнское все чует его не обманешь веть. Болею я за него и за Тимошку тоже как у нас все получилось. Ну пусть, он человек тяжелый на раздумья вот пусть и подумает, что меня виноватить одну сам не остерегся набедил, всю нашу жизнь сломал вот пусть и думает. Я тоже чей живой человек, мне рази сладко было, я ль не старалась для него для дому, все

ночки прокричала он этого не видал. Я может виновата, а он тоже куда глядел когда творил, а теперь вот вы пишете, что пить взялся безбожно, рази хорошо это. Жалко его, рази не жалко жизнь нашу что расклеилась да что ж поделаешь, мы веть ненарошно веть. А письмо мое это не показывайте, говорить не надо, пусть сам думает что хочет. Развод вот соберусь оформлю, а нет ну и не надо, так проживу. А вы пишете Егоровна и дядя Леша, как вы там и как здоровье как хозяйство. Небось дома сидите, грязь началась, а у нас тут тоже грязь но мене, земля тут бедная, песок один белый чтоб он провалился, но зато дров много, как хорошо ими одними топить. Как бани затопят так дух такой по селу плывет, ажник перехватит как в церкви. Вспомню про всех вас, слезами обольюсь как мы жили, ну ничего видно не поделаешь. Не хворайте, пишете про новости, рада я буду весточку получить. А письмо не давайте. С приветом к вам Ксения, не забывайте уж про меня».

– Да рази забудешь? – сказала старуха, промакивая глаза передником, клонясь. – Не жизнь, а одно только расстройство... А ты ишшо зайти, к Тимошке-то, – жалко их, дураков.

– Зайду. Ну, спасибо, Егоровна, за чай, за ласку. Мы к тебе завтра придем за станком, деньги принесем.

– Да уж приходите, што ему по амбару валяться.

Я достал из портфеля колбасу, отрезал половину. Егоровна было замахала на меня руками:

– Што ишшо придумал – отделять... Сам-то что исть будешь?!

– Найду что. А это вам со стариком, он, чей, поест в охотку. Привет ему от меня передайте, пусть выздоравливает.

– Спаси Бог, сынок, какое теперь здоровье...

Тимофей был дома – видно, только что зашел. И не то чтобы обрадовался мне, а как-то оживел глазами, руку тряхнул. Такой же медленноватый, хмурый был, худой, морщины в уголках рта затвердели, выказывая упрямство, – только, может, глаза чуть поспокойнее стали, суше и внимательней. Ходил, сутулясь под косяком двери, собирал на стол небогатую по-прежнему снедь – «шарабара», как он ее называл. По дороге снял со спинки стула старенькую женскую кофточку, бросил за занавеску, где раньше был топчан, – там стояла сейчас немудреная кровать, лопушилась блеклыми цветами наволочка подушки. Говорили о том, о сем, о всяком постороннем, торопиться было некуда. Наконец он собрал обедать, принес стаканы и сел. Подкрадывались сумерки, в окна моросил ледяной осенний дождь с крупной пополам, во дворе скрипела на ветру не закрытая мною как следует калитка. Надо было б сходить, прикрыть ее поплотнее, на щеколду, но не хотелось покидать сухое тепло недавно протопленного дома.

– Ну, как ты тут? – спросил я наконец Иванова.

– Я-то? А что я... – сказал он, глянул неопределенно. – Живу.

1978





КОЛОКОЛЬЦЫ



I

Чередная весна застала всех такими же, казалось, какими были все в прошлую, – застала всякого при своем. Одни, может, деревья только на вершок подросли за минувший год; но разброд, но рассеянная тоска ее, себя не понимающая, развлеченная новостями жизни отовсюду, никого опять не обошла, хоть краешком, а задела, поселковую старуху Машку тоже. Молоденькой когда-то изнасилованная и с тех пор не совсем в своем уме, любила она бродить окрестностью по любой погоде, как-то всякий раз неожиданно встречаясь, в самых неожиданных местах; брела и теперь, подолом юбки цепляя густую весеннюю грязь и обшарпанный, полустоптаный вдоль палисадников кленовый подгон. Кто-то по случаю Пасхи успел с утра поднести ей стаканчик красненького; и вот брела она, иногда останавливалась внезапно, за-

стигнутая какой-то, может быть, мыслью, и так долгую стояла минутой, другую, на что-то никому вокруг не ведомое решаясь. И трогалась, наконец, и сворачивала с тропки на только что из-под снега вышедшую грязную, еще не опомнившуюся мураву – обходя что-то возникшее перед ней и оглядываясь, как обходят нехорошее. Обходила, опять выбиралась на протоптанное и, освобождаясь, заводила низким, хриплым, полоумной откровенностью надсаженным голосом:

Виноват-та ли я, что мой голос дрожал,
Когда пела я песню любви...

Толстая, телом по-волчьи малоподвижная, нелепая, безумная – поет...

Ею выведенный на воздух, к садовой скамейке под облезлыми наличниками больной брат, давний тоже старик, с которым теперь она проживала после смерти жены его и младших двух сестер, слушал ее дребезжащий где-то уже за соседскими дворами голос и равнодушно думал: и тебя переживет. Как-то выжила вот она: ведь не скажешь, что сумела, где уж... так, при сестрах перебилась, с лебеды на жмых, да и времена для дураков были не в пример легче. Пережила, тягуче думал старик, глядя, как стремительно бежит по улице, по всему ее обустрою домодельному перемежаемый облачными холодными тенями свет, под ноги глаза переводил, на листопадную мертвую прель, на их полубродячего старого, с вечно поджатым задом песика, испорченного ему не нужной свободой: глядишь, лучше многих иных прожила.

А неприглядное, когда б не солнце иногда, апрельское межвременье, голое и ветренное, уступало понемногу дням потеплее, скоротечным в хлопотах неделям,

горьковатому, словно с осени оттаявшему садовому дымку, гари весенней по утрам, блаженству затишков, уже вон и трава полезла из сырой и холодной, тяжелой еще земли, – в себя отступало межвременье, в таившееся где-то внутри всего сущего изжитое. В глубоком после затяжного ненастья, пронзительно синем промеж облаков небе шумели вразброд и тихо светлые, соками отяжеленные тополя над недалним отсюда кладбищем, над его крестами, притонувшими в старой траве, пошатнувшимися; неровный ветер набухшие ветви качал, расцеплял и снова сцеплял, путал, и в них топырили неловкие крылья, чтоб не упасть, и каркали сипло, сладострастно вороны – в хриплом крике соития исходя, новых плода... Отстраивалось все, очищалось, лишь на западном небосклоне висело всегда низкое, дымное, ничем с горизонта не устранимое серое облако недвижимое – там город был.

Старик стоял, худыми выболевшими руками уцепившись, как за отымаемое, за темные пропревшие штакетины, сгорбясь и как-то осторожно, неестественно расставив ноги, смотрел, и его голубоватой водицы глаза немного растеряны и беспомощны, младенчески беспомысленны были – столько грубого перевидавшие, теперь детские совсем глаза. Тень сверху набежала, холодом накрыв, молодой ветер взнял и растревожил поселковые сады, зашумел веселей, рьяней; темней и заметней оттого стали взбухшие, а то и лопнувшие уже почки, тревожней даль – но тут же и солнце озарило, пригрело собою все, примирило. Брякнул калиткой сосед, суетливый малость, голосистый мужик из послевоенных, заторопился мимо на дорогу – нынче все торопятся, даром что Пасха; на ходу оглянулся, задел взглядом, весело крикнул:

– Тяжко, дед?!

И старик, боясь с ответом запоздать, закивал с благодарной поспешностью, затряс головой:

– Тяжко, это... как не жил.

И долго и с бессмысленной радостью смотрел вслед ему, как тот увалисто и споро одолевает промоины улицы, ее размешанную тракторами грязь, дорожную глину, – туда торопился сосед, где сразу же за кладбищем светлым прогалом открывалось, жаворонками ликовало первовесеннее, ни колесом еще, ни ногою не опробованное и старику всю жизнь чужое поле.

Ему тяжело было и тревожно как никогда; и с забытой на лице угодливостью глядя вослед соседу, которого он никогда-то не любил, а теперь ненавидел старческой бесильной ненавистью, он едва не заплакал, отчего – сам не знал. Не весна только, как ни тяжка бывает она порой старикам, и зависть к молодым этим, в литой хлябающей резине сапогов, ногам, которым все пока нипочем, – нет, не только. Обидно было, вот что; но что она значила, эта обида, и откуда она была, он понять уже не мог.

Он ненавидел соседа с этим его чистым, глубокого тенора голосом, каким бы петь, а тот матершинник первый в поселке – и не за матери, конечно, и голос этот залиvisto-гневный, как у хорошей гончей, слушать который хочется, так он беззlobен и от чистого сердца, так легкосердечен, что другой усмехнется лишь, заслышав. Не за то лишь, что года полтора ли, два назад тот взялся с женой своей, непрошенные, помогать им, больному да убогой... что дровишки, мать-перемать, станция дала, перевезем, а пилить их кто будет, вагонные эти стойки, – собес? Дядя сраный из Сызрани? Они, заботники хреновы, подумали?! «А ты сюда не ходи, – ответил он

ему тогда со спокойной злобой. – У тебя что, дел своих мало? Так что, это, давай... по холодку». Сосед изумленно глянул, сморгнул мальчишескими круглыми, еще ничему-то не внимающими глазами и только крякнул: «Н-ну, дед...» И дней через пяток, колготной, зачатый стосковавшимся солдатским семенем, как ни в чем не бывало пластал своей мотопилой на заднем дворе уже сваленные стойки эти и бросовый всякий горбыль, жена его и Машка сносили; и чокался на кухне с ним своей, с собою же принесенной самогонкой – с устатку, про плен расспрашивал. А он было погордился даже про себя ответом тем своим – как на ученье! – но подвалила осень, с нею ранняя, как назло, зима и почти обезножила, серой мохнатой изморозью затянула, снегом залепила окна, заперла. Но нужда подступила горькая и бессильная, какую он еще не знал... Детей раскидало, далеки были и по-отцовски сухи сердцем, а младшая хоть в городе жила, рядом, но при муже-пьянчужке ей самой до себя было, – остались только соседи, они одни. И, значит, оставалось дотерпеть, дожить. Дотерпеть, сестру по-людски тем же соседям оставить, чтоб не кололи глаза потом братом, не поминали почему зря: как ни равнодушен к ней был всегда, брезглив, а жалко. К этому все свелось теперь, к нужде, а нужду терпи да приговаривай: спасибочки, люди добрые... Век не умел, не привык – да и за что, спросить? – а вот теперь учись. Рот корежит, а благодари.

Свелось теперь все к непосильному избытку времени, к пустоте, ничем из окружавшего не восполнимой и потому вроде как понуждавшей что-то делать если не с ним, временем, то с самим собою, – но что? К ночным, почти мучительным ожиданиям дня, дней пустых, серо

заглядывающих в давно не мытые окна, не выставялись лет уж, наверное, пять – нет, с лишним три года, как умерла жена, замазка уж в камень, растрескалась и повыпала наполовину, только что ветер не свистит... еще та, в которую он по неразумию подмешал крысиду от синиц, только потом дошло, что зря яд переводил, подыхали-то уже наклевавшись. Такое бывало с ним, недолюбливал думать и знал за собой это.

К дням свелось на продавленном диване среди покосившегося обихода, ветхого молчания дома: к замедленному, тяжелому ходу столбчатых часов, купленных в шестьдесят третьем с рук по случаю премии, обреченно медлящему, иногда казалось – останавливающемуся почти, через силу одолевающему вязкую дрему минут, тенега получасий, судным то и дело боем извещавшему о смутном впереди конце всего, имевшего несчастье быть когда-то начатым. К уставшему от стариковских немочей, от запахов лекарств и машинной постной тюри померкшему воздуху их жилья, к машинным диковатым, где брала только, песням – когда не бубнила, разобиженная на все, или не молчала тяжелым тупым, но бездонным каким-то молчанием скорбных. Сошлась жизнь на ожиданиях того, чего ждать не имело смысла, ибо само придет и повторится много потом раз, будь то время тюри, лекарств или рассеянного меж своих дел участия забегавшей проведать соседки, – или теперь вот этих выходов ко двору, к подоконной скамье, на мертвую, осенними еще дождями и заморозками сваленную в кошму траву под бесчувственными ногами, на острый холодный воздух обещанной ему когда-то, чудилось, но так обещаньем и оставшейся воли... оставшейся где-то, зависшей на-

подобие того облака над городом, вроде видишь, а подойди ближе – где оно?

И так тащилось, как, скажи, протаскивалось оно кем-то через него, это ему теперь ненужное, как свобода собаке, время, мутно застаивалось в ночах, что-то все копя в себе равнодушно, – может, отымаемое у людей копя; и старик даже думал иногда, в некие минуты смиренья, что бывает куда как хуже, не в доме ж престарелых, не в государственном заперт призранье, о каком страхе впереди старости бежит... нет, не оставил Бог – хотя с Богом-то как раз он не был в ладах никогда, всегда враждовали; и вот на ничью сошла, насмарку вся вражда. Насмарку, потому что (пришла однажды ему и такая мысль – и, знал он, непростая) жизнь сама себе бог, и с какой ты стороны ни яришь, ни воюй, а все против нее. И как понял, что непростая, так постарался тут же забыть и не вспоминать, от греха подальше.

Песик поднялся, с чего-то понюхал его ноги, подумал и побрел к отмокревшему углу завалинки – свое дело сделать, ему завещанное, метку оставить. Всех при своем застало межвременье, бесповоротно сбывшемся, и если кто и переменялся за такой вроде недолгий, нехотя переваливающий через кануны свои и сроки год, то это был, к позору своему, он, старик. К позору, к бабьим пересудам наглым, уже и при нем самом: дескать, старость – она как вода, любой сухарь размочит... забыли? Забыли, суки, как одного взгляда боялись, угождали, чтоб на сорок первый не попасть разъезд; и вот не мог никак, будто не умел никогда, вытереть слезку эту позора, одну-единственную, – не вытиралась... да он плакал ли когда? В последний-то раз?

Что-то обопнулось в нем об этот вопрос, или глаза

это спотыкнулись на чем знакомом – но вопрос этот, вроде совсем ненужный, бездельный совершенно вопрос – когда? – стал вдруг перед ним; и со старчески поспешной, привычной уже угодливостью он покорился и ему – это когда?

Глина, да. Весна, такая ж мразь, да, транспорта никакого, а дорога из города отсыпана была тою же глиной материковой, красной, вот как посередь улицы сейчас, – в сорок девятом? Той же, чуть разве с гравием, трактора – и те в ней садились... они что, нарочно, что ль, эти дорожники? Вот кто враги, настоящие-то. Шел домой, раза два пытался свернуть сигарку, закурить – так и не получилось, все пальцы на руках, как дверью прищемляли, выпрашивали, совсем распухли и посинели, как чужие стали пальцы. Тогда. Черт дернул расстегнуться, когда документы доставал; и вот возвращался незастегнутым, полы телогрейки запахнув, на животе придерживая, – тогда... Вызывали потом еще, все с тем же; во второй, что ли, раз он свой орден принес, Славы третьей степени, две медали – показать, неужель не поймут? Следовательно, едва глянув, смахнул их в ящик стола, встал, вроде как с улыбкой подошел; и ударил под дых, и сказал над ним, согнувшимся: хенде хох, мол, делал? Ну, и нечего... И опять: когда, с кем, явки ему, фамилии дай – не наигрался, сопляк... А он уж на станцию тогда устроился, работу спрашивали, не то что теперь, – а как такими руками работать? После третьего жена собрала ребятишек, пошла туда, к начальству, кричала, грозилась со всеми под поезд – отстали. А орден с концами. А глину как валили на дорогу, так и валят.

А этот живет, как ничего не было, на халяву, день прошел – и ладно. Помогать он взялся... гад! У самого

толком двор не загорожен, палки какие-то, все с округи бродячие собаки через поместье бегают – нет, взялся он. Свет взялся переделать, сопля... прорву заткнуть. Вот-вот, такой же сопляк, все им игрушки. А жизнь – не игрушка.

Прорву? Ну да, прорву. И хотя сам как-то не понял, что бы она значила, эта прорва, он опять сразу согласился, даже головой себе потряс: прорву, да. Согласиться было проще, чем вспомнить, он так и делал теперь: кто, говоришь? Какой Козолупин? А-а... ну да, ну да...

II

Дня теперь не было, чтобы он не выходил ко двору. Это когда-то, с путевого прихода хозяйства и помыв набитые шпалами ноги, глаз на люди не показывал без дела, хватало с него на работе; газет ли, книг не любил – врут все, задремывал на диване, слушая успокоительные звуки жениной возни на кухне, мало о чем думая, и были это лучшие, может, минуты его жизни. Но едва ль не на другой день после выноса гроба ее не вылежал и с тех пор больше в своем дворовом огороде отсиживался, на чурбачке: курил, на машинки три грядки, как-то по-детски несуразно сделанные и соседскими беспризорными курами все как есть разрытые, глядел и на бурьяны кругом обнаглевшие, стеснившие даже и тропку, под застреху дровяного сарая вымахавшие, – часами сидел, как на вахте, последней работенке своей, и как-то мысли даже не было ко всему этому руки приложить, не привык. Или пойти куда – ну хоть на речушку, окушков на уху потаскать ради забавы, ведь годами не бывал ни там, ни в леске за нею, где лог с родничком... Нет, не тянуло, все эти зимы-весны как-то мимо шли, сами собой, хотя

кого не тронет радостный и в самую малую долю чуть тревожный чем-то запах оттаявшего мазута среди промасленных путей и ржавым суриком крашенных станционных строений, кого не позовет присесть и закурить весенний затишек...

И не сказать, чтоб по людям заскучал, – нет, уж никак не скажешь; не в них было дело – что люди?.. Скотина безрогая, одно слово. В чем-то другом было, что не умещалось никак во дворике, сам он будто перестал вмещаться в нем, какие-то мысли появляться стали, несуразные, как машинки грядки, и одна из них не то что мысль, а боязнь вроде: все казалось, что не спохватятся, не спросят – а где дед-то? Что ни говори, а боязно. Пусть бы за весь день и не прошел никто по ней, по улице, не глянул, лишь бы сам он сидел вот тут, в наличности – и не во дворе где-то, а здесь, на скамье под окном, на подстеленной старой, мочой отдающей телогрейке, другого чего и не надо было. Другое даже мешало, отодвигало или вовсе заслоняло это, он чувствовал, главное – хоть те же как-то подсевшие, дождавшиеся из дома напротив, от Махоткиных, свадьбы станционные бабы, вперебой судачившие о том, о чем еще зимой, казалось, всласть пересудачили: на восьмом либо месяце невеста – не покро-оешь... Свадьба вывалилась, колченогая, выломилась, ничуть от восьмого или какого там месяца не скучней и не веселей, на пол-улицы растащилась, разголосилась, и он себя не то что ненужным здесь увидел, а так... А как бы вовсе его тут нету. Оглянутся и не увидят – с людьми так. Хоть с кем, с парнишкой вот соседским теперь, принесшим в кульке газетном ватрушки, что ли, что-то печеное, – такой же круглоглазый и, видать, настырный, собаку сразу

стал, поганец, тормошить. Кулек сунул, а сам к собаке, далась ему собака... Да все-то у него крикливые, неспокойные: развел, дурак, детей – пять ли, шесть, сразу не перечтешь... кому, нищете? Только лыбится: чего ж мне, назад их загонять?.. Сглупа, все сглупа и абы как, ни строю ни в чем, ни порядку, запасу на день нету, одна картошка, о деньгах что говорить: у них с пенсии пятерки сшибают – до зарплаты!..

А мы не гляди что в годах, мы наперед думали. Как самим, как детям. Наши дети в глаза глядеть боялись, вот так, чуть что – на цирлах, к ноге. И порядок в доме был, и в деньгах счет с копейки начинали, а лучший кусок если – ему, кормильцу. Разговор короткий был, зато и выросли – не достать, оба начальники, в обиду себя не дадут. А эти...

Его аж болезнь какая-то брала, в ногах обессиливало, когда он думать о них начинал – о нем, соседе. А тот сам рассказывал, за язык никто не тянул – под осень еще, со смехом: удумали же, стервецы! Своего ж гуся, мол, стащили и на берегу пирушку для всех... где, скажи, казан нашли?! И отговаривался, будто сам с ребятней гуся этого драл, своим высоким, бабьим почти голосом уговаривал старика: да мать-его! Их вон полдвора. А комбикорму я хватнул за трудоночь, нарастим. Не война, не последнее. Да и это... не чужого ж гуся – свово.

«Свово»... Расхлебай! Развел, расшеперился ими... прорву ими заткнуть. А не заткнешь, такими-то. Хоть ты за всех там раздобришь, хоть пачками роди, охломонь-то. У нас по-другому было. Вон когда старшой его с этой спутался, как ее... с молодойкой, рот не обсох, а уперся, – смертным боем его бил, до двух раз, жена к воротам выбегала, мужиков звала, чтоб отняли. А эти

что хотят, то творят – да дружные, сволота, не знаешь, чего ждать... у меня потворили бы. Не-ет, жизнь расхлебайством не возьмешь.

И в очередной раз почти уверясь в этом – хотя, спросить, чем возьмешь-то? – и в себе укрепясь, он опять с бессмысленным этим, с каких-то пор застрявшим на лице его заискиванием поглядывал и на избу соседа, большую, но как-то недоустроенную, из разнолесья наспех собранную, с порепанными ставнями и некрашенным щелястым фронтоном, и на расползшуюся, полугрунтовую уже кучу гравия под ее окнами, муравой по краям поросшую... а во дворе грязь месят, все никак не вымесят – ну, пусть. Сидели с песиком, ждали чего и не ждали, слушали воробьиною дребедень, на день ото дня густевшую глину дороги глядели, на клены за нею, выкинувшие розовые махры, и на облако то над городом дальнее, серое, одно лишь среди всего не затронутое весной. Песик, отроду безымянный, даже на проезжающие изредка телеги не лаял, разве когда от делать нечего трусил боком на дорогу, нюхал след и, разочарованный, возвращался, ковылял под ноги опять, не отпуская поджатога зада... нет, все при своем осталось на земле.

Козолупина он вспомнил, как не вспомнить, – хотя с памятью после январского полупаралича твориться стало совсем что-то непонятное, сам уж замечал. Мало того, что вчерашнее забываешь, но и то, что всегда хорошо помнил, как-то путаться начало друг с дружкой, Бог знает во что иной раз, неудобосказуемое... Вот и с Козолупиным: мужик был как мужик, председателем коммуны, потом колхоза... тюха с матюхой да Колупай с братом, а не коммуна была, но в святцы властью записан, поминают, и он поминает

тоже: не Козолупин – что бы с ним, мальцом, стало? Хороший был мужик, зря его убили. Но зачем, скажи вот, лицо у них с немцем одно и то ж – с тем, какой не выдал: подошел только, овчарку отодрал и кованым, с коротким голенищем сапогом наступил, давил так на грудь, аж в глазах почернело. А то б подвесили и в печь, побег – дело такое. Того охранника он запомнил, дня не было, чтоб не видел потом, как маршировали на работу, по указке выучили все до одного и пели: приезжай, отец родной, приезжай, товарищ Сталин, посмотри, как мы живем... Брюхи от турнепса, как у баб, так и маршировали. А какой был лагерь, он и тогда не знал. Он в трех был и ни одного названия не знал. Большой, с трубами тоже... да кто тебе скажет, в каком ты? Это теперь чуть не хвалятся: Освенцим там, пятое-десятое... Дураки.

Но вот в ум не приходило столько лет, что на одно лицо они. Ведь как помнит обоих, по сей день как на карточках, за отца был, считай, Козолупин – а не различишь... Это при нем была Машка в посылных, ночь-полночь, а ты беги; а ссильничал приезжий тот, уполномоченный, говорун в очечках – это уж убили Козолупина или нет? Не помнит. А Машка так и осталась, как рехнулась тогда. Сразу в город увезли, чтоб прикрыть, с месяц ли, два держали в больнице, даже сестрицам не показывали... собак, сказали, испугалась раскулаченных, их по ту пору правда много развелось, бегало. Так и боялась очкастых, как увидит – прямо дрожит вся, бежать кидается, и смех и грех. И когда в очечках этого перевели из области в райком к ним секретарить (в белых бурках был, точно!) и тот все поставки тут завалил, обезлюженный через двор район не тянул даже по

фуражу, взяли за хиршу умника – вот когда черед пришел! Разбираться прислали, и он одного военного чуть не весь вечер на улице прождал, промерз на кочан – но дождался, добавил про Машку. Достал, наконец, добавил, хотя сопляком еще был; а к сестре с того времени, не зная отчего, почужал, как что отрезало, брезгливость осталась одна... и век бы с гадским тем племенем не видаться, под карандаш не говорить – а как?

Это старик помнил, можно сказать, хорошо, бурки особенно; и как ему, в райком комсомола пристроенному из коммуны сироте, наган дали, дураку, – по тяжести в руке и потому еще, что подумал: исправен ли, уж больно пообтерлось вороненье, облысело... поля сторожить? Но нет, совсем не то, кой черт – поля?! На полях – с засадками, на лошадях, главное – увидеть, догнал и голыми руками бери, бабешки больше, а мужики если, то доходяги, да и в одиночку все. А тут другое.

Тут встало в глазах, хоть разглядывай: чужой совсем райком, церковные скамьи, накурено, а на столе с дерматином продранном те самые наганы, и Клейменов, грубоносый, даже и усы это не скрадывают, в тяжелом пальто до пят, по старшинству первым получает, подтирает слезу: «Узнаю революцию!..» Следом мордатый какой-то, молодой, все тогда молодыми были... да, было. Но и обманом не переставало быть, он знал, – и памяти, и времени самого... революции все эти их, резолюции, выработка с подтирушками, сам он на подхвате, от Клеймихеля не отходил, собакой глядел – что, не так? Так. Торфоразработки, да.

Но это уж куда поздней; а сама его жизнь началась давно и тянулась так долго, будто прожил ее не одну. Так разнилась сама в себе, что и сам он, кажется, не вот

привыкал считать ее, очередную, своей – но все это своя была, своя и одна.

Где-то она там начиналась, иссохшим днем двадцать первого, а может двадцать второго года, лет пяти отроду, в чужом доме на хуторе-однодворке – в солончаковой белесости окоемной, в еле видимых миражах, бесплодных облаках над нею, в пыли земли. Как несли его, мать на сельских могилах прикопав, тетка с дядей на закорках по очереди – чтоб отца у них подождал, ушедшего на заработки, может, за хлебом. И к вечеру того или какого иного дня сильно потемнело, он помнит, облака сбились, скучились в злобную грозу – рвало кусты, небо раздирало, разваливало, и первая памятная в жизни его влага, вода небесная, плясала во дворе, пыль вздымая, выколачивая из земли ее, накопившуюся, – и так и не выбила, прекратилась, сухого не пересилила гнета воздуха, судьбы.

Не вернулся отец, пропал в вереницах молчаливых, невиданным разором и сухью разрозненных людей, бредущих недалгим большаком; оставил жить, не спрашивая, как ты тут будешь, с кем, не сказав, для чего вообще... И он до сих пор толком не знает этого, если уж на то пошло, не то что там сыновьям – себе не уяснив, кто он и зачем тут, на какой такой, спросить, предмет. Это на завалинке ты с другими такими ж бобы разводи, с дураками старыми; а себе ничего не ясно. Ни начал, считай, ни конца... ну, концов человеческих нагляделся, знает. Так, просветы какие-то случайные оттуда, бездельные совсем. Как сеяли, верней – как украдкой сунула тетка полгорстки зерна ему, на меже сидевшему под обессиливающим теплым солнышком, и какая зеленая была и пресная трава. Еще почему-то старые сани под

овином помнились – может, лежал он в них часто или даже играл?..

Дядю не зря Оберушником прозвали, и хоть партийный вроде был, а кулачить чуть не первого взялись. Все подобрали завистные глаза, даже самовар; и обошлось бы, может, без выселения, если б не тетка. Себя не помня от горя, схватила с подставки в углу – вместо божницы – вождя без плечей, его-то оставили, и со словами: а ты какую манду глядишь... пош-шел тады со своими! – выкинула вслед уходящим, уносящим нажитое их. Этот самый бюст и не простили. Опомнились (как тетка Паша уж после войны говорила, вернувшись одна) за Сыктывкарком, так до конца и не научилась выговаривать. Оберушник тогда ее чуть не убил; а сироту власть в последний момент прижалела, приписала к уездной коммуне, а то бы сгинул где-нибудь там, мерло много. Козолупин озаботился, это с ним бывало... как же он Козолупина забыл?

Он и об этом вожде-то лишь от тетки узнал, уж после; но отчего так помнит страх свой перед ним, в переднем углу коммуны стоявшим тоже, в бывшем купеческом подворье, где теперь склады? Лысый, безглазый, а верней – с выковырнутыми почему-то и оттого жутковатыми зрачками, никуда не глядящими, ничего кругом не видящими, кроме чего-то упорного своего, мертвячего... Потом как-то привык, как обвыкаются с покойником в доме, глядел на него смелее... в побелке, что ль? И раз, когда никого не было, дотянулся, с боязнью, а колупнул маленько сбоку – краска, там отбито было, а под ней что-то темное... Темной сама жизнь была, он уж и тогда о том догадывался, кажется, и боялся ее не зря, она испугает. Ту первую зиму с Оберушником тогда прожили с потайным хлебным запасом; по ночам несколько раз

приходили какие-то люди и пытались искать, дверь хотели выломать, схватить их и мучить, но Оберушник стрелял через нее, перестали. А раз утром, рассказывала еще тетка Паша, нашли под овином человека с железным самодельным щупом в сведенных руках, тетка узнала в нем сельского, всей округе известного учителя и успела лишь горячим напоить, как умер. Даже не вздрогнул, не вытянулся, рассказывала, умер – и все, так заоченел, а человек был хороший, попа так не уважали, как его.

Дядя на руку не стеснялся, перепадало и в коммуне, но уж не так: диковатого хуторского парнишку вроде как опасались почему-то, это он скоро уяснил и угрюмости потому с себя не сымал, так оно и пошло. Молодой был организм, в еде требовательный – вот беда. А поди заработай. Мотался от складов каких-то к подводам, бегал под молчаливыми глазами людей, под матюки поощрительные старшего, по клуням всяким с обысками, куда ни пошлют. Паек и спас. А командовать-то не умел: или молчал, или матерился, середки не получалось, поддакнуть толком – и то не мог; и уж зачислили, завидную обещаю долю, на курсы трактористов, когда по оргнабору разрядка пришла, – да, на торфоразработки.

И по железу, напрямки прострелившему хмурые под-облачные пространства, неприбранность мировую, старье, через гудящие огромными переселеньями вокзалы, проверки, сквозь ночи осенние, холодные в сортирных запахах вагонов, с кочующей за окном низкой невнятной звездой твоей судьбы – вглубь все далее, в плоть рыхлую страны, какую вроде б не знал в степном своем разброде стоячем и вот узнавал навсегда, такая она разная была и везде знакомая, опять голодная. И люди везде, люди – толпами, копошащейся средь привокзальных строений

массою, то ли за отдаленностью времен молчаливой, то ли по другой какой причине... по другой, не покричишь, одним паровозам можно. Редко выдернется когда крик, плач детский, на какой привыкли уж не оглядываться, сминать привыкли, всю молчаливой массой навалившись, стаптывать, перестал что-либо значить крик. Нету крика, темно; мотает опять вагон, лязгает и скрежещет многотерпеливое русское железо, из последних сил грохочет отчаянно над пустотами пути, над пропастями неведомыми, гибельными – в тебе грохочет на пределе, вот-вот оборвется сердце, не вынесет... Выносит; качает и дергает теплушку, несет, укачивает, деревянным скрипом смаривает – и что-то по лицу... Хватнул – повод от недоуздка, голова лошадиная над загородкой, забыли уздечку снять, когда на станции выводили; а в углу дальнем, где трофей сложен в мешках и командирском ящике, огонек коптилки вытягивает сквозняком, все спят, Николай Баринов сидит один, с сапогом опять возится... победили. Когда победили, кого – непонятно, но Николай – вот он, лицо серое от контузии, впалое, успело напоследок зацепить, но одет как надо, не отвык... он, браток. Финская?

Гудит не по горизонту уже, как в Оскомяках, – рядом... Оскомяки? Порой залетают, всех пугая, снаряды, калечат немилосердно лесок, разворачивают до камня глубокие снега, то мерзлый подзол взметывая, то болотную с ошметками мха жижу; а мимо них все идут танки, «бэтэшки», на ходу перестраиваясь, расползаясь в кривую на предполье нервную линию. И вскоре там, куда они без всякой артподготовки уходят, зверем выползает и все накрывает резкий, удесятеренный морозом грохот, пугающий землю сплошной нечеловеческий гул, от

которого сыплется и сыплется тут, пластами срывается на них с невысоких сосен снег. И следом посылают их, они идут раскатанным полем в старых, припорошенных, и совсем свежих воронках: кричат командиры, поталкивает в ноги земля, и все ближе сумрачная та стена дыма и пыли подымается им навстречу, за первой же еловой зазубриной, подпираемая вразной черными столбами нефтяного, резинового ли чада.

Горят танки. И, сколько там видно в дыму, лежат люди, воронка на воронке, а меж них – люди; а немногие, кто на ногах, хоронятся за подбитыми машинами, пережидая редкие уже разрывы, отбегают. Один совсем близкий танк, слепо рыская кормой, пятится по чему ни попало на них, идущих навстречу, заваливаясь на выбросах грунта, дергаясь, – и он не может, не умеет еще отвести глаза от гусениц его в крови и кале... И дым, и пыль торфяная, морозная, скрипящая на зубах, их укрывшая от солнца, от всего... какой Баринов? Не было там никакого Баринова. Да он кого там, спросить, знал? Баб они там узнали, снайперов – финских, у высоты «Офицерский домик» так прижали они – хоть под себя клади, такая ходила шуточка. Зато свои бабенки принимали, не глядели, что лица побитые: без позиций воевали, считай, за день сколько раз мордой в наст ткнешься, а он как наждак там, сволочь. Победили. Одежку Баринов уважал, собирал всякую: все-то колготился, выменивал, шил-перешивал – намерзся, что говорить... вот откуда? Не было его там. Маракует сидит, угнулся, ночь не в ночь ему, как живой. Коптилка смаргивает, едва не гаснет: опять какой-то мост – над провальным чем-то, очередным, враскачку все, вразнос идет, того гляди с рельсов... очумели они там, что ли – гнать так?!

III

Вот он с кем, сосед, два сапога пара – с Колготой, связать бы да в одну воду.

Такой же шепутной, ходкий и на хайло разявист был: где люди двумя словами – он десять... бабы, что-то бабье в них, таких. Позлей, конечно, спиной не оборачивайся. Кличка, что ли, или это фамилия такая – теперь никто не скажет. И наглый, из местных, возчиком при собственной лошади числился, а деревня где-то недалеко. Коноводил у мобилизованных, а как до дела доходить стало – смылся. Смыться хотел.

К нехорошему что-то шло там... тиф пошел, вот что. И они, значит, при Клейменове, вроде уполномоченных. С правом применения кобурного оружия: леса кругом, самая глушь, а контингент еще тот. Ни харча, ни фуражу, с сапогами то же самое – а на добычи, где торф рубили, воды чуть не по пояс. Сапоги тоже требовали. Скучковались, Клейменова за грудки, а подвозу никакого, район местный от себя уж последнее отрывал. Дожили, орал в трубку Клейнмихель, весь напряжившись: у колхозов взять не можете – у своих!..

Зачем это все было, он не знает... торф был нужен стране. Жизнь зачем-то была – и его, и других, кого ни возьми, хоть эта вот, поджатым песиком на молоденькой, из старья толком не выбравшейся травке, на земле, ничего-то не помнящей. Он вот теперь глядит – зачем? Все равно забудется, как сроки пройдут, новых спроси, скажут – не было... А раз не было, к чему все тогда? Вот и думай. И сейчас-то сам себе не хозяин: чего захочешь – не вспомнишь, а что и забыть бы пора уж – а оно нет, из головы не вышибешь никак... а потом? Что захотят, то и скажут потом, дураком назовут – и будешь дурак, на

веки вечные. Вот возьми Козолупина – немец и немец. А какой он немец, ширинку забывал застегнуть. Какой вот герой такой? Лопатами порубали, а перед тем прощения перед миром велели просить. Просил, покаялся. Постой, Клейнмихеля это ж, лопатами. А тот не того... не из тех: свердловец я, говорит.

Неладно было, да. В бега пошли мобилизованные, а Клейменов, как на грех, на все гайки, чтоб и выработка ему. И не сказать чтоб дурак, и умным не назовешь. Рукодельный, все тебе развинтит и свинтит, а как до дела – все на сознательность, на мат. И его учил: не гнись. Когда видят, что гнешься – пиши пропало. Дурак, само собой. Но и время-то. Как раз для таких было время – никакое. Никакого крепезу: говорят одно, а творят все навыворот, что ни делай – все не так, все как-то по-особому надо, а спроси – никто не знает, как. Даже эти, в очках какие, на что уж язык подвешен, да только словами обосрут да еще пригрозят: ты, мол, гляди. А куда глядеть-то?

Не просматривалось время. Вроде – вода, хоть до дна гляди, до той грозы небесной, разметавшей хуторский, младенческий его покой, пылью по дорогам понесшей, катуном; вроде порой до гальки мелкой всякой разглядеть можно на дне – такое, чего и не было-то, казалось, никогда, не могло быть... а было. Дожди эти залили, проклятые, как раз под зиму. А их с десятков, может, всего на такую кодлу да охраны с отделение, а там узкоколейки еще километров семь от станции, где перегружали, до добычи этой – угляди... До крови ноги сбивали по болотам за беглыми, по марухам, овражинам станционным: и вот вернулся как-то с платформой, а ему про Колготу. Доверенный шепнул один: ни его, ни лошади с грабаркой. Нарочно, мол, обошел все – нигде...

Лишь один вел проселок с добычи – на станцию, но был на нем отводок к большаку, верст пять каких-нибудь, не захватишь на нем – все, на тракте не догонишь, их четыре у нее ноги, у лошади. И Клейменова что-то не было, пригрозившего: у кого еще с отряда сбежит – тот заследом может, не простим... Отряды были, это он называл «милитаризировать рабочих»: утро-вечер с кликухой, без приказа никуда не могли.

И дал себе только портянки перемотать, думать спешил: не простит... кого с собой взять? Нет, совсем оголим, да и кто пойдет? Не с их Колгота отряда, сволочь, – с его... Клейменов и назначил его к отряду транспортному: мол, полегче, возчики все на виду... Ах, сволочь!

Разъезженная дорога где болотистым березняком тянулась, в изреженном холодном тумане далеко видная, где прикрывалась ельником, начинала петлять, что ни поворот – застойные колдобины, раздавленный по обочинам подрост; а вот на старую заросшую просеку выбралась – развилка скоро. И вроде след колесный, свежий, на мешанине других копыт и колес, лаптей, немногих четких сапог охраны... свежий, вон еще моросью недавней, утренней не налит – он, больше некому. Вот на отводок свернул, и медлить нельзя никак: ближе к тракту повыше пойдет, сосна, песок, там угонись... И спохватился, дошло: лошадь бы надо, дураку, лошадь – выпрячь у кого и верхом!..

То шел, то бежал, задыхаясь и скользя, хватаясь за податливые маркие стволы березок, уже и неуверенный в себе, как только след определил, – как не он гнался, а за ним, и он бы сам затерялся в лесном этом одичании осеннем, позднем, сам остался, лишь бы харч, и чтоб

шумел над ним, расходясь поверху и все пути шумом высоким перекрывая, качался и скрипел об утраченном редкоствольный, болотом обессиленный лес...

Он нагнал грабарку, когда уж впереди сизел, выступил верхушками сосняк. Колгота не сразу его заметил, оплошал; а оглянувшись и увидев, растерялся, осекся лицом – но тут же выругался злобно, как-то грязно даже для деревенского, успел нахвататься. И соскочил и, согнувшись, нахлестывая лошадь вожжами, тяжело побежал в гору, за телегу держась и озираясь назад. И он побежал тоже, из последних сил, вытаскивая застрявший в рванине кармана наган и что-то крича, что-то приказывающее сорванным тонким голосом, Бог знает что, между ними метров, может, шестьдесят оставалось, не больше. И нажал спусковой крючок, не целясь, руку жестко толкнуло проснувшимся железом, звука он не слышал, казалось, лишь пороховой вонью дохнуло в лицо, в рот, перехватило.

Он закричал опять, но Колгота не останавливался, совсем немного оставалось ему до верху, а там супесь, там лошадь хоть галопом пускай – уйдет... Воздуха уже не было в легких, не было силы никакой в ногах, повимотала дорога, а подъем тот если помог, задержал, то лишь наполовину сократил это между ними сплошное уже, горку подпиравшее болотце... стрелять? На бегу попытался направить скачущую с наганом руку, но за вжимавшим голову Колготой виднелась, вся выкладывалась в упряжи лошаденка его – нет, не в лошадь бы, не спустит начальство, каждая холка на счету, на великом... Он стал забирать развезжавшимися ногами сколько можно вправо, мелкий кустарник хлестал, мешал; остановился, сделал, как милиционер учил, вдох,

не получился вдох, и выстрелил опять – мимо. Метров если сорок было между ними, а то и меньше, но только что не падал он и знал, что в бегу ему не взять уже, не догнать... сука кулацкая, гад! А еще паспорт выправить себе хотел, заработать – по паспорту лошади, кое-кто умудрялся тут делать так, чтоб в город потом, от деревни подальше, – чего разорился тогда, воду мутил, гад?! Кроме Клейнмихеля кто б ему сделал, помог? Всех подвел, сволоочь, на кон поставил – ну, гляди!..

Что-то кричал и Колгота, матерился там, что ли, – и вот с лошадей своей поравнялся и вроде как обогнать хочет, укрыться за ней, нахлестывать не забывая, уже на самом взъеме почти... и он нажал, двинуло отдачей, но он вернул руку и, пьянея от сини пороховой и своей готовности, снова спустил крючок, звук шибанул и распался в вязком подсиненном воздухе – а того, на взгорке, как взашей толкнуло, ног не дав переставить, и свалило. Как шестом сбило – пулей неужто? – лошадь захрапела и шарахнулась вбок, на вожжах волоча его, подворачивая грабарку, опрокидывая... и опрокинула, попятилась в перекошенных оглоблях, стала, всхрапывая. Стала, и он не сразу сдвинулся с места, глаз не сводя, ожидая всего. И нетерпимо, так, что в животе послабло, захотелось уйти; но пересилил себя, пошел.

Колгота еще жил, с хрипом дышал – минут десять ли, пятнадцать; а он, не зная, чем помочь, суетился... Вожжи, на руку им намотанные, перехлестнувшиеся, распутывал, кинулся потом телегу подымать, все оглядываясь, как над уворованным, торопясь, – везти надо скорей, там помогут, должны... Лошадь заворачивая, придушенно крича на нее, кое-как сумел, рывком на колеса поставил, развернулся и подъехал, а он все жил, до

последнего. И уж когда решался, какую-никакую соломку в грязном от того торфа ящике грабарки все перекладывая, разравнивая, повыше надо под голову, вот-вот... не захлебнулся бы, – что-то произошло за спиной. Оглянулся, подшагнул; помедлив, в запрокинутое заглянул, в остановившееся лицо ему – тот уже не дышал.

И вот не знал – почему, но ту свою суету, как руки все оттирал от маркой бересты (как, скажи, беленая она вся там была), никак оттереть не мог, он за позор считал, стыдобу какую. Что сопля был – само собой, но не в том одном состоял позор. Не в том, мало ль кто из нас кем не был; а как будто и всегда он, и сейчас вот тоже, нынешний, суетится все, никак остановиться не может, как был перед жизнью, так и есть – сопляк, вот что в обиду...

В жестокую обиду, понял он. Ну, ежели ты так, то и я, знаешь, тоже... сам по себе тоже, вот так! Мальчика из меня делать. Вы с мое поживите, тогда топырьтесь! А то разлобанились на легкую жизнь... а не будет вам, не ждите. Вам еще покажут, что почем, заведут на помочах, дураков. Заведу-ут, вон что началось...

И струсил, потому что прорва глянула на него.

Серенький был денек, потухший, и с утра еще копилось что-то в нем такое, наслаивалось – облачной низкой пеленой, воздухом глухим, душившим даже свистки маневровых со станции, этим расползшимся по всей окрестности молчанием смутным, безвестьем, какое бывает разве что в голой степи... Она глянула, и он, сам не понимая почему, узнал: моя...

Глядела, приподняв каменные веки, нахохлившимися домишками села пристанционного; затоптанной кучкой гравия у соседского двора и колдобинами дороги, разбитой вконец и так и засохшей; небесным зевом про-

гала в кладбищенских тополях, несменяемым тем облаком, почти сплывшимся на горизонте с наволочью тяжелой – там, над городом. Не чья-нибудь – его, им развороченная в какой-то стене ли, обороне ли, защите земной, не понять; и он даже оглянулся – она ли? Она.

И за скамью ухватился, поплыло. Произошло что-то, но он хотел додумать. Ухватился, как за Клейнмихеля там или Козолупина хватался когда-то, по всякому случаю... что Клейменов? А ничего. Всякие там разбирательства не по нему были – «при попытке»? При попытке. Пальцем не дам тронуть, сказал. И когда у возчиков отымал его, уже полузабитого, над головами палил – не дам! Сам в лазарет успел свезти, на станцию, как началось...

Что там было, как – он, с продавленной грудной клеткой в бараке больничном лежавший пластом, так и не узнал толком. Солдат вызывали; а Клейменова так, да: в сортир спустили и лопатами, штыковыми. В лазарет когда вез его – хорохорился, бодрил: дура, мол, сам не понимаешь, что сделал. Ты человека из себя сделал, товарищ мне теперь – злей смотри!.. А у самого, что ль, простуда, толстый нос в платок сует, трубит, усы потом долго вытирает, приглаживает, усы берег... из рабочих, ну и работал бы себе. Нет, полез.

Нехорошим все было, не тем. Бунтовня эта – одно; а еще полным каким-то внутренним расстройством, разором – как на части его разняли и разбросали далеко, которые сам он теперь, казалось, собрать, снести опять в кучу уже был не в силах. А тут совсем, без пригляду валяясь, запсел, подхватил сыпняк; и вот затыкал спиной, собою всем дыру какую-то всесветную, прореху, откуда непроглядно темным несет, страхом... сам, сам набедил,

и в нем ли самом эта дыра, в спертom ли пространстве барачного бреда, то бубнящего, а то замолкающего враз, будто в чем застигнутого, – не понять. Бред разговаривал сам с собой, бунтовал, усовещал, в неразборчивое переходя или рождая внезапно ясные, невероятно правдивые слова свои, почти мысль; и опять хрипом боли и безумия толкался в низкий темный потолок барака в каплях повисших, ознобно дрожащих, тифозного конденсата, – а он, бессильным упираясь сердцем, им противясь одним, обмирающим, пытается заткнуть прорву эту в себе, иначе конец тогда... чему конец? Он не знает. Всею, и это страшней, чем за себя.

Там мертвячья сгустилась нелюдская злоба, такой не могут знать люди и не должны, и он не знал никогда... не знал же! Он хотел как надо. Как все кругом люди, как велят они всей своей для чего-то собранной неумолимой силой, иначе не простят... где люди? Рядом где-то, но не здесь. Похрапывает кто-то или, может, хрипит; тянет паленой газетой сигарки и вместе сыростью болотной, весь насквозь он пропитался ею, шаркают старухины шаги, нянькины, – совсем рядом люди, а не знают. Не ведают; ложка чья-то деловито доскребывает миску и, облизанная, с кротким звяком в ней успокаивается – а здесь, в нем самом надсадно день и ночь колеса грохочут, колотят по рельсам, то настигая обвально, все заполняя собой, а то в глухой унывный рокот переходя, безнадежный, и паровоз кричит не переставая под темным небом, день ли, ночь – домой зовет... а где он дом? – и никуда от этого не укрыться, не деться, как ни мечись.

Он затыкает, задыхается – а тьма, а злоба сквозь него уже ломит, колесами напруживаемая, и уж вот-вот прорвется, сомнет земные эти звуки, грубые донельзя, ка-

кие-то корявые все, кривые, и самих людей этих, ничего-то над собой не чующих, захлестнет и разметет тоже, погубит души... Захлестывает уже, гасит мерцающий где-то на краю сознания свет, даль обещанную – и ничего уж, кроме страха, нет, его самого нет, а одна тоска только, безвыходность.

IV

Не хотела тоска отпустить, держала где-то в своей мутной, вязкой во времени глубине – тяжелая, по дому, какого не было... катун и есть, не встречаются которого и не провожают, одни бараки, казармы немигающим без ставен оком глядят вослед: много тут вас... не ушел еще?

Еще здесь. Еще договаривает что-то остывающий, распавшийся на части, на просветы тишины многоглагольный бред, проборматывает никому уже не нужное – перемолол все в слабость, безответную, не желающую ни видеть ничего, ни слышать, не трогайте, зачем я вам?.. Перемолола болезнь; но где та радость недолгая, детски беспамятная, когда очнулся среди дня, впервые по-настоящему, и с пронзительной вдруг дальнорискостью увидел в дальнее окошко: зима!.. Уже зима, скоротечные заряды снега время от времени, ветер, круговерть снежинок, изреженные тучи волокнистые и отливающее холодом солнце меж них ныряет, летит, и стремительно меняется на всем свет, чередуясь со мглюю... так летишь на самолете сквозь облака, и порывами то мгла, то свет. Из Познани так летели. И счастье маленькое, только твое, и твои худые руки, до смешного непослушные, ниточку не поймаешь из солдатского одеяла, ловил и тихонько смеялся, а темный, снегом лишь самую малость высветленный потолок так высок был, так просторен...

Нету радости, и очнулся ли, когда глядит, к самому лицу его приблизившись, бессмысленными глазами прорва на него, и от запаха немилосердного изо рта ее в тошноту тянет, закрыть глаза скорей, – она... Зачем она глядит, что ей надо от него? Он не сам, он разве знал, и зачем она глядит так?

– А-га, проглянул!..

Глаза сморгнули, Машкино лицо отодвинулось, и за ней, где-то далеко, он увидел соседа.

– Е-мое, а мы думали – все... Кранты, думаю. Старикан, а еле допер. – Слова тоже доносились как-то издалека и не то чтоб непонятны были – невнятные. – Накопил костей. Не, дед, правильно – живи!..

Слова ничего не значили, кроме одного: его ненависти к соседу. Не значило ничего, что это сестра тупо смотрит на него, слюнку втянула... и при чем тут Машка, когда глядит отовсюду несмежаемым оком тьма. Запредельная глядит, им не внятная, а предел – он вот он, рядом, а они слышать о нем ничего не хотят, разлобанились, жизнь им подавай, с тяжелым чтоб задом. По-ихнему чтоб. Дураки.

Он вроде б не думал, словами он не мог, не хотел думать. Они были тяжелы, прямо-таки неподъемны и как-то перестали нести смысл, им даденный кем-то. Просто смотрел, а потом закрыл глаза. Тьма подступала, но в ее беспросветности почему-то виделся яркий знойный день со стоячей пеленой пыли и дыма вполнеба, из-под пилотки течет, ест натертую скаткой шею, глаза слепит водяной перекаточной броней какой-то большой реки, а внизу, у самой воды, сидит рядом с кулижкой камыша младший сын, по пояс растелешенный, уже заметно добреющий телом, и рыбачит – издалека видно, что

сын, Борис батькович... Открытый на две версты подход к реке весь забит, завален трупами наступавших и раздутыми тушами быков, боеприпасы подвонивших и плавсредства, негде ступить и дышать нечем – к воде бы, до Дону! Ему что, рыбачит, на отпуск как-то зазвал к себе, раздобрился; а у них в одном из трех ящиков патронных, последних, с маркировкой честь по чести – подковочные гвозди, стрелять сучье надо, вредителей!

– Может, мать-перемать, это... на кровать его?

Это здесь, говорят – сами не знают чего... Пусть. А им бы до воды, пока самолетов нету, на ту бы сторону... какая сука, узнать бы?! Шли с братками, думали: какая сука? Узнай поди. Людей узнай. Не на шутку бастовать решили, коменданта вызвали. Ну, сам дурак, вылез: работаем, мол, как лошади, а еда – одна вода. Ваттер, мол... О-о, ваттер?! И по строю, миску сует: ваттер?! шлехт? Никак нет, гут. Одного, другого, третьего, десятого – у всех «гут». Хорошо бы, казаченьки, в гости Сталина позвать... Вспомнил ту баланду, воды – и той в карцере не давали. И почему окошки так высоко везде... моду взяли, гадье! Что в областной, что там. В Швейцарии той же. По Рейну этому, в опорках на босу ногу, а лед хреновый. Как дошли, сами не знают. В струпьях весь Николай, зверем пахнет, хозяйская овчарка за человека не признавала, как увидит Баринова – шерсть подымает. А тюряга частная, хозяин-пузан, окошки эти высокие и в матрацах пробка кусочками... не гляди, что Швейцария, не разоспишься. Сапожничали, отъелись, а вот была Италия, не была – ничего не осталось, не помнит, убей Бог. Лишь как голодом сидели в трюме, и замедленно, гулко била волна в борт, как хорошей кувалдой, и валяло с боку на бок с размахом, так себе пароходик был.

Еле вылезли в Александрии. А в миссии сразу к этим в зубы, к дознавателям; но там по-людски обошлись, считай, не больно дознавались. Нет, не сказать. В охрану определили, по койке с тумбочкой, как в раю, а вот пирамиды египтянские эти так и не поглядели. А хотелось. Вот она где, жара, как только люди живут, умудряются... а что тебе люди? Везде они, везде одно и то ж, схарчат и в зубах не ковырнут. Глинобитный зной плывет, першит в горле, во все просачивается поры, все ослабляя скрепы в тебе... люди? Пусть.

Это все стороной плывет, само собой, пересверкивая в панцире далекой-далекой реки, в зарницах видений, еле брезжущих, а то освещающих разом что-то невыразимо знакомое, но которое ни разглядеть, ни узнать толком нет времени, нет желания... все равно все свое, и ничего в нем ни понять, ни объяснить. Все свое, ничего нет чужого.

Лишь эта тьма чужая; и где-то рядом она всегда, за ближним пределом, ковырни в ребячьей дурости побелку – проступит неживым, глянет... В ней даже и злобы-то вроде как нет, в нелюдской, незачем, только б мешала: в ней лишь сила, злобу людскую подпирающая, накачивающая, а уж та сама... Уж мы сами, нас просить не надо. Его спрашивают? Да, что-то говорят, а тьма накачивается, сдавливают неживым своим, хваткой своей, из какой уж не вырваться, он теперь это знает.

– Я сам, сам...

Он говорит это, пытается сказать или, может, лишь думает так, потому что с ним что-то делают, а ему страшно. Ему домой надо, уж хватит бы... домой – это закрыть глаза или открыть? Они закрыты у него, глаза-то?

Он не знает, немалое делает усилие, и глаза вроде как

открываются. Открылись, да; но не сразу видит сидящего возле него человека – а тот расстегивает на его голой руке матерчатую накладку с грушей, какой накачивал, кивает ему, на миг успокоительно прикрывает за поблескивающими очками глаза, рядом кто-то еще стоит, говорят о нем... очечки! Тот, в очечках какой был, в бурках, – Иванов фамилия! Или нет, погоди... Похожее что-то, и очки с этими схожи. Фельдшер новый, молодой совсем, но и его очечкам он не верит, этим вроде как понимающим глазам, успокаивающим: мол, все в порядке... знаем мы ваши порядки. Не верил всем другим никогда, их блеску гнутому-выгнутому, обманному. В ответах мнимых этих, в отраженьях, там мелькающих, что-то зыбкое всегда было и есть, неверное... может, они и видят так?

Фельдшер, поджав губы, делает ему в ту же руку укол, руку ломит, а он глядит в его стекла, видит в них оконную раму, игрушечную, необычайно четкую, только вогнутую и с чистыми будто б занавесками, стол в углу с приемником, на какое-то мгновение себя там вроде – неужель так и видят? Не спросишь. Да разве они скажут, образованные. У них там сроду свое что-то, за стеклами скрываемое, не сказать чтоб враждебное, но и хорошего мало, лишний раз не заговоришь... ну, когда как. Иной в душу влезет, гад. Тот, в бурках: куда вежливый, языком как по писаному, молодняк за ним так и вился. И Машка, дуреха. А сильничал не один, с ним приезжих двое, что ль, да нехорошо как-то. Машка хоть еле тогда ворочала языком, а сказала, вспомнила. Считай, напоследок, потом только песни от нее. Иванов или вроде того, где-то слышал...

В очках, а неразумные, ясно подумал он, опять закрывая глаза; от укола, может, но как-то прояснило. Мы дураки, а они еще дурее. Взялись вон опять переделы-

вать, кричат... нет, добру не быть. Сами замороженные и других морочат, стравливают. Не быть. Ни жить не дадут, ни умереть спокойно.

Он подумал об этом как-то так, мимоходом... умереть? Стало быть, так. Укол какой-то хороший был, тягостей в теле, тяжести в голове поубавил, расслабил – он давно лежит-то? Не помнит. Что-то, видно, случилось, раз сосед тут ошивается, дел ему мало... наплевать побольше, пусть. Ушли они или тут еще? Тут, пусторечат.

Стало быть, так, не он первый. Да уж так, кто их штабелевал, тот знает. Чурки эти. Голова к голове не моги, валетом надо, иначе завалится, не дай Бог. По углам, само собой, в связку. Зимой еще туда-сюда, а как лето... Ну, летом всегда легче, лета ждешь. Лето – вот оно.

И зачем это все, спросить, за каким?

Кто-то знает. Земля не помнит, забыла, где овины стояли – там речушка в кустах путается; сам он все позабыл, скоро совсем, может, забудет чепуховину всякую, как под городком военным с одной столкнулся, ночь парная, Хохляндия, голяком купались с ней... Губы жадные – ох, жадюга. В логу как таился от Оберушника, черт на него не ишачил, на двужильного, – а ложок прогрет был и доверху полон травой, покоем, сварливым брюзжаньем шмелей и залетной пчелы, с родничком сочившимся, сделай запрудку – набежит. И хоть в устье, совсем недалеко, в бирючьи заросли крушины сбегал он, в смертный от тесноты осинник, где волки, бывало, и летом только что не корогодились, – но вот никогда, ни в каком другом на свете месте не знал он себя в такой безопасности, земляничку недоспелую родимую выбирая из травы, ни на что не оглядываясь... нигде, а хоть раз потом сходил туда? Рядом сенокосил раз, а так и не зашел...

Забудет; но кто-то все это числит за ним, ведает? Все, даже искорку малую самую в броне той перекатной речкой, безголосье зарниц, стукоток состава, какой прошел давно, а звук все толкается в небо, в даль первоосеннюю, только-только начавшую набирать прозрачности, еще не просквозило холодком ее? Ведает и до поры лишь до времени держит про запас великий свой, где все есть и ничего нету забытого, ведь некуда ж ему деваться, прожитому... не в прорву ж, не ей же одной в глотку все?!

Туда, а ты как думал. Не ты бы – может, оно и по-другому бы все... а теперь туда. Теперь все туда. Оно вон валится опять все – к одному концу...

Он не сразу и с каким-то трудом понял несуразность того, что подумалось вдруг, помстилось ли ему в густеющей опять вокруг него мгле... если б не ты? Ну, ты ли, не ты, а все одно: коли тут следа его нет, разуменья, то и там не жди... все едино.

Да и мать-то с тобою – жри! Кого другого пугай, а я не мальчик, не нанимался... я всяко видал. Мне что есть там, наверху, что нет. Пугать она, сука, надумала – жизнь, называется... Я сам по себе! Я по себе сам, без вас сдохну. Мне помощников не надо. Сам как-нибудь, как ни будет. Забудет, а жил, жить буду, побуду, быть буду...

Николай, браток, лыбится с чего-то и протягивает ему вроде как подаяние, в золотую обернутое бумагу, вроде как в кульке; и говорит – оттуда – что-то ему, кивает, усмехается, но ничего не понять. А он вместо того, чтоб отказаться, ни за что не принимать это самое подаянье, лишь словом перечит Баринову, упрямо повторяет: «Не согласен!..» С чем не согласен – ему самому не вполне понятно; и со смутной хоть душой, но берет золотой тяжелый кулек, и они разговаривают долго-долго,

как братки, как в том лесу, где день коротали... Усни попробуй, когда лес просеками разбит по-немецки на ровнехонькие квадраты, с любой стороны могут застигнуть – хана тогда, за второй не простят побег. «Слышь... бежим, а?» – говорит он Николаю, но тот все убеждает его в чем-то, не слышит вовсе. А бежать куда и, главное, с чем? Кулек-то, он догадываться стал, пустой. Кулек полон тяжелой пустотой.

V

– Его... Этого, – сказал он и глазами показал на соседа. – Не надо.

И отвернулся к спинке дивана, больше он ничего сделать не мог. И отчетливо услышал немного погодя, как жена ему там, на кухоньке, сказала: «Ты уж ладно, не заходи... сам видишь, никак он тебя». – «Да мне-то», – сказал сосед и матюкнулся; но и по голосу было понятно, что он обижен.

Вот так теперь... жри теперь, не больно испугала. Давно б так надо. А то веры они захотели, старух напустили – примериться... С верой любой дурак сделает, горы сдуру свернет... вы без нее попробуйте. Как мы попробуйте, потом суд наводите, заседатели. На завалинках заседать.

Примеряйтесь. Доску ищите, дефицит. Закопаете там, нет – по мне, хоть на свалку. Машку как?.. В город Машку: зять этот – пьянь, конечно, а не злой, кусок найдет. А те сами по себе, сыновья, ломти отрезанные; вот пусть Машку и устроят. Старшой – ладно, а Борька-то, сучий сын... для себя ж растил!

По вере вашей воздастся вам.

Из конторских кто-то, развелось мудрецов – сажать не пересажать. Мудрят в холодке, образованные. Очеч-

ки от разговоров на нос сползают – поправят и дальше, а баб под шпалы. А то под цабан, не больно стеснялись.

Мухлюет вера, думает он, преданно глядя на безымянного за давностью лет полкового комиссара, черт их считал... Уцепился за газету, как дите за подол, на успехи у соседей упирает, все-то у нас соседи впереди, и на категорическую необходимость успеха здесь вот, на заплетенном проволокой, пристрелянном до каждого валуна, проплаканном последней замерзшей слезой предполье...

Если так вот верят они, вожди все с командирами, то ему-то, мелкой сошке, вовсе не обязательно, может, верить так уж, стараться... за каким, до проволоки добежать? Там без того навалено, толку-то. И зачем верой, думает он, когда силой можно, умом, снаряды подвези только? Под Черниговом вон склады ими забиты, он-то знает.

Темнит эта самодельная их вера, боязливую ревность в себе таящая, темноликие угрозы; что-то слишком уж кричит, надрывается – от неуверенности, не он один видит. Но дальше не знает, что и думать: серьезность мешает, с какой их раз за разом посылают туда, к проволоке финской, кладут. Всерьез все, вот беда. Браткина вера мешает, как грели друг дружку под кустом, под елкой, выручали, как их в банюхах бабы прятали, лишенцев-окруженцев, встречали картошкой, картошкой провожали – куда все делось в людях? На добровольцев с завистью глядели, выходявших из концлагерного строя к начальственно кургузому агитатору, он же и переводчик, а немец тут же в шеренгу тех составлял, переимчивый: «Ви что мне стал, как бичок нассал?!» В какую-то русскую армию набирали... а мы что, китайская, что ль? В плену хоть, а славяне. Так и не пошли,

себе дороже. Одного сюда вернули опять, рассказывал: тоже не убечь, там не дураки. Правда, отъелся малость. Вот и вся вера их была, что на своих... были свои. Люди были – а теперь?

Ну, людей равнять – дело, конечно, такое... Не поравняешь всех. Тут еще как сам.

Получасье пробили медленные часы. Во всем доме, кажется, никого, тишина, как пыль, скопилась в углах. И в теле – онемением, опасным молчанием, какое заползало, занимало понемногу это вот брошенное его, показалось сейчас, забываемое то и дело им самим тело... А что – сам? Он сам теперь по себе. Он про себя сам знает, и пусть они идут все... Но тишины сколько, молчания, и часы не время, а молчанье отбивают, отделяют протяженными массивами и препроваживают куда-то. Назад куда-то или, может, в пыль обращая, оседающую на всем, на всем...

Поторопился он зря: рука его – левая? – лишь дрогнула и осталась лежать – там, на одеяле. Он за ней, этой, уж замечал, и нога тоже, как нету ноги. Рука другая послушалась, взлезла на спинку дивана, и он стал ею искать на ощупь вилку, лапоть – вот она, вилка. В розетку теперь, всегда тут была. Старый приемник был у них за репродуктор, на одной давно волне заржавел, на областной, – хоть это... Вчера фельдшер включал, теперь самому как-то.

Еле-то нашел розетку.

После первого треска и шумов появилась, наплыла музыка – необычная в слишком долгом молчании дома, какая-то поначалу даже неуместная, и он с облегчением уронил руку, как, скажи, сам, без помощи всякой дошел до подоконной скамьи своей. И отдыхал, прикрыв глаза

и слушая, как позванивали где-то за главными ее голосами далекие колокольчики, перезванивались и звали...

Он спал ли, просто ли забылся под эти леденистые и легкие, отзывные на печаль колокольцы – как забормотали возбужденные голоса, вытолкав грубо, взашей забытье его отсюда, его, может, единственный за все эти многие дни покой... вот зачем? Жалко что-то стало, себя и всех. И ждать стал, слыша, но не слушая, как они там перебивают друг дружку, торопятся каждый свое сказать, взახлеб; надеялся почему-то, что после них опять это дадут, с колокольцами, или там еще какую.

Пережидал сварливую эту нищету жизни, в минутной жалости своей, в ее тягости, хотел думать... о чем думать? Без него надумали, решили все. Может, кто и ведаёт обо всем, знает – да ему не скажет, так оно. Как образованные эти, не скажут – хоть верь ты, хоть не верь. Да и устал он за все-то эти дни. Толкуются, мешают. Дочь приехала, поголосила, дура, и опять все на соседку бросила. Старухи эти. Фельдшер приходил, не один, глядели. Каждый день приходит, с уколами, а может по два раза на дню, не считал, некогда. Что-то додумать было надо, важное, а не давалось. Все были времена его заняты, не успеваешь одно вспомнить, как другое влезает, теснит... каждое своего требует, некогда, устал он.

Ивантер? Постой, они там фамилию назвали... вот она, фамилия! Она самая, как же забыл-то он? Эту самую... Перестройку эту все нахваливает, с утра поране кукарекает – он, Ивантер. Вот оно как, нашлась фамилия!.. Сын, гляди, а то внук?

Нашлась. Но радости оттого, что вспомнил, не было. Ему теперь бы сказать о том, вслух – а кому? Не соседу ж: глуп, что он поймет? Не Машке. А надо бы.

А некому... смоются все, некому слова сказать. Обида, в который раз обида старческой цепкой лапкой не сразу, но нашла его горло. Или сердце, сдавила, расти стала. Но какая-то странная, на всегдашнюю непохожа – ни утоленья ему никакого не дающая, пусть недолгого, ни свободы, где он сам по себе. Зашлась обида, онемела – и не знала, что с собой делать дальше, не было ей освобожденья...

Он постонал, но ничто ему не ответило, никто. Тогда он попытался повернуться, набок хотя бы; весь как мог напрягся, рукой спинку дивана отталкивая, закинулся, – а радио визжало и гремело. Уходящим сознанием он видел, как в очечках, далекую раму, очерченную четко вокруг наружного дневного света, перевернутую, белилами крашенный пол, хотел опять им сказать, что не надо, не согласен... Но фельдшер покачал головой и ушел.

Черный мешок надо, втолковывает он бабешке этой, дурочке, – черный брат! А то сама схоронилась, а мешок видать. Ночь не сказать чтоб темная, и вишарник тот редкий... как наш ситчик реденький, говно цедить, – видать же! И сует ей в мешок газету, в ней указ от седьмого, восьмого месяца, тридцать второго об охране собственности, чтоб знала, а то прямо как дети. Ну, что вот мне с тобой делать, говорит он жене – а это она, уж и старая, с высосанными грудями, в «стригуны» колосков подалась, возьми вот ее за рупь двадцать; прямо ума не приложу... ладно, работай. Только гляди мне, говорит он еще – как она говорила, кошке на лапку наступив, не управлялась уже с ногами: не ходи босиком!.. Сама знаешь, какое время.

Он доволен, что так обошлось, толкует: вот немец... чужого, а не выдал же, вот они и живут, немцы. А что

уж, как – разбирайтесь сами. А я вот вам загну мозги, умники: зло в мире или весь мир изначально во зле? Небось подумаете. А то разлобанились они.

У него уж ни обиды никакой к ним, ничего, у него усмешка: одни вы, что ль, шариками крутите, думаете? Народ-то вы спросили? Не-ет, не одни вы, свистуны. У начальника дистанции хоть спросите, и он вам скажет: да, ровесник революции, ветеран войны и труда. Красномордый, рюмку двумя руками держит, дрожат ручки, – за победителей. Все наши вентиляторы залежалые на складах, братки-славяне, все часы на батарейках настенные, дурацкие... подарят к Победе, а кончились батарейки – и живи без времени. А нынче вон не пришли даже, открытку прислали – что мы, не понимаем?

Но вроде как он сам начальник тоже, в своем-то. У него какое-то не совсем понятное хозяйство большое, людей под ним прорва, дел мудреных, где он безраздельный всему хозяин, не то что эти... Неукоснительно чтоб все, главное дело – порядок. Карандашом постукивает, выговаривает, потом в обход идет: и это, вы говорите, порядок? А это?! Он черниговские узнает казармы, вон и черепица на одной... был непорядок, точно. Еще инспектор указал, но все руки не доходили. Он голову поднимает, глядит: ну точно, опять понаделали – да много... Ласточкины гнезда одно прямо к одному под застрехой казармы налеплены, общежитье себе устроили, мало города им. Протягивает руку назад, кто-то вкладывает опять ему тяжелый шест; и оглядывается на всякий случай – нету ротного? А то всамделе пристрелит, хватит у дурака. Руки он распустил, жалостливый... ему что, хозчасть не на нем. Пусть спасибо скажет, что на собранье не вынес, на губу-то. Поднять надо, нацелиться, а шест

тяжел, сердце тяжелое, а – надо; и что-то в нем срывается наконец, кричит в ярости назад: вы какой мне дали?! Под монастырь меня?! А вы спросили, я согласен?!

Еле оно ворочается, сердце, и кулек этот странно тяжелит руку, золотой, боязнь одолевает уж давно: что в нем такое, что руку оттягивает так... наган? Это с полбеды б еще, да и за каким ему наган? Что-то темней, тяжелее пустоты там – пыль молчания, может, времени; и что с ним, подаяньем, делать, куда с ним, бездомному, – не знает. К браткам бы, но их, знает он, нигде нету: кто дымом взошел, кого рассосали болота. Николай, того хуже, в людях пропал. Нигде не найти, все смолело время – пыль, одна пыль... А ему куда?

В ложок ему. В тот ложок, вот куда надо... колокольцы где. Прийти, рассеять пыль там эту, примет. Избавиться, а весной новой снесет вода – в набухшие осинники, низины черноземные, в корни молодой набьет траве. Все вешняя смое, ей не привыкать.

VI

Вокруг него стояли, когда он что-то сказал.

– Что, говоришь? – нагнулись к нему.

– Птицам... – выговорил он, с трудом. – Покроши...

– А детям? Детям – что?..

Он поглядел и ничего не сказал. Его дочь, малоздоровая плаксивая баба, взголоснула было и тут же под взглядами смолкла.

«Дождешься от него...» – пробурчала себе под нос стоящая позади старуха, из двоюродных, и сосед крикнул, вышел. У двора стояли своих мужиков двое, курили.

– Что там? – спросил один и по полевой привычке подложил окурочек под подошву себе, растер.

– Кончается.

– Н-да...

Уже на лето глядело, и шумели всюю по окрестностям листвою майские светлые перелески, выгнало траву. Даже старые недоверчивые деревья раскрылись давно в полный лист, яблоневым, черемуховым цветом огрузили немудреные поселковые сады, о себе оповещая в самых порой неожиданных местах, накатались дороги и посевную одолели. Свалили, косу в пору отбивать.

Покурить толком не успел, из сенцев выглянула жена. Только выглянула, торопливыми глазами бессмысленными нашла его и не то сказала что, не то охнула – бабы...

Старик метаться начал. Перекатывал голову, не открывая глаз, рука дергалась, вслепую шупала одеяло, шарила. И потом сказал, неожиданно внятным, полным голосом:

– Не согласен...

Переглядывались, из задних кто-то переспросил: «Што он говорит-то?» – «Да что... не согласен, говорит». – «А-а...» – понимающе закивали там. А он повторил опять – рвущимся уже голосом, резким:

– Н-не... согласен!

Заплакала тихо дочь, все вспомнив, хлюпая, бабы тоже; закрестились, глядя кто покорно, кто со страхом, как он противоречит кому-то – тому, чему противоречить нельзя, грех... что уж так-то, иль не настрастился? А старуха поджала губы и глядела почти враждебно.

С полчасика, может, прошло, и еще два ли, три раза он повторил, выговорил это свое, все тише, безнадежнее, упорней. И уж запертый, видно, молчанием, лишь кадык в седом истощавшем волосе ходил, на минуту открыл

глаза, суровыми ставшие. Сумел перевести их, и Николаю, тянувшему за спины шею, показалось, что они встретились взглядами.

Он открыл глаза. Были чьи-то лица, дочери совсем расплывшееся лицо, расквасилась; а сзади них, баб, кто-то еще стоял, глядел. Воздух сгущался, затвердевал, и ему сразу понятно стало: Колгота, он. Пришел.

В старых санях под овчиной лежал в апрельскую, со свежа, вечернюю зарю – истончавшую, немислимо долгую, не знаешь, идет оно, время, или нет. Последний грачинный крик давно истаял в нем, поэтому время не могло идти, его просто не стало – когда подошел немец и молча, возвысаясь весь, наступил на грудь, сапогом.

Гудела среди тишины машина – это грузовик подавали под гроб, задом. Тявкала, влаивала тонко где-то во дворе собака. На нее прикрикнули и раз, и другой, но она, труся отчаянно, забившись под какие-то поломанные давно ясли, все не могла унять себя, скулила.

Вынесли, поставили на колченогие табуретки, и бабы, дождавшись, заголосили опять. И потеснились, давая дорогу мужчине с недовольным взглядом – сыну, пропустили Машку тоже, тащившуюся следом.

У мужиков заминка возникла: везти ли на машине, это почему-то с некоторых пор как бы даже и почетней считаться стало, или на руках отнести. «Да хрена ль тут! – горячился Николай, поворачиваясь то к одному, то к другому потным лицом (ощутимо парило с неба). – Ить же рядом! Донесем, мужики, – а она пускай впереди, х... с ней, едет...» – «Ты аль забыл, где?! – одернула его жена, безнадежно. – Ты хоть тут-то не пой свое...»

А пока мужики спорили и потом к машине пошли, с шофером говорить, во дворе и у дома собрались все, кто хотел повидать напоследок или проводить. Один из деповских – и ведь не молодой – улучил момент, когда бабы примолкли, и стал было говорить, кивками на каждом слове своем с собой соглашаясь, но его остановили: до могилы, мол... Подошли конторские – она, колхозная, была за углом. У штакетника, как-то наособицу, стояла невестка Махоткиных с детским на руках конвертом, перевязанным голубой лентой – мальчик; губы у нее, казалось, еще покусаны были, припухлы, а сама она стала самоуверенной после роддома, категоричной, прямо хозяйка жизни. Свекровка, говорили, извелась уж вся.

Внимательней, чем обычно, смотрела Машка – на гроб, на деспотическое при дневном свете лицо смерти в нем; и на постные лица жалеющих себя людей, на разбортованную машину за ними, застеленную выдавшим виды красным ковром, с привезенными из города венками. Даже покивала, когда деповский говорил; а когда стали разбирать венки и мужики, приладившись, подняли покойного на полотенцах – неожиданно для всех грубым, бубнящим своим голосом проговорила обиженно:

– Придет, наследит... притирай за ним. – И закривилась без слез, распылила рот: – Жалка-а...

А в ночь началась первая в году настоящая гроза – сильная и свежая. Так грохотало, так передвигалось там, переставлялось что-то и вершилось, будто решило начать все заново. Но утром ничего не переменялось, лишь по-особенному как-то горчило на под-

ворьях черемухой, уже отцветающей, и не давал нигде забыть о себе на пустой средь палисадников улице росный запах сирени – еле ощутимый, несуетный, всегда будто поодаль стоящий.

1992



ПРИМЕЧАНИЯ

Наше пастушьё дело

Впервые опубликован в журнале «Наш современник» № 12, 1977 г. Первое издание – в книге «Сашкино поле», Москва, «Молодая гвардия», 1978 г.

Шатохи

Впервые опубликован в журнале «Наш современник» № 2, 1977 г. Первое издание – в книге «Сашкино поле», Москва, «Молодая гвардия», 1978 г.

На грани

Впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия» № 1, 1978 г. Первое издание – в книге «Сашкино поле», Москва, «Молодая гвардия», 1978 г.

Теплынь

Впервые опубликован в еженедельнике «Литературная Россия» за 1 июля 1977 г. Первое издание – в книге «Сашкино поле», Москва, «Молодая гвардия», 1978 г.

На Алешинем хуторе

Впервые опубликован в еженедельнике «Литературная Россия» за 27 июня 1980 г. Первое издание – в книге «По причине души», Москва, «Молодая гвардия», 1981 г.

День тревоги

Впервые опубликован в журнале «Литературная учеба» № 1, 1979 г. Первое издание – в книге «День тревоги», Челябинск, ЮУКИ, 1980 г.

По причине души

Впервые опубликована в журнале «Дружба народов», № 7, 1981 г. Первое издание – в книге «По причине души», Москва, «Молодая гвардия», 1981 г.

Колокольцы

Впервые опубликована в журнале «Москва», № 5, 1993 г. Первое издание – в книге «Поденки ночи», Калуга, «Золотая аллея», 1993 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Валентин Курбатов. Свет во тьме светит... 5

Рассказы

Наше пастушье дело 23
Шатохи 58
На грани 97
Теплынь 104
На Алешином хуторе 138
День тревоги 146

Повести

По причине души 165
Колокольцы 325

Примечания 371

Петр Николаевич Краснов

**Собрание сочинений в 4 томах
том 1**

Литературный редактор – Т.Б. Яковлева
Компьютерная верстка, дизайн – А. Маннакова
Корректоры: Г. Бурцева, О. Коваль,
С. Верещагина, А. Суворова
Компьютерный набор – Л. Артемина, Г. Ермолова

Сдано в набор 16.06.04
Подписано в печать 6.06.05
Формат 60x84/16
Усл. печ. л. 21,8
Тираж 3000
Бумага офсетная
Гарнитура Minion Pro
Заказ № 4631

ООО Печатный дом «Димур»
460000, г. Оренбург, пер. Банный, 2.
Тел.: (3532) 77-04-68, 77-83-92